

**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

**Статьи, исследования  
и материалы**

**6**

# Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛЫ

6

Под редакцией проф. *Е. И. Покусаева*

Издательство Саратовского университета

1971

Настоящий сборник включает работы, выясняющие широкий круг актуальных проблем эстетической теории Чернышевского, его взгляды на устное народное творчество, взаимоотношения с читающей публикой России, связи с литературой второй половины XIX века, с публицистикой и журналистикой его эпохи, с социально-философскими творческими исканиями Герцена, Добролюбова, Л. Толстого, Писемского. В специальном разделе публикуются сообщения и заметки, основанные на ранее не известных или прочно забытых архивных источниках.

Сборник рассчитан на преподавателей, научных работников, студентов-филологов и историков, интересующихся историей литературы и общественной мысли в России.

Н. Г. Чернышевский

Статьи, исследования и материалы

6

Под редакцией проф. *Е. И. Покусаева*

Редактор *М. П. Ларина*

Технический редактор *Л. Я. Илюшина*, корректоры *А. И. Яровинская*,  
*И. И. Матюшина*

---

НГ28182. Сдано в набор 10.IV.1971 г. Подписано к печати 31.VIII.1971 г.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 18. Уч.-изд. л. 19,46.

Тираж 1200 экз. Заказ 1716. Цена в переплете 1 р. 30 к.

---

Издательство Саратовского университета, Университетская, 42  
Типография издательства «Коммунист», пр. Ленина, 94

## ОТ РЕДАКТОРА

Шестой выпуск серийного издания включает материалы по широкому кругу тем и вопросов литературного наследия и научной биографии Н. Г. Чернышевского. Эстетическим, историко-литературным, критическим концепциям, публицистике, беллетристическому творчеству посвящены статьи и сообщения «Чернышевский о народной лирической песне», «Чернышевский о трагическом», «Чернышевский о «власти публики в литературных делах», «Чернышевский и А. Григорьев», «Писемский и революционно-демократическая критика», «Чернышевский и нравственно-философские искания Л. Толстого в 60-е годы», «Общинная теория Чернышевского и публицистика «Отечественных записок», «Традиции Чернышевского в литературно-критических выступлениях М. К. Цебриковой», «О некоторых композиционных и стилистических различиях в статьях Чернышевского и Добролюбова», «Неизвестный отклик на статью Чернышевского «Об искренности в критике».

Опубликованная в пятом выпуске (1968 г.) дискуссионная статья Н. А. Алексеева «Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам?» привлекла внимание историков литературы, журналистики, общественного движения шестидесятых годов XIX века. В особом разделе сборника помещаются отклики на эту статью («О достоверности свидетельств и убедительности выводов», «Ответ Н. А. Алексееву», «К вопросу об авторе прокламации «Барским крестьянам», «Необходимые уточнения», «Поправка»). В публикуемых материалах намечились некоторые новые подходы к исследованию традиционной темы. Они обозначаются вопросом: если не Чернышевский, то кто другой мог написать прокламацию? В числе вероятных авторов знаменитого публицистического документа впервые назван П. Г. Зайчневский.

Таким образом, выясняется, что подводить итоги дискуссии еще преждевременно, а продолжить разыскания, продолжить критическое рассмотрение существующих и вновь предлагаемых гипотез, продолжить научные споры по очень важному,

до конца не изученному вопросу целесообразно, плодотворно. В очередном (седьмом) выпуске будут напечатаны статьи ученых, принявших участие в этой дискуссии.

Существенные вопросы общественно-литературной деятельности, героической биографии Чернышевского периода первой революционной ситуации в России и времени сибирской ссылки рассматриваются в статьях и публикациях «Чернышевский и Герцен в 1859 году», «Письма Пыпиных из Саратова в Петербург», «Тюремный театр», «Об одном печатном источнике книги «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», «Отклики саратовских газет на смерть Чернышевского», «Из архивных разысканий».

Настоящий сборник посвящается светлой памяти Александра Павловича Скафтымова. Одним из первых в советские годы А. П. Скафтымов обратился к изучению литературного наследия революционных демократов. В 1926 году ученый выступил со статьей, посвященной роману «Что делать?» С тех пор не прекращался активный, пристальный интерес его к творчеству великого шестидесятника. А. П. Скафтымов проявлял необычайную последовательность в разработке и применении своих научных принципов и в изучении наследия писателей-революционеров. В пору, когда, например, знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева или не менее знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» рассматривались преимущественно со стороны идеологического, политического содержания, А. П. Скафтымов подвергает вдумчивому, детальному анализу стилевую структуру этих произведений, выясняет сложное взаимодействие средств традиционной поэтики с новыми элементами образно-публицистического повествования. Разумеется, в полной мере при этом учитывалась связь шедевров революционной беллетристики с освободительными идеями эпохи. Высокий образец сочетания реализма и устремленной в социалистическое будущее романтики — такой четкой формулой определено художественное своеобразие романа «Что делать?». Конкретное сопоставление его с близкими по теме и содержанию произведениями русских и западноевропейских писателей (см., например, статью «Чернышевский и Жорж Санд») позволило А. П. Скафтымову сделать вывод о том, что роман Чернышевского по глубине решения общественных проблем и революционному призывному пафосу стоит неизмеримо выше произведений его предшественников. Основываясь на изучении многочисленных и разнообразных документальных свидетельств, исследователь убежденно заявляет: в русской литературе XIX столетия не существует другого литературного произведения, которое по силе общественного, воспитательного воздействия могло бы сравниться с романом «Что делать?»

А. П. Скафтымову принадлежит честь почина в научном

изучении произведений, написанных Чернышевским в Петропавловской крепости («Повести в повести», «Алферьев» и др.), его сибирской беллетристики. В обобщающих трудах саратовского ученого были обозначены самые главные аспекты и направления исследований художественного творчества революционера-демократа. Весьма показательно, что никакой другой изучавшийся А. П. Скафтымовым писатель не представлен таким разнообразием литературоведческих жанров, как Чернышевский. Ему посвящались проблемные статьи, монографические труды. Первые публикации неизвестных произведений осуществлены А. П. Скафтымовым в саратовских юбилейных изданиях 1926, 1928, 1937 годов<sup>1</sup>.

Образцом филологической интерпретации текста художественного произведения и его историко-литературного комментирования может служить подготовленная А. П. Скафтымовым к печати книга «Н. Г. Чернышевский. Пролог. «Academia». М.—Л., 1936». А. П. Скафтымов — среди самых осведомленных и авторитетных библиографов, текстологов и комментаторов первого советского полного собрания сочинений Чернышевского. Перу А. П. Скафтымова принадлежит вышедший в Саратове двумя изданиями критико-биографический очерк («Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского»). По богатству содержания, по четкости композиции, по ясности изложения он должен быть отнесен к лучшим изданиям такого рода. Труды саратовского исследователя Чернышевского высоко оценены в статьях, рецензиях, книгах многих отечественных и зарубежных авторов<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: библиографию печатных работ А. П. Скафтымова по творчеству Чернышевского в «Ученых записках Саратовского университета», т. VI. Выпуск филологический. Саратов, 1957, стр. 479—482.

<sup>2</sup> См.: Г. Бялый, И. Ямпольский. Ценные исследования. — «Литература и жизнь», 1959, 24 апреля; Л. Гинзбург. Актуальная книга о русских классиках. — «Вопросы литературы», 1959, № 11; Е. Покусаев. Труды ученого о русской литературе. — «Русская литература», 1959, № 3; Е. Журбина. Живые нити. Заметки о литературной науке в Саратове. — «Вопросы литературы», 1959, № 10; М. П. Николаев. Семинарий по Чернышевскому. Изд. 2-е, Л., 1959; А. Лебедев. Герои Чернышевского, М., 1962; С. Боровой. Вклад в новейшую литературу о Чернышевском. — «Русская литература», 1963, № 2; Советская литературная наука и классическое наследие. — «Вопросы литературы», 1967, № 9; Советское литературоведение за 50 лет. «Наука», Л., 1968; В. А. Бочкарев. Вдохновенный поиск. — «Русская литература», 1968, № 3; Я. А. Роткович. Памяти А. П. Скафтымова. — «Литература в школе», 1968, № 3; Е. Никитина, Г. Макаровская. Александр Павлович Скафтымов. — «Известия АН СССР». Серия литературы и языка, 1968, т. XXVII, вып. 6; В. Воробьев. Александр Павлович Скафтымов. — «Филологические науки», 1968, № 4; Е. Покусаев. Слово прощания. — *Ceskoslovencka rusistika*, т. XIII, 1968, N 5; *Rev Maria Aleksandr Pavlovics Szaftimov*. — *Filológiai közlöny*, Budapest, 1969, XV, 387—388; J. G. Oksman. A. P. Skaf-tymov — ein verdienstvoller sowjetischer Literaturwissenschaftler. — *Zeitschrift für Slawistik*, B. V, H. 2, 1960.

И в преподавательской деятельности А. П. Скафтымова — профессора и заведующего кафедрой русской литературы в педагогическом институте и университете Саратова — Чернышевскому уделялось постоянное и деятельное внимание. Всесторонне его творчество характеризовалось в общих лекциях по истории литературы и критики XIX века, изучалось в основательно подготовленных специальных курсах и семинарах, в выполненных под руководством А. П. Скафтымова студенческих дипломных работах и диссертационных сочинениях. Не счесть докладов, лекций, прочитанных ученым, знатоком Чернышевского, в разных аудиториях, в том числе и заводских. Направление и пафос научной популяризации творческого наследия гениального земляка хорошо передано в газетной статье А. П. Скафтымова «Великий мыслитель-революционер»: «Чернышевский предвидел, — писал автор, — что родина его не забудет, что его имя будет принадлежать истории, что его пример будет воспитывать поколения новых отважных и стойких революционеров... Высокую оценку историческим заслугам Чернышевского дали Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин... В борьбе за демократические основы жизни, за социальную справедливость, за осуществление прав трудящегося человечества голос Чернышевского до настоящего времени сохраняет могучую силу. Н. Г. Чернышевский навсегда остается в нашей памяти как пример незапятнанной чистоты души и беззаветной преданности интересам народа»<sup>3</sup>.

Веским, верным и добрым словом помянута деятельность А. П. Скафтымова в заключающей данный сборник статье «Страницы научной жизни Дома-музея Н. Г. Чернышевского».

В подготовке сборника к печати принимала участие кандидат филологических наук И. А. Винникова.

Именной указатель составлен О. В. Чекановой.

---

<sup>3</sup> «Коммунист», 1949, 29 октября.

# ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О НАРОДНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ

Фольклористическая концепция великого революционного демократа изучалась многими специалистами. Начиная с работ сороковых годов (Г. Виноградов, 1940; М. К. Азадовский, 1941<sup>1</sup>, книги и статьи В. Е. Гусева пятидесятых годов<sup>2</sup>), круг изучаемых материалов все расширялся. Проблема «Чернышевский и народное творчество» рассматривалась в различных аспектах и сопоставлениях. Наконец, в последнее время В. Г. Базанов в обширных статьях представил развернутое синтезирующее ее истолкование, дав более широкое обозначение — «революционно-демократическое народознание или народоведение»<sup>3</sup>.

Детальную разработку и точное определение получили такие черты фольклористических трактовок Чернышевского, как боевой их наступательный характер, как значительная общность его взглядов с Белинским, отчетливая полемическая их направленность по отношению к славянофилам и особое значение суждений демократического критика в его борьбе за освобождение народа<sup>4</sup>.

Прав Азадовский, когда указывает, что сформулированное

<sup>1</sup> Г. В. Виноградов. Этнография в кругу научных интересов Н. Г. Чернышевского. — «Советская этнография», 1940, № 3; М. К. Азадовский. История русской фольклористики, т. II, М., 1963.

<sup>2</sup> В. Е. Гусев. Чернышевский о народной поэзии. — «Известия АН СССР, ОЛЯ», 1954, т. XIII, вып. 4; Его же. Революционные демократы о народной поэзии. Учпедгиз, М., 1955.

<sup>3</sup> В. Г. Базанов. Проблема эстетического отношения фольклора к действительности у Н. Г. Чернышевского. — «Русская литература», 1958, № 1; Его же. Чернышевский и некоторые проблемы демократического народоведения. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, вып. 3, Саратов, 1962.

<sup>4</sup> М. К. Азадовский. История русской фольклористики, т. II, М., 1963, стр. 102.

Чернышевским направление в фольклористике отличалось «пониманием объекта своего изучения и задач исследования с отчетливыми требованиями методологического и методического порядка»<sup>5</sup>. Очень важно в этой связи наблюдение В. Г. Базанова, что концепция Чернышевского о народном творчестве обуславливалась специальной заданностью. «Чернышевский идет не от фольклора к «теории трудящихся», а от социалистического учения и теории крестьянской революции к фольклору»<sup>6</sup>. Совершенно очевидно, что задачи, решаемые Чернышевским в его суждениях о народной поэзии, объясняют не только метод исследования, но и многие наблюдения и наиболее существенные выводы. В высказываниях Чернышевского много серьезных положений общетеоретического характера, выходящих за пределы конкретных задач своего времени. Это касается и народной песни.

Остановимся на нескольких конкретных и вместе с тем ответственных высказываниях, касающихся народной лирической песни, точнее, ее поэтических закономерностей. Эти положения Чернышевского помимо своей теоретической значительности важны еще и тем, что они взяты на вооружение фольклористикой наших дней, но трактуются далеко не одинаково, нередко противоречиво и спорно.

## 1

Известно, что Чернышевский относил возникновение фольклора к «младенческому периоду» жизни народа. Эта верная в своем общем значении мысль была для него основополагающей, в частности, и для его понимания поэтических форм народной песни. В патриархальном обществе, — говорил он, — «вся масса народа составляет однообразное целое, в котором каждый отдельный член совершенно подобен другим»<sup>7</sup>. И песня однообразна и монотонна; «тем у нее очень мало и они слишком просты»<sup>8</sup>. «Содержание народной поэзии слишком бедно для нас»<sup>9</sup>. И это суждение бесспорно, если принять его в самом общем плане и относить не ко всей народной поэзии, а только к той, которая сложилась в доклассовом обществе и сохранилась от того времени.

Но нам известны народные песни гораздо более поздние. Чернышевский считал, что развитие цивилизации «сопровождается не одними выгодами». «Большинство, — писал он, — ос-

<sup>5</sup> М. К. Азадовский. История русской фольклористики, т. II, М., 1963, стр. 100—101.

<sup>6</sup> В. Г. Базанов. Проблема эстетического отношения фольклора к действительности у Н. Г. Чернышевского. — «Русская литература», 1958, № 1, стр. 122.

<sup>7</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти тт. т. II, М., 1949, стр. 296.

<sup>8</sup> Там же, стр. 306.

<sup>9</sup> Там же.

тается в прежнем быте. ...время и силы его все более и более поглощаются чисто физическим трудом. Все условия поэтической настроенности исчезают; нет и содержания для народной поэзии с тех пор, как масса народа перестала быть живою и сознательною участницею национальных предприятий»<sup>10</sup>. Глубоко справедливо и это положение.

Исследователи не раз обращали внимание на то, что Чернышевский недостаточно учитывал историческое развитие народной поэзии и изменяемость произведений во времени<sup>11</sup>. Но в данном случае речь идет, несомненно, не о всем народном творчестве в целом, а о том роде его, где главным было художественное осознание национальных форм жизни. Здесь он явно имеет в виду монументальные эпические жанры с их общенациональной проблематикой.

Что же происходит в лирике? Лирическая песня связана преимущественно с частным бытом, семейным укладом и субъективным миром человека. Художественное осознание и изображение таких сторон жизни не могут иссякнуть. В то время как эпос активно живет только в ранние периоды исторического существования народа — доклассовый и феодальный, лирическая песня возникает во все времена. «Каждая эпоха налаживает свой песенный тон». Разумеется, песни, создающиеся в позднейшие эпохи, существенно отличаются от архаических как по способу создания, так и по принципам художественного оформления. Чернышевский имеет в виду традиционные фольклорные песни. Эти песни он, несомненно, знал, так как их собирали и публиковали многие, хорошо ему известные люди, — Н. И. Костомаров, А. Н. Пасхалова и другие.

Отношение к этой традиционной народной лирике у него было двойственным. Все, что он осознавал принадлежащим к патриархальному доклассовому обществу, считал отжившим и неспособным удовлетворить эстетические запросы образованного общества. Он утверждает, что всякое искусство прошлого отвечает эстетическим критериям своего времени и восприятие его в позднейшие эпохи не может быть в такой же мере полным, как современного искусства. «Все произведения искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизации непременно требуют, чтобы мы перенеслись в ту эпоху и в ту цивилизацию, которая создала их; иначе они покажутся нам непонятными, странными, но не прекрасными»<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 297.

<sup>11</sup> М. К. Азадовский. История русской фольклористики, т. II, М., 1963, стр. 103; В. Е. Гусев. Чернышевский о народной поэзии. — «Известия АН СССР, ОЛЯ», т. XIII, 1954, вып. 4, стр. 362.

<sup>12</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 51.

«Умственная и нравственная жизнь патриархального общества слишком бедна для цивилизованного народа. Поэтому и содержание народной поэзии слишком бедно для него»<sup>13</sup>. Применительно к народной песне эта мысль была явно направлена против славянофилов, видевших в прошлом идеал народной жизни и народного искусства. «Нет сомнения, — говорит Чернышевский, — что с этой чисто литературной точки зрения цивилизация может представляться в невыгодном свете. Потому что приверженцы поэзии, принадлежащей патриархальному быту, могут быть и часто бывают возбуждаемы к неприязни против цивилизации соображениями, вытекающими из благородного образа мыслей. Тем не менее их понятия никогда не могут заслужить одобрения. Они существенно ошибочны»<sup>14</sup>. В крестьянском репертуаре середины XIX в., действительно, сохранялись песни от очень давнего времени. Достаточно вспомнить всю заклинательную поэзию, связанную с аграрными и семейными обычаями. Однако рядом с нею жила и развивалась народная необрядовая лирика, разнообразная тематически и художественно, совершенно отличная от произведений обрядовых. Возникновение большинства этих вещей невозможно отнести к далекой древности. Их содержание полностью отвечает общественно-бытовому укладу дореформенного времени, в том числе и середины XIX в.

«В отличие от эпопей поэзия песен не вымирает, а все время заново возрождается»<sup>15</sup>. Основная масса этих произведений была широко известна не только крестьянству, но и большинству городского населения, удовлетворяя его эстетические запросы. Только к этой позднейшей песне, по-видимому, могли относиться похвальные суждения Чернышевского. Не удовлетворяясь народной поэзией, все же невозможно «не сочувствовать ей всегда, не заслушиваться часто до увлечения прекрасных, свежих, энергических мотивов ее. Она до сих пор остается единственной поэзией массы народонаселения, поэтому она интересна и мила для всякого, кто любит свой народ. А не любить своего родного невозможно. <...> Народная поэзия прекрасна»<sup>16</sup>.

Не вызывающая сомнения высокая оценка народной поэзии вступает в открытое противоречие с сознательным занижением содержательных и эстетических качеств ее, неоднократно подчеркиваемых Чернышевским. Он говорит, что народная песня дошла до его времени от глубокой древности в сильно измененной и ухудшенной редакции. «Какова бы ни была первона-

<sup>13</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 306.

<sup>14</sup> Там же, стр. 297.

<sup>15</sup> Гегель. Лекции по эстетике, т. III, М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 317.

<sup>16</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 308.

чальная форма народных песен, но до нас доходят они почти всегда искаженными, переделанными или растерзанными на куски»<sup>17</sup>. Чрезмерная категоричность этого суждения объясняется не столько неразработанностью в науке закономерностей процесса варьирования, сколько опять-таки полемическими целями. И это тем более очевидно, что сам Чернышевский не раз возвращается к похвалам поэтических достоинств народной песни: «...Высокое уважение к народной поэзии вызывается у нас только требованиями справедливости, а не безотчетным пристрастием и не какими-нибудь посторонними соображениями, как это часто бывает»<sup>18</sup>.

Думается, что противоречивость оценок объясняется тем, что Чернышевский, не говоря об этом прямо, все же имеет в виду каждый раз не одни и те же песни. Теоретические его суждения о творчестве патриархального периода не совпадают с личной оценкой известной ему песенной лирики народа крепостнического времени. Возможно, что теми же причинами объясняется и противоречивость суждений Чернышевского о национальной специфике народных песен. В поэзии патриархального общества он не видит национального своеобразия. «Варвары все сходны между собою», — говорит он в рецензии на сборник Берга<sup>19</sup>. А между тем, когда он пишет о песнях, то не раз упоминает об их национальном содержании как об особенно дорогом в них каждому цивилизованному человеку. В приведенных высказываниях Чернышевский далеко отошел от Белинского, который главной особенностью народных песен всех периодов их жизни признавал национальное своеобразие.

Вместе с тем указанные противоречия не мешали революционному демократу высказать немало глубоко верных и замечательных мыслей об основных принципах поэтического строения этого вида искусства.

## 2

В своем эстетическом трактате Чернышевский обращает внимание на особый способ изображения песенного героя. В песне мало говорится о том, что характеризует духовную жизнь человека: «...Всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает опромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми...»<sup>20</sup>. Подмеченная Чернышевским деталь характеризует одну из наиболее замет-

<sup>17</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 294.

<sup>18</sup> Там же, стр. 38.

<sup>19</sup> Там же, стр. 292.

<sup>20</sup> Там же, стр. 11.

ных закономерностей, отличающих лирический способ отражения жизни народной песней. В ней прежде всего обозначаются внешние обстоятельства жизни, и только через изображение внешнего мира раскрывается психологическое состояние героев. Но можно ли на этом основании отрицать субъективность содержания народных песен и тем более таких, несомненно, поздних по происхождению, как, например, песни любовные? Причина здесь явно другая.

Можно согласиться с тем, что «в патриархальном обществе действительно нет ни духовного разнообразия, ни мыслей и чувств, сколько-нибудь разнообразных или многосложных»<sup>21</sup>, как считает Чернышевский, и потому в песнях этого общества бесполезно искать отражения богатой духовной жизни человека и выразительных для подобного содержания художественных средств. Однако песни позднейшие, выражая глубокие и искренние чувства героев, продолжают пользоваться теми же способами раскрытия внутреннего мира человека, соотнося его с внешней обстановкой и, главным образом, с природой. И этот особый способ лирического сознания, свойственный народной поэзии, не мешает выразить большое разнообразие психологических состояний, и притом не только коллективных, всеобщих настроений, но и непосредственно личных, субъективных. Достаточно обратиться к песням необрядовым, семейным и любовным, многие из которых поются и в городе и в деревне до настоящего времени. Во всякой лирике «поэт обнаруживает себя в столь же субъективном, как и реальном бытии»<sup>22</sup>. В народной же песне лирический герой проявляется прежде всего во вне и даже часто в таких внешних условиях, какие, казалось бы, совсем не связаны с ним. Достаточно напомнить о таком типичном приеме русской народной лирической песни, как психологический параллелизм или развернутые символические картины природы. Очень верно и тонко анализирует одну из таких песен Белинский, указывая: «А что любовь на Руси могла быть не только поэтической, но даже и грациозно-поэтической, — тому доказательством может служить следующая прелестная песня»<sup>23</sup>. И он приводит известную свадебную песню «На горе стоит елочка». В этой любовной песне о чувствах героини как будто совсем не говорится. Речь идет о представленных в небольшой сцене внешних обстоятельствах, объясняющих поведение девушки. Психологическое же содержание скрыто в подтексте.

Как бы то ни было, особый принцип изображения субъек-

<sup>21</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 306.

<sup>22</sup> Гегель. Лекции по эстетике, т. III, М., Изд. АН СССР, 1958, стр. 297.

<sup>23</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, т. V, 1954, стр. 445.

тивного мира в народной лирической песне указан Чернышевским верно. Следует ли его возникновение искать в искусстве патриархального общества, — этот вопрос требует специального изучения. Верно и то, что народная песня не владеет методом открытого психологизма в изображении внутреннего мира героя. Методом, доведенным до исключительного совершенства поэтами-лириками, современниками Чернышевского.

Основную особенность поэтического строя народной песни Чернышевский видит в особом способе обобщения изображенных обстоятельств действительности и лирических героев. И опять — этот своеобразный способ типизации он объясняет особенностями мировоззрения народа в патриархальном обществе. «В самом деле, — говорит он, — если народная поэзия превосходно развивает свои темы, то тем у нее очень мало и они слишком просты; то же самое надобно сказать и о чувствах, проникающих народные песни»<sup>24</sup>. И Чернышевский перечисляет темы: воинские воспоминания, любовь доброго молодца к красной девице «и два-три другие, столь же общие мотивы». Не только однообразие и малочисленность тем отмечает Чернышевский, он обращает главное внимание на обобщенность лирического содержания фольклорной песни и обобщенность образов героев: «...Любовь доброго молодца (без всякой определенной характеристики) к красной девице (без всякой определенной характеристики)... Народная песня должна прилагаться к чувствам решительно каждого человека; иначе она не нужна целому народу, а годится только для нескольких отдельных лиц...»<sup>25</sup>.

И это указание Чернышевского бесспорно. Охарактеризованный им способ типизации не может относиться только к архаическим песням: он остается постоянным для всяких песен всех эпох. Смысл этого метода объясняется на каждой ступени исторического развития и для произведений разного общественного и бытового назначения разными причинами и обстоятельствами. В свадебных песнях обобщенный характер в описании героя требуется обрядом, ролью, какую выполняет изображенный в песне персонаж. Песня составляет обязательную часть обрядового этикета. Таким образом, чувства героев скрыты под условностью, требуемой свадебным ритуалом в каждый его момент, в каждой сцене.

В песнях рекрутских и солдатских лирические герои представляются в обобщенном облике, определяемом их социальной принадлежностью. Песни характеризуют солдат вообще, рекрут вообще. Все же нельзя сказать, что содержание этих

<sup>24</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 306.

<sup>25</sup> Там же.

произведений лишено субъективного элемента. Их субъективность особого рода. В песнях хороводных молодая девушка — главное лицо. Она показывается в типическом облике молодого существа, полного неистраченных физических сил и готовности к борьбе с предстоящими трудностями и ужасающим гнетом большой патриархальной семьи, куда она вступит как самый подчиненный, самый младший и бесправный ее член. Но и этот обобщенный, казалось бы до предела, облик не лишен субъективного, непосредственно лирического характера.

В песнях же любовных гораздо больше субъективного. К тому же в этом цикле на место типичного для фольклора способа изображения лирического героя через соотнесенный с ним внешний мир, главным образом природу, все больше проникает открытый психологизм, т. е. непосредственно выраженное внутреннее чувство.

Говоря о приеме обобщения, нельзя забывать и о том, что он составляет неотъемлемую принадлежность самого жанра песни, в том числе и песни литературной. Достаточно указать на революционные песни с их призывно-апитационным смыслом; на многие советские песни наших дней, песни типа военных маршей, песни лозунгового характера и т. п., создаваемые профессиональными поэтами. Когда песня имеет целью сплотить и направить массы, она всегда обращается к обобщенным приемам изображения, к обобщенным формулировкам. Словом, верно обозначенный Чернышевским поэтический прием является не только принадлежностью песен патриархального общества. Он универсален. И в то же время в разных жанровых группах и в разных тематических циклах лирических произведений он обусловлен разными обстоятельствами и объясняется далеко не одинаковыми причинами.

Чернышевский видит недостаток народной песни в отсутствии субъективности, «в ней мало индивидуальных особенностей, которых мы более всего ищем, чтобы сказать: «это говорится обо мне, это подходит к моему положению и чувствам». «...Мои потребности соответствуют только песни отдельных поэтов, выражающих не чувство вообще, а именно такое чувство, каким проникнут именно я и которое остается чуждо в этом особенном развитии для многих других людей»<sup>26</sup>.

Чернышевский верно намечает главное различие между содержанием народных песен и многих литературных песен индивидуальных поэтов. Ему важно было выявить именно это различие. А между тем народная песня не должна исключаться из области лирического рода поэзии. Белинский подчеркивает это основное отличие песни. «Чистый, беспримесный род лирики является в *песне* в самом обширном смысле этого слова как выражение чисто субъективных ощущений»<sup>27</sup>. И это

<sup>26</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 306.

<sup>27</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, 1954, стр. 48.

определение Белинского относится ко всем жанровым разновидностям песен, как народных, так и литературных. Указанное Чернышевским отличие народной песни не может отменить основной, самой существенной особенности песенного жанра, как его определил Белинский, но оно дополняет и углубляет это определение.

Главный тезис эстетической теории Чернышевского, изложенной в его диссертации, состоит в утверждении классового характера искусства. В доказательство Чернышевский сопоставляет народные идеалы красоты с соответствующими представлениями «цивилизованного» общества. В народных песнях выражены трудовые идеалы, определяющие суждения народа о человеческой красоте. «...В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нештучной, но не чрезмерной работе»<sup>28</sup>. Эта справедливая мысль подтверждается многими народными песнями, хотя проблема труда вовсе не составляет их главного содержания. В песнях нередко прямо подчеркивается, что главное достоинство человека заключается в его мастерстве, трудолюбии, ловкости и т. д. при высоких моральных качествах. Так характеризует, например, хороводная песня лучшую из девушек:

...У нас будет ткаха,  
У нас будет пряха,  
Шелковица,  
Полушелковица,  
По воду хожайка,  
Щей варея;  
Щей варея;

Хлеба печея;  
Испечет — не сожжет,  
Сварит — не прольет,  
На стол принесет —  
Поклонится,  
Поклонится, —  
Не отвернется<sup>29</sup>.

Главное в положительном облике песенной героини не столько трудолюбие и мастерство, сколько чувство собственной моральной полноценности и нравственного достоинства. Потому отвергается и непосильный рабский труд, что он унижает личность человека, его свободу и самостоятельность; это и подчеркивается в песнях.

Содержание народных песен обращено прежде всего к положительным идеалам, критическое начало в них представлено слабо. Только песни юмористические и частые плясовые с их особыми принципами структуры осмеивают пороки окружающей жизни и людей.

<sup>28</sup> Там же, стр. 10.

<sup>29</sup> П. В. Шейн. Великорусс. СПб., 1898, стр. 385.

Продолжая во многом учение Белинского о народном поэтическом творчестве, Чернышевский, как мы видели, нередко значительно с ним расходился. Особенно существенно различие их оценок и трактовок смысла народных удалых песен.

Белинский, как известно, высоко ценил в народных песнях устремленность к положительным идеалам. Следуя за Пушкиным, он особо выделил разбойничьи песни, назвав их удалыми. Он увидел в них страстный порыв к воле и признал эту настроенность залогом больших возможностей русского народа. Концепция Белинского была принята передовой общественностью. Позже в удалых песнях многие писатели и критики стали усматривать выражение стихийного народного протеста.

Чернышевский, оценивая народные настроения с точки зрения готовности к революционной деятельности, иначе отнесся к содержанию удалых песен. В романе «Пролог» он показал, как не соответствует содержание известной удалой песни подлинным настроениям крестьян. Герой романа Волгин вспоминает, «как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы — город в опасности, — вот-вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке. Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым криком: «Скоты, чего разорались? Вот я вас!» Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится; еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что, как они «веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», разбежались бы куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки»<sup>30</sup>.

«Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов, — снизу доверху все сплошь рабы»...<sup>31</sup>. Так заканчивает Волгин свое воспоминание.

В статье «О национальной гордости великороссов» Ленин назвал эти слова Чернышевского-Волгина выражением истинной любви к родине, «любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было»<sup>32</sup>.

Чернышевский не мог полностью принять истолкование удалых песен, данное Белинским. Он считает, что настроения крестьянских масс в годы осуществления реформы не соответ-

<sup>30</sup> Н. Г. Чернышевский. Пролог. Подготовка текста А. П. Скафтымова и Н. М. Чернышевской-Быстровой. Комментарии А. П. Скафтымова. «Academia», 1936, т. VII, стр. 237.

<sup>31</sup> Там же, стр. 239.

<sup>32</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 107.

ствовали тому, что об этом пелось в песне. Крестьянству не доставало политической активности. Положение было значительно сложнее, чем это представлялось Белинскому в конце 30 — начале 40-х годов.

Чернышевский неточно передает основной смысл знаменитой удалой песни. В подлинно народном оригинальном тексте удалыцы не связывают себя с именем Разина. Возможно, что первоначально «Стеньки Разина работничками» называл героев опубликовавший эту песню в 1828 году поэт Н. Г. Цыганов. Позже это обозначение так и закрепилось за ними. В тексте Цыганова появился и полюбившийся всем конец, придавший песне романтический характер:

Мы веслом махнем — корабль возьмем,  
Кистенем махнем — караван собьем,  
Мы рукой махнем, — возьмем девицу<sup>33</sup>.

В таком виде песня перепечатывалась, кочуя из одного сборника в другой. В народе она исполнялась без этого финала.

Чернышевский изменил романтический конец песни, придав ему более революционный смысл и показав несоответствие эмоционального пафоса песни действительным настроениям народа 60-х годов.

Как видно, Чернышевский далеко не во всем следовал за Белинским. Он проверял содержание народных песен современным ему состоянием умонастроений народных масс. Противоречия в его трактовке и оценке народного песенного творчества, отмечаемые обычно фольклористами, вызываются, с одной стороны, полемическим характером его высказываний, направленных против славянофилов и, с другой стороны, — тем, что он говорит не всегда об одних и тех же произведениях. Одни его суждения относятся к архаическим песням далекого прошлого. Высокую оценку получает у него современная крестьянская лирика.

Замечательны мысли Чернышевского о поэтике народных лирических песен, понятой и проанализированной им во взаимозависимости с содержанием. Чернышевский показал при этом полное соответствие формы содержанию в традиционных народных песнях. Основные особенности поэтики фольклорной лирики им намечены с большим проникновением в специфику этого искусства.

<sup>33</sup> «Московский вестник», 1828, ч. 14, стр. 109.

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ТРАГИЧЕСКОМ

---

Обычно считают, что суждения Чернышевского о трагическом во всех пунктах отменяют разработанную Гегелем теорию трагического. Автор «Эстетических отношений искусства к действительности» решительно «восстал против гегелевского учения»<sup>1</sup>, «не мог согласиться», «не мог принять»<sup>2</sup> и «остро критикует»<sup>3</sup> взгляды немецкого философа. Характеризуя таким образом отношение Чернышевского к Гегелю, исследователи в должной мере не принимают во внимание ряд позитивных суждений Чернышевского о гегелевской эстетике. В тех же случаях, когда подобные высказывания приводятся, они носят характер косвенных замечаний. Эстетическая система Чернышевского рассматривается при этом как самая последовательная и полная критика эстетики Гегеля, равнозначная едва ли не абсолютному ее отрицанию.

Между тем действительная историческая соотнесенность эстетических взглядов Гегеля и Чернышевского, как показывает сравнение источников, выглядит иначе: оказывается более содержательной и более сложной.

Метод сравнения двух трактовок трагического, применяемый в работах о Чернышевском, нельзя признать вполне удовлетворяющим требованиям объективности. Обычно берется во внимание сильная сторона материалистической эстетики, призывавшей отбросить веру в «фатум» и активно искать пути преодоления трагического. Сильному у Чернышевского противопоставляется слабое у Гегеля — «реакционный вывод геге-

---

<sup>1</sup> В. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., Гослитиздат, 1953, стр. 163.

<sup>2</sup> М. С. Каган. Эстетическое учение Чернышевского. Л.—М., «Искусство», 1958, стр. 70.

<sup>3</sup> Ю. Борев. О трагическом. М., «Советский писатель», 1961, стр. 236.

левской теории трагического»<sup>4</sup>, в которой принцип объяснения законов истории превращался в признание абсолютной их справедливости и исключал задачи революционной критики. У Чернышевского, на самом деле, можно найти прямо противоположный гегелевскому взгляд на отношение искусства к действительности. Однако констатацией этих крайних точек расхождения Чернышевского и Гегеля, когда отдельные положения берутся исследователями вне общего значения всей системы их суждений, нельзя органичиваться. Содержание проблемы трагического в таком противопоставлении двух мыслителей не только никак не исчерпывается, но в определенной мере и искажается.

В трактовке трагического у Чернышевского есть прямые соответствия марксистскому пониманию места и роли личности в истории. В особенности ценно, при его материалистическом подходе к решению основного вопроса философии, стремление укрепить волю человека в борьбе за лучшую жизнь, защитить личность от всяких предрешений «судьбы» и исходящего извне диктата, будь то ужасная случайность или давление тяжелых жизненных обстоятельств.

Эта сторона учения Чернышевского всегда вызывала интерес и симпатию у его последователей-революционеров. В истории русской критики ему ближе других была мысль об общественно преобразующей роли искусства.

Однако близость Чернышевского марксистскому мировосприятию не всегда рассматривается пишущими о нем с исторической точки зрения, — как читал и оценивал Чернышевского Ленин<sup>5</sup>. При этом его эстетика, взятая в прямых совпадениях с марксистской, истолковывается нередко слишком расширительно<sup>6</sup>, приобретая вневременное значение. И его концепцию трагического также воспринимают как нечто универсальное и всеобъемлющее за вычетом некоторых отступлений к антропологизму. На долю истории остаются всего лишь отдельные ошибки, допущенные Чернышевским, оговорки и неточности, составившие незначительную дань особым условиям прошлого. Все же главное в его эстетической системе, при

<sup>4</sup> М. С. Каган. Эстетическое учение Чернышевского, стр. 70. То же противопоставление есть в книге А. Караганова «Чернышевский и Добролюбов о реализме». М., «Советский писатель», 1955, стр. 95. В этом же плане сравниваются взгляды Чернышевского и Гегеля на трагическое во вступительной статье Г. Соловьева «Теория искусства Н. Г. Чернышевского» в кн.: Н. Г. Чернышевский, Эстетика, М., Гослитиздат, 1958, стр. 30—35.

<sup>5</sup> См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 534—620.

<sup>6</sup> На подобное нарушение принципа конкретного историзма в расширительном сближении социализма Чернышевского с научным социализмом (как на одну из односторонних тенденций истолкования Чернышевского) обращает внимание Г. Г. Водолазов в книге «От Чернышевского к Плеханову. Об особенностях развития социалистической мысли в России», Изд. МГУ, 1969, стр. 59, 60, 64.

таким подходе к Чернышевскому, словно бы изымается из потока времени и вообще не подлежит никаким его коррективам.

С точки зрения методологической, здесь наметилось немаловажное упущение. Подобный метод статичен. Истина перестает быть исторически развивающимся процессом, и ее установление сводится к механическому акту отделения неизменно «верного» от столь же абстрактно понятых «заблуждений».

Разнообразным вариантам «ухудшения» Чернышевского в стереотипах и новациях буржуазной науки<sup>7</sup>, как верно было отмечено, должен противостоять исторически выверенный подход к классическому наследию, составляющий прочную традицию советского литературоведения. В идейной борьбе с буржуазными фальсификаторами мало помогут концепции, не свободные от стремлений «улучшить» Чернышевского на основе «современных прибавлений» к его теории.

## 1

Главная заслуга Чернышевского в трактовке трагического состояла, как известно, в противопоставлении гегелевской абсолютной «идеи» материалистического принципа естественной природы человека как первичного и единственно действительного. Царству абсолютного духа противопоставлялась жизнь как она есть. Реальному человеку возвращалась его самостоятельная ценность, он освобождался из-под жесткой эгиды «идеи». Принцип человека отвергал принцип «духа», и если гегелевская философия искала в отдельной личности частное подтверждение «всеобщего», а бытие личности признавалось ценным постольку, поскольку в нем находили отражение верховного начала, то материалистическая эстетика Чернышевского, напротив, говорила о праве человека на самоутверждение и борьбу против враждебных ему обстоятельств. Чернышевский увидел в гегелевской эстетике прежде всего несоответствие реальному и естественнонаучному взгляду на жизнь и главную задачу видел в опровержении ложности исходного тезиса системы Гегеля. В этом смысле гегелевская философия не могла не казаться Чернышевскому пройденным этапом.

Между тем метод суждений Чернышевского о трагическом не захватывал целого ряда важных положений гегелевской трактовки этого вопроса. Некоторые выводы и размышления Гегеля остались вне досягаемости критической мысли Чернышевского, подобно тому как и в целом философия Гегеля могла быть подвергнута последовательной материалистической критике только марксизмом.

Нельзя не обратить внимание, что самый состав входящих

<sup>7</sup> См.: А. Сигрист. Фальсифицированный Чернышевский: стереотипы и новации. (Заметки на полях). — «Вопросы литературы», 1971, № 1.

в проблему трагического вопросов у Чернышевского не является исчерпывающим. Критическая часть в его трактате заметно преобладает над позитивной. Его суждения о трагическом имеют свою избирательность и охватывают не весь круг вопросов, предложенных его предшественником. Верно замечание А. Лаврецкого: Чернышевский «не противопоставил идее о «трагической вине» другой концепции трагической коллизии»<sup>8</sup>.

В силу своей идеалистической природы учение Гегеля не могло не соприкасаться с идеей божественной предопределенности реальных вещей<sup>9</sup>. Материалисту Чернышевскому ясна несостоятельность исходного положения этой философской системы, и именно сюда, к критике самого уязвимого ее пункта, направлен его удар. Коренная несовместимость взглядов Гегеля и Чернышевского не может вызывать сомнений. Однако справедливо отмечая это принципиальное их расхождение, исследователи не вносят необходимых уточнений в самое содержание понятия «материализм» в эстетике Чернышевского<sup>10</sup>.

С каких именно материалистических позиций подвергал Чернышевский критике гегелевское понимание трагического? Почему так настойчиво отмечал он роль случайности в трагической коллизии, почему трагическое приравнивается им к «ужасному в жизни человека»? Ответа на эти вопросы нет.

Сопоставляя взгляды Чернышевского и Гегеля, необходимо отказаться и от столь же абстрактного обвинения Гегеля в идеалистических заблуждениях, внести ряд уточнений и в трактовку гегелевской эстетики. Какие исторические закономерности отразились в его теории трагического, содержащей, как и вся гегелевская философская система, целый ряд отмеченных классиками марксизма «гениальных догадок»? И здесь точка зрения современного исследователя вряд ли полностью совпадет с оценкой эстетики Гегеля у Чернышевского.

Понятие «трагической вины» казалось Чернышевскому всего лишь безосновательной уступкой представлениям древних о всемогущей «судьбе». Гегелевской мысли об исторической необходимости трагического, возникающего в некоторых ситуациях с закономерной неизбежностью, Чернышевский противопоставляет свой разбор отдельных конкретных случаев, ошибочно причисляемых, с его точки зрения, к «трагическим», и доказывает, что в каждом из них вовсе нет неумолимой неизбежности. Важно обратить внимание на самый способ спора Чернышевского с Гегелем. Гегелевскую систему, основанную

<sup>8</sup> А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. Изд. 2-е, М., «Художественная литература», 1968, стр. 241.

<sup>9</sup> См.: В. И. Ленин. К вопросу о диалектике. Философские тетради, М., Изд. политической литературы, 1969, стр. 322.

<sup>10</sup> Среди множества работ исключение составляет статья В. Ф. Асмуса «Эстетика Чернышевского». — «Знамя», 1935, № 2.

на признании закономерно необходимого, он стремится разрушить, исходя из признания полной суверенности отдельного случая, на который не распространяется необходимая власть «идеи». Только преднамеренный взгляд, рассуждает Чернышевский, отыщет в *этом* несчастном случае знак исходящей от «идеи» предрешенности. Любая коллизия, поначалу кажущаяся нам необходимо трагической, при внимательном ее рассмотрении предстает совершенно свободной от какого-либо элемента неизбежности: как стечение случайностей эта коллизия может быть трагична и иногда таковой бывает, но не менее часто трагической она вовсе не становится. Случай «свободен», на нем нет роковой печати.

Отдельно взятое случайное как конкретное явление не составляет прямой аналогии закономерному, содержит в себе известную свободу по отношению к неуклонному велению закона, и это обстоятельство для Чернышевского особенно важно. На нетождественности случайного и необходимого и относительной независимости *этого* случайного и строит свои возражения Гегелю Чернышевский. Таким методом он доказывает независимость жизни от вымышленной «идеи». Однако вместе с гегелевской «идеей» у Чернышевского в этом месте его рассуждений о трагическом оказалось отброшенным и самое понятие необходимости. Насколько вообще такое отрицание было ему свойственно и как широко распространялось оно на его общественные взгляды?

Мысль об «исторической необходимости» не оставлена Чернышевским в общей системе его представлений о ходе общественной жизни. Она возникает не раз, причем в качестве важнейшего принципа. Рассматривая отношения человека и общества и шире — личности и истории, он обращается к этому понятию как к исходному. Человек в его поступках и мыслях всегда рассматривается Чернышевским как невольный продукт окружающей среды. «Неуклонную историческую необходимость» видит он и в появлении великих людей в жизни общества. И наконец защищаемый Чернышевским принцип «действительности» представляется ему наиболее плодотворным именно потому, что позволяет видеть в окружающих явлениях не хаотическое нагромождение случайностей, а исторически необходимо развивающийся процесс. Реализм революционной программы Чернышевского также заключался в признании объективной необходимости революции и в постоянном интересе к степени объективной готовности массы к ее свершению<sup>11</sup>. Вместе с тем в целом ряде суждений Чернышевский отстает от последовательного развития связи необходимого и случайного. Как же соединялось в одном учении признание

<sup>11</sup> На это обстоятельство справедливо обращает внимание в названной книге Г. Г. Водолазов.

объективной детерминированности явлений общественной жизни с настойчивой защитой случайности и даже с известной абсолютизацией ее роли?

При ближайшем рассмотрении оказывается, что Чернышевский готов абсолютизировать роль случайности всякий раз, когда понятие необходимости представляется ему суживающим и схематизирующим богатство и многообразие реальной жизни. Он не принимает не только мысли Гегеля о господстве «идеи» над миром конкретного, но с тех же позиций критикует и детерминизм Гизо, когда замечает в его исторических взглядах излишне широкое признание роли разумной необходимости. Там, где Гизо к понятию «прогресса» возводит каждое поворотное событие в истории, видя в нем еще один неперемный успех цивилизации, Чернышевский выступает против такого натянутого оптимизма, осуждая его как дань схеме. Понятие случайности в подобных рассуждениях не только восстанавливается Чернышевским в своих правах, но и заметно преувеличивается во имя признания бесконечного богатства и многообразия проявлений действительности, не вмещающейся ни в какие «предписания». Реабилитация случайного, таким образом, явилась необходимым пунктом утверждения материализма Чернышевского. С вниманием к случайному связана и замечательная прозорливость Чернышевского в ряде конкретных оценок явлений политической жизни. Однако в некоторых других разветвлениях его теоретической системы абсолютизация случайного приводила к известной односторонности. Так было и в концепции трагического.

Рассуждения Чернышевского о трагическом имеют определенную аналогию с его мыслями о прекрасном и возвышенном. Подобно тому, как всю полноту удовлетворения наших представлений о прекрасном и возвышенном Чернышевский связывает с конкретным предметом, — он находит и полное выражение трагического в отдельном случае. Напрасно думать, — заявляет Чернышевский, — что наша потребность в прекрасном связана с абсолютным идеалом — человек вполне удовлетворяется отдельным прекрасным предметом, который доставила ему жизнь, хотя этот предмет очень далек от идеала. Неверно полагать, что возвышенное связано с идеей бесконечного, — мы испытываем возвышенные чувства от созерцания, например, высокой, но все же реально измеримой, а не бесконечно высокой горы. Чувство возвышенного при виде моря становится еще более сильным, когда перед нами не безмерный простор, а вдали видны берега, словно бы уточняющие размеры большого, но все же не бесконечного пространства. То же и с понятием трагического. Его не следует искать в общих законах развития «идеи» — достаточно указать на ужасное в конкретной человеческой жизни.

Чернышевский при этом не отмечает различия между ужас-

ным и трагическим. Он отвергает и самую тенденцию такого различения, улавливая в ней неприемлемое для него стремление противопоставить сознание реальному бытию. Ведь старая теория считала трагическое более высоким и значительным сравнительно с ужасным именно потому, что трагическое ближе к всеобщей «идее», озарено ее светом и тем самым «разумнее» ужасного. Видя в такой системе рассуждений одну из вариаций идеалистического утверждения первичности «духа», Чернышевский вообще не берет во внимание то обстоятельство, что, изображая трагическое, искусство не довольствуется прямым повторением реальности и что в трагическом искусстве есть закономерное и необходимое, выявленное с большей концентрированностью и полнотой, чем в подлинном случае. В мистифицированном виде отражение этой стороны искусства как действующего сознания содержалось в идеалистической теории. Чернышевским эта относительная независимость искусства отвергается вместе с отрицанием исходного постулата старой эстетики. Стремление к полноте признания жизни словно бы заслонило от него в этом пункте его рассуждений мысль о том, что жизнь сама нуждается в осознании.

Употребленное здесь уточнение «в этом пункте» очень важно, потому что в той же диссертации Чернышевского содержался знаменитый тезис об искусстве — учебнике жизни, ставший эстетическим девизом многих поколений. Содержалось, следовательно, признание особой ценности творческого подхода художника к своему предмету. В каком же отношении друг к другу находились два эти вывода?

Исследователи нередко обращают преимущественное внимание на один из них, оставляя в тени и считая малосущественным другой. Когда в центре наблюдений оказывается мысль Чернышевского об искусстве — суррогате действительности, делается вывод о его ошибке, и вся эстетика Чернышевского характеризуется как теория, имеющая определенный крен в сторону утилитаризма. Последний либо извиняется Чернышевскому, либо ставится ему в вину. В другом случае, когда наблюдения строятся на преимущественном интересе к отмеченной Чернышевским способности художника объяснять жизнь и учить читателя, снимается вопрос о всякой исторической дистанции, а замечание относительно искусства — заместителя действительности расценивается как допущенная Чернышевским на раннем этапе формирования его взглядов обмолвка, ошибка частного порядка, не оставившая никакого следа в последующем развитии его теории.

Между тем для общего содержания и самой структуры теоретической мысли Чернышевского очень характерно именно то обстоятельство, что в его теории имелось два ряда выводов, и один из них шел от стремления выделить первичность и абсолютное богатство самой жизни сравнительно с любым ее «по-

вторением», второй же исходил от всемерного поощрения активности действующего, т. е. учителя-художника, призванно-го объяснить то, что предлагает человеку сама жизнь. Мысль об искусстве — суррогате действительности и о том, что трагическое не нужно искать в предначертаниях «идеи», потому что оно просто-напросто есть «ужасное в жизни человека», должна быть отнесена к роду тех «ошибок», из которых рождаются новые звенья цепи исторического развития. «Ошибка» была необходима и плодотворна. Между двумя родами сделанных Чернышевским выводов пролегалo обширное поле еще не обследованных связей субъекта-объекта в искусстве. Пока же, споря с идеалистической эстетикой, Чернышевский словно бы не оставляет достаточного места для признания собственной значимости мысли, совершающей свое дело, отдавая реальной жизненной ситуации как вполне готовому для художника состоянию свое исключительное предпочтение.

С гегелевской теорией трагического Чернышевский, таким образом, вступал в идейную борьбу в одном исходном пункте: предопределено трагическое развитием «идеи» или оно принадлежит реальному бытию? Что же касается других вопросов, составлявших концепцию трагического в целом, то здесь устремления Чернышевского и Гегеля не встречались и не сталкивались, так как были направлены в разные области. Чернышевский обратил преимущественное внимание на развитие тезиса: жизнь богаче искусства. Гегель же, дав противоположное решение этому вопросу, свою мысль направил на другое. Предметом изучения он избрал специфические познавательные функции искусства как субъективной духовной деятельности, указывая на его особое место в ряду других сфер отражения «идеи». Подобный выбор предмета наблюдений и в первом, и во втором случае не был вполне свободным или произвольным. Он определялся коренными свойствами каждого из двух мировосприятий. Не явилось случайным и то обстоятельство, что спор Чернышевского с Гегелем не состоялся по всем пунктам. Отдельные мысли эстетики Гегеля не попали в поле зрения Чернышевского и были отброшены им как ошибка в силу причин глубоко объективных. В самой избирательности взгляда Чернышевского сказалось историческое отличие его материализма от марксизма. Гегель в восприятии Чернышевского неизбежно оказывался иным, чем предстал он, например, взгляду Ленина. В суждениях Чернышевского о Гегеле видны (отмеченные еще Плехановым) пронизательность и глубина. И все же перед Чернышевским в Гегеле обозначался не тот идейный противник, какой предстает нам в ленинских «Философских тетрадах». Гегель Чернышевского по сравнению с Гегелем в оценках Ленина — не полон.

Уже при одном этом обстоятельстве вопрос: с кем же спорит в действительности Чернышевский в своей диссертации?—

не представляется таким простым, каким может он поначалу казаться.

Согласно самой распространенной точке зрения, Чернышевский спорит с Гегелем, беря во всем объеме выводы его эстетики и последовательно их опровергая. При этом эстетика Гегеля характеризуется преимущественно как реакционная, и авторов мало смущает сделанное самим Чернышевским признание великих заслуг опровергаемого им предшественника, имя которого русская цензура запрещала упоминать. В других работах есть необходимое уточнение: критикуя немецкую эстетику в целом, Чернышевский рассматривает в своей диссертации работу Фридриха Теодора Фишера «Эстетика или наука прекрасного». Но и после этого уточнения многое остается непроясненным. Какие, например, вопросы и почему излагаются Чернышевским в интерпретации Фишера и где он считает необходимым обратиться непосредственно к Гегелю? В какой мере фишеровская трактовка соответствует выводам эстетики Гегеля?

Авторы работ о Чернышевском чаще всего вообще не отмечают различия между Гегелем и Фишером, и при этом создается впечатление, будто таких различий не было. Между тем они были, и Чернышевский их видел<sup>12</sup>. В своей критике теории трагического он обращается к Фишеру не потому, что это равная «замена» Гегеля, а как раз наоборот — в трактовке Фишера гораздо яснее, чем у Гегеля, выступали элементы фатализма, и, обратившись к Фишеру, Чернышевский скорее мог достичь свою цель — показать «несообразное смешение с понятиями науки»<sup>13</sup> таких ложных понятий, как «судьба», «рок».

Чернышевский адресовал свой труд не только узкому кругу специалистов, он боролся и против широко распространенных в массе суеверных представлений о роковой власти случая, распоряжающегося участью людей. В таком представлении о «судьбе» он видел род духовного обскурантизма и, преследуя его, иногда вообще оставлял «высокую теорию», переходя в область «практики» житейской морали. Как бы далеко ни отстояли друг от друга теория Гегеля и пережитки верований «древнего человека», сохранившиеся у современных людей, Чернышевский справедливо отмечает между ними связь. Крупным планом выделяя у Гегеля тот пункт, где формулировалась мысль о власти трагической необходимости над человеком,

<sup>12</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., в 15-ти тт., т. II, М., Гослитиздат, 1949, стр. 122. В предисловии к третьему изданию диссертации Чернышевский защищал правомерность замены текста Гегеля цитацией Фишера, который излагает «идеи Гегеля без всяких перемен». Но близость Фишера Гегелю решительно бралась Чернышевским под сомнение: «Фишер мыслитель довольно сильный, но сравнительно с Гегелем он пигмей. Все его отступления от основных идей «Эстетики» Гегеля — порча их».

<sup>13</sup> Там же, стр. 24.

Чернышевский намеренно дает его в изложении «пигмея» — Фишера<sup>14</sup>. Его критика поражает при этом сразу обе цели: и заблуждения, господствующие в ежедневных отношениях людей, и наиболее слабую сторону учения о трагическом в эстетике Гегеля. Однако опровергнутая в решении исходного вопроса эстетики гегелевская теория не была Чернышевским «снята».

## 2

В работах о Чернышевском эстетика Гегеля представлена обычно всего лишь как идеалистическое заблуждение. Заблуждением, ошибкой считал и сам Чернышевский мысль Гегеля о том, что искусство выше действительности. Но современная точка зрения на Гегеля вряд ли может полностью совпасть с отношением к нему Чернышевского, да последнее и не было сплошь отрицательным и включало в себя момент исторической преэминентности.

Необходимость пересмотра некоторых очевидно односторонних и сугубо критических суждений об эстетике Гегеля может сегодня, на первый взгляд, казаться уже отпавшей. Ссылки на Гегеля в общетеоретических трудах об искусстве, отдельное издание его «Эстетики», монографические работы и статьи, посвященные изучению его философского наследия, говорят сами за себя. «Гегель и современность» — тема, не так давно показавшаяся бы едва ли не образцом полемического заострения, — теперь не нуждается в разъяснительных рекомендациях. В плане общеидеологическом Гегель все чаще становится нашим союзником в борьбе против тенденций антиисторизма и отрицания исторического прогресса в современной буржуазной науке<sup>15</sup>.

Однако в целом ряде более частных вопросов, каким является и вопрос об отношении Чернышевского к эстетике Гегеля, видимость методологического престижа все еще сохраняют формулировки, весьма приблизительно отражающие объективную суть дела.

Критика фатализма у Чернышевского не охватывает в целом гегелевской трактовки исторической необходимости. За мистифицированной оболочкой в теории Гегеля скрывалась мысль о внутренней объективной непреложности развития истории, мысль об историческом прогрессе, «который мы должны понять в его необходимости»<sup>16</sup>. Трагическое Гегель находит в ряду важных объективных закономерностей исторического движения. Поскольку необходима борьба нового и старого, по-

<sup>14</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. II, М., Гослитиздат, 1949, стр. 22—24.

<sup>15</sup> См.: Международный гегелевский философский конгресс, VII. Доклады советских ученых, М., «Знание», 1970.

<sup>16</sup> Гегель. Философия истории, т. VIII, М.—Л., Соцэкгиз, 1935, стр. 19.

стольку необходима и возможность возникновения трагических коллизий в такой борьбе. Ведь само движение жизни «является не просто спокойным процессом, совершающимся без борьбы, ...а тяжелой, недобровольной работой, направленной против самого себя»<sup>17</sup>.

Роль личности в истории, хотя главное место в ней и отведено «идее», не сводилась у Гегеля к нулю и не перечеркивалась господством «рока». Признавая главным абсолютный «дух», Гегель не отрицал силы и активности человека. Трагические герои тем и прекрасны, что не останавливаются «ни перед чем, ни перед какими правами, небесными или человеческими», шекспировские лица «внутренне последовательны, верны себе и своей страсти и во всем, что они собою представляют и что с ними случается, они ведут себя согласно своей твердо очерченной определенности»<sup>18</sup>. Гегель высоко ценит героические характеры, способные самоотверженно высказать и защитить «новый принцип духа», силу их индивидуальной ответственности перед глубоко осознанной целью. О герое можно сказать, что это «самостоятельная добродетель, побуждаемый которой, он, исходя из частной своей воли, восстает против несправедливости и борется с человеческими и природными чудовищами». В этой самостоятельной решимости герой оказывается впереди один, он выражает то, что «не является всеобщим состоянием его времени», и его инициатива тем более ценна, что «принадлежит исключительно ему и представляет собою его характерную особенность»<sup>19</sup>.

Особый интерес для целей настоящей статьи имеет гегелевское разъяснение «антагонизма между личностью и государством». К трагической гибели приходит человек, решившийся на борьбу с устаревшими принципами общественного устройства. Рассматривая в качестве подобного примера выступление Сократа против норм жизни афинского общества, Гегель дает несравненно более глубокое, чем у Фишера, осмысление исторического значения подобного акта. Это отличие и важно отметить, так как именно на основе приравнивания Гегеля Фишеру исследователи чаще всего и делали односторонний вывод о реакционно-примирительном смысле гегелевской философии истории.

Во всемирной истории Гегель выделил как заслуживающее особого внимания «положение героев, зачинающих новый мир, принцип которого находится в противоречии с прежним принципом и разрушает его». Он пришел к выводу, что подобных людей нельзя не признать «насильственными нарушителями законов», поскольку «старые законы и права возникли не слу-

<sup>17</sup> Гегель. Философия истории, т. VIII, М.—Л., Соцэкгиз, 1935, стр. 53.

<sup>18</sup> Гегель. Лекции по эстетике. Соч., т. XIII, М., Соцэкгиз, 1940, стр. 141.

<sup>19</sup> Там же, т. XII, стр. 190.

чайню, а были подготовлены предшествующим ходом жизни и заключали в себе частицу исторической необходимости. Человек, поднявшийся против этой несравненно более могущественной силы, неминуемо погибнет. Герой-протестант оказывается в роли узурпатора по отношению к устаревшим, но все же необходимо развивавшимся формам жизни. Личное вмешательство в текущее по своим законам «всеобщее состояние» тем самым ставит героя в положение виновного. Эта сторона рассуждения Гегеля о путях исторического развития Фишером была преподнесена как главный вывод гегелевской философии истории: притесняемый сам становится притеснителем. В изложении Фишера, где живое развитие плодотворной мысли Гегеля превращалось в схему, история предстала едва ли не «порочным кругом», в котором роковым образом меняются места победители и побежденные. Справедливо действовавший герой, как полагал Фишер, «погибает под тяжестью собственной несправедливости», ...«побеждая, впадает сам точно таким же образом в несправедливость, влекущую за собой гибель или страдание»<sup>20</sup>.

Гегель далек от подобной абсолютизации противоречий<sup>21</sup>, когда отрицается само поступательное движение истории. Единство, наступившее после борьбы, вовсе не представляется ему чем-то в виде худого мира «правых» и «виноватых», каким выглядит оно у Фишера. Итогом борьбы Гегель вовсе не считает, подобно Фишеру, состояние нивелирующего равновесия, когда внутренне обесцениваются действия великой личности. В Сократе Гегель видит, например, настоящего героя, «который имеет абсолютное право уверенного в самом себе духа»<sup>22</sup>. Дело Сократа вовсе не кажется Гегелю бесследно исчезнувшим в круговороте исторических событий, и даже гибель не явилась крушением его идей. Сократ умерщвлен, но «лишь индивидуум, а не принцип уничтожается в наказании; и дух афинского народа не восстановился посредством уничтожения индивидуальности Сократа»<sup>23</sup>. Афиняне позднее оправдали приговоренного к смерти Сократа, признав тем самым, что его взгляды в конце концов одержали верх.

Энгельс отмечал, что Гегель-диалектик не отрицал в принципе революционный способ критики действительности и мог говорить о революции «с величайшим воодушевлением». Примером может быть известное его отношение к Французской революции. Состояние общественной и политической жизни в

<sup>20</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., в 15-ти тт., т. II, стр. 23.

<sup>21</sup> Именно с этих позиций абсолютизации противоречий и отрицания прогресса критикуют Гегеля некоторые современные буржуазные философы.

<sup>22</sup> Гегель. Лекции по истории философии. Соч., т. X, М., Партиздат, 1932, стр. 85.

<sup>23</sup> Там же.

стране перед революцией Гегель считал «неразумным», революция же представлялась ему «разумной» как необходимое насилие. Из общего потока развития он не исключал как вполне необходимые и такие исторические ситуации, когда «монархия была недействительной, а революция действительной»<sup>24</sup>.

Гегелевская концепция исторического развития никак не укладывается в такое «прокрустово ложе», когда единственной мерой для его философии истории оказываются только содержащиеся в ней примирительные тенденции. Вряд ли можно признать вполне отвечающим духу историзма такой, например, вывод: «Рассуждая о борьбе между новым и старым в общественной жизни, Гегель в конечном итоге всегда оказывался сторонником старого, против которого восставали великие люди. Чернышевский, напротив, был неизменным защитником нового. Он отверг взгляд Гегеля на трагедию»<sup>25</sup>. Подобное противопоставление (едва ли не аналогия борьбы «консерватора» и «новатора») не отражает истинного положения вещей.

Во взгляде Гегеля на трагическое, действительно, видны общие противоречия между методом и системой его философии. Нельзя судить о Гегеле избирательно, выдвигая в центр внимания либо прогрессивное, либо реакционное в его взглядах. Принцип диалектического самодвижения обязывал Гегеля рассматривать историю такой, какова она есть, звал к строгому изучению и объяснению того, что дает сама история. Личность была поставлена перед «великим всеобщим состоянием». Гегель показал объективную необходимость действий выдающейся личности. Обозначались подлинные координаты исторического человека, вовлекаемого в события, которые «всегда таковы, какими они неизбежно оказываются». Диалектический метод укреплял реалистическое миропонимание с его интересом к типическим характерам в типических обстоятельствах, и в истории идей процесс выработки такого взгляда на жизнь совершался отнюдь не «вопреки Гегелю».

В трактовке трагического как принципиально новое у Гегеля явилось понятие необходимости, истолкованное в гораздо большем, чем прежде, приближении к истории. Трагический герой, в той или иной форме не принимающий существующие обстоятельства, был поставлен теперь в положение личности, чье отрицание рождается не из субъективной воли, «плохой» или «хорошей», а в силу объективно необходимого развития. Философия Гегеля отвергла субъективизм романтического

<sup>24</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, М., Госполитиздат, 1961, стр. 274.

<sup>25</sup> Б. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., Гослитиздат, 1953, стр. 163. То же противопоставление Чернышевского и Гегеля повторено Б. И. Бурсовым и в статье «Литературно-эстетические взгляды Г. В. Плеханова». — В кн.: Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, М., Гослитиздат, 1958, стр. XXVII.

восприятия жизни, она показывала, что отрицание существующего во имя произвольных построений фантазии — несостоятельно. «Идея отрицания» была поставлена на более основательную историческую почву.

Однако вместе с тем гегелевская философия «хочет быть также системой абсолютной истины, а в мире абсолютного нет несправедливости»<sup>26</sup>. В пределах этой системы неизбежно возникали определенные суживающие регламентации в общем решении проблемы личности и действительности, что не могло не сказаться и на проблеме трагического.

В мире разумно развивающейся и «справедливой» идеи человек оказался потесненным в своих правах. В разумном царстве абсолютного он не имеет права на страдание. Трагедия отдельной личности неизбежно теряла самостоятельное значение. Сосредоточиться на страдании отдельной индивидуальности и признать вполне человеческую неудовлетворенность — значило признать и принципиальную дисгармоничность «великого всеобщего состояния», подвергнуть сомнению абсолютную справедливость «идеи». В объяснении исторического смысла гибели людей, подобных Сократу, у Гегеля появлялся, кроме рассмотренных, еще один важный составной аргумент. Сократ гибнет не только потому, что силы старого пока еще сильны, гибнет не только во имя добровольно и смело принятой на себя роли убежденного защитника новых принципов, но и в качестве искупительной жертвы. Он «виновен» перед законным ходом развития жизни, и гибель человека, нарушившего этот миропорядок, необходима для восстановления справедливости и удовлетворения нашего нравственного чувства. Плеханов отмечал, что с подобным пониманием жертвенности трагического героя Чернышевский никак не мог согласиться, называя мысль о необходимости жертвы «натянутой и жестокой», совершенно ложной и конструированной философами.

Учение о трагическом не свободно, таким образом, у Гегеля от фатализма, хотя его никак нельзя считать только пассивно-созерцательным, каким казалось оно Чернышевскому. У Гегеля было свое понимание действительности искусства.

Активную его силу он видел в самих познавательных возможностях искусства. Искусство знает о жизни то, что в ней самой в готовом виде не содержится. Как произведение искусства трагедия возвышает человека над положенной в ее основу коллизией: противоречия жизни здесь обнажены, законы их развития открыты, их исторический смысл постигнут. Это настоящая победа человеческого духа, так как «знаю» трагедии — не простая констатация факта, но и акт сознания, которому подвластны тайны жизни. Гегель пишет о свободе разу-

<sup>26</sup> Г. В. Плеханов. Эстетическая теория Чернышевского. Избр. филос. произведения в 5-ти тт., т. V, М., Соцэкгиз, 1958, стр. 265.

ма, познавшего необходимость. «Вторая действительность», созданная искусством, «разумнее» настоящей. Но чем полнее выявляет Гегель эту специфическую задачу искусства, тем настоятельнее он отгораживает его от всяких практических целей и от вмешательства в жизнь. Выполняя свою специфическую функцию познания «идеи в чувственной форме», искусство остается само себе целью. Вместе с плодотворной мыслью о специфическом назначении искусства как особого рода познавательной духовной деятельности (в качестве прямого развития этой мысли) в гегелевской системе складывался вывод, что цель искусства направлена не к практическому преобразованию действительности, а к специфическому — «чувственно-му» постижению разумной и абсолютно справедливой «идеи».

Чернышевскому такое понимание роли искусства было чуждо и представлялось неудовлетворительным. Ход его мыслей был направлен как раз к практическому исключению трагического из самой жизни. На трагическое Чернышевский смотрит как на вполне преодолимое и поэтому излишнее страдание, принятое людьми на себя только потому, что они пока еще не вооружены достаточными знаниями и волей для победы над трагическим. Поэтому в решении проблемы трагического Чернышевский ставит перед искусством совершенно противоположные гегелевской эстетике цели. Он предлагает пересмотреть традиционный взгляд на Шекспира. Его ценят за то, что он глубоко развил в своих трагедиях идею необходимости, и гибель героев здесь оказывается тем неизбежнее, чем прекраснее сами герои. Такой взгляд Чернышевский отвергает: в шекспировских трагедиях действует тот же несчастный случай, который оказывается иногда решающим и в некоторых ситуациях в жизни. Задача искусства состоит вовсе не в том, чтобы открыть глубокую неизбежность трагического, а в том, чтобы подорвать самую мысль о подобной неизбежности.

Чем настоятельнее идеалистическая эстетика замыкала цели искусства собственно познавательной его сферой, тем неуклоннее в споре с ней Чернышевский защищал и даже абсолютизировал тезис о том, что в трагическом нет ничего необходимого. Драматургу незачем стремиться к общей «идее» — жизнь дает самые интересные и уже готовые сюжеты. Возведенная в принцип, эта мысль была своего рода крайним выводом, противопоставленным у Чернышевского противоположной крайности гегелевского вывода о цели искусства, в нем самом заключенной.

Все размышления о трагическом начинались у Чернышевского с вопроса о возможности исключения его из жизни, его вдохновляла забота о свободе и счастье человека, и в этом его эстетическая система противостояла гегелевской. Нельзя не вспомнить, что именно с такой же защиты принципа личности начинал в свое время восстание против Гегеля и Белинский.

Но при всем этом стремлении к возможно полному учету действительной стороны искусства, действительность самого познания как субъективной сферы все же не была Чернышевским охвачена в полной мере и оказалась в теории познания в большей степени разработанной Гегелем. «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский, — писал К. Маркс, — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно. Отсюда и произошло, что *деятельная* сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой»<sup>27</sup>. При существенном различии взглядов Чернышевского и Фейербаха эти слова могут быть все же в определенной мере отнесены и к Чернышевскому.

В обычном противопоставлении Чернышевского и Гегеля, как оно проводится многими авторами, недостает, таким образом, некоторых существенных уточнений, и они должны быть найдены в плане конкретно-исторического соотнесения сильных и слабых сторон в той и другой эстетической системе<sup>28</sup>.

«Безысходным фатализмом проникнута эта теория трагического конфликта и трагической вины: человек в ней уподобляется белке в колесе, изображается как беспомощная жертва рока»<sup>29</sup>, — эти слова, сказанные о Гегеле, пожалуй, в большей мере относятся к приведенному Чернышевским отрывку из эстетики Фишера, чем к гегелевской философии искусства. Едва ли не общим местом многих работ о Чернышевском является указание на реакционность гегелевской эстетики, которая якобы проповедовала лишь «примирение с действительностью» и «старалась унижить человеческую личность». Как согласовать это истолкование гегелевской теории трагического со следующей трактовкой «Философии истории» М. Б. Митиным: «Философия истории» Гегеля насквозь оптимистична, она направлена и против тех, кто видит в истории лишь сплошную трагедию, кто абсолютизирует противоречия, кто не понимает и отрицает историю как прогресс в развитии сознания свободы»<sup>30</sup>. Нельзя не согласиться с автором «Предисловия» к новому изданию «Эстетики» Гегеля, М. Лифшицем, не без осно-

<sup>27</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 1.

<sup>28</sup> Одним из первых шагов в этом направлении явилась статья В. А. Бочкарева «Некоторые вопросы теории драмы в освещении Н. Г. Чернышевского». — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. IV, Изд. Саратовского ун-та, 1964, стр. 174.

<sup>29</sup> А. Караганов. Чернышевский и Добролюбов о реализме, стр. 96.

<sup>30</sup> М. Б. Митин. «Философия истории» Гегеля и современность. — В кн.: Международный гегелевский философский конгресс, VII. Доклады советских ученых, стр. 17.

вания иронизирующим по поводу постоянства схем такого рода, где «в качестве главного зла выступает Гегель»<sup>31</sup>. Нельзя не признать и справедливости обращения автором того же «Предисловия» упрека в адрес критиков Гегеля, «желающих самым легким способом доказать свое превосходство над ним»<sup>32</sup>. Действительно, ни в одной из названных выше работ не содержится сколько-нибудь развернутого конкретного анализа гегелевского текста.

Исполненные глубокого уважения, слова Чернышевского о Гегеле, если они и упоминаются исследователями, обычно присутствуют лишь в качестве свидетельства того, что автор «Эстетических отношений искусства к действительности» ... читал Гегеля. Между тем оценка Чернышевским эстетики Гегеля имеет весьма глубокий смысл.

Чернышевский специально выделяет в «Лекциях по эстетике» те места, где говорится о том, что прекрасно в действительности. Известно, что именно в этих разделах вводной части своего труда Гегель, указывая на неизмеримые богатства природы, считает всякого художника, пожелавшего повторить ее, уподобившимся червю, который никогда не догонит слона. Заметив, что Гегель «бессознательно принимал прекрасным в природе говорящее нам о жизни», Чернышевский спрашивает: «Есть ли существенная разница между нашим определением «прекрасное есть жизнь» и (между определением его): «прекрасное есть (полное) единство идеи и образа?» Связь этих — в принципе противоположных — определений для автора «Эстетических отношений» неоспорима: «Не есть ли предлагаемое нами определение только переложение на обыкновенный язык того, что высказывается в господствующем определении терминологиею спекулятивной философии?»<sup>33</sup>. Конечно, «переложение на обыкновенный язык» не было таким в прямом смысле слова и явилось глубоким развитием самостоятельной материалистической теории искусства. Однако сложилась эта теория, исполненная пафоса критики господствующей идеалистической эстетики, совсем не вопреки классическому труду Гегеля<sup>34</sup>. Плодотворно замечание М. Лифшица: «Но такой человек, как Чернышевский, понял скрытую внутреннюю мысль «Лекций по эстетике», и его знаменитое опреде-

<sup>31</sup> Гегель. Эстетика, т. I, М., «Искусство», 1968, стр. VIII.

<sup>32</sup> Там же, стр. IX.

<sup>33</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., в 15-ти тт., т. II, стр. 13—14.

<sup>34</sup> На идейную преемственность эстетической системы Чернышевского и эстетики Гегеля указывает В. Г. Астахов: «Эстетика Гегеля, являясь объектом критики для Чернышевского, была в то же время одним из источников, в котором Чернышевский черпал материал для развития своей эстетической теории». (В. Г. Астахов. Г. В. Плеханов и Н. Г. Чернышевский. О методологических основах плехановской оценки литературно-эстетической теории Чернышевского, Сталинабад, 1961, стр. 135).

ление «прекрасное есть жизнь» примыкает именно к Гегелю»<sup>35</sup>.

Гегелевская философия, в идеалистически перевернутом виде, охватила целостный, исторически развивающийся поток жизни, увлекающий человека в своем, внутренне необходимом, стремлении. Именно в этом качестве она явилась одной из идейных предпосылок проведенной Чернышевским реабилитации действительности, сбросившей с себя в новой, материалистической философии господство абсолютного духа. Гегелевскую трактовку понятия «действительность» Чернышевский высоко ценил, и в «Очерках гоголевского периода развития русской литературы» указал на прямую связь русской эстетической мысли в лице Белинского с философией Гегеля.

Мы располагаем классическими примерами историко-теоретического сравнения идеалистической и материалистической философских систем в работах Маркса, Энгельса, Ленина. Методологической основой для изучения исторической связи эстетики Чернышевского и Гегеля может явиться, например, работа «Три источника и три составных части марксизма», где одним из таких источников также признана, как известно, философия Гегеля. Принципиальное значение в этой же связи имеют и слова Ленина о Чернышевском как «великом русском гегельянце»<sup>36</sup>.

В исторической оценке двух теорий трагического особое значение имели работы Г. В. Плеханова о Чернышевском. Примечательной страницей в истории критики стал и возникший много позже появления этих работ<sup>37</sup> спор Луначарского с Плехановым. Перечитать эти статьи сегодня — значит обратиться не только к прошлому, но и к современным трактовкам проблемы трагического.

Плеханов установил единство философской и эстетической концепций Чернышевского. Сильные и слабые стороны эстетической теории Чернышевского рассматривались в трудах Плеханова в тесной связи с развитием философии от Гегеля к Фейербаху и Марксу. Именно поэтому исторически точно был установлен и объяснен главный пункт расхождения Чернышевского и Гегеля в понимании трагического. Там, где Гегель в своей трактовке исторической необходимости доходил до признания «необходимости искупительной жертвы», начинал свое дело критики Чернышевский. Принципиальное расхождение взглядов Гегеля и Чернышевского рассматривается как

<sup>35</sup> Гегель. Эстетика, т. I, стр. IV.

<sup>36</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 381.

<sup>37</sup> Работа Г. В. Плеханова «Эстетическая теория Чернышевского» написана в 1897 году, доклад А. В. Луначарского «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности», в котором он пересматривал плехановскую оценку Чернышевского, был сделан в 1928 году.

исторически важный момент рождения новой мысли революционного демократа и материалиста.

Плеханов указал и на соответствие выдвинутого Чернышевским определения трагического — «ужасного в человеческой жизни» — антропологическим принципам его философии. В учении о трагическом те исторически неизбежные недостатки материализма фейербаховского толка, которые имелись у Чернышевского, сказались особенно сильно<sup>38</sup>. Историческое соотнесение немецкой классической философии и материализма Фейербаха (методологически тождественное у Плеханова подобным сравнительным оценкам у Маркса, Энгельса и Ленина) позволило Плеханову различить и неудовлетворительность некоторых положений эстетики Чернышевского. Плеханов критикует сведение трагического к случайному. Элементы утопизма он видит и в концепции преодоленной трагедии. Трагическое лежит в необходимом ходе реальных общественных отношений. Чернышевскому же казалось, что «люди будут очень счастливы, если они надлежащим образом организуют свои общественные отношения»<sup>39</sup>. «Это вполне понятный, очень почтенный и при наличии известных психологических условий совершенно неизбежный оптимизм», — поясняет Плеханов. В другом месте он указывает на определенные общественные условия (60-е годы), при которых укрепляется оптимизм такого типа: «Это была эпоха общественного подъема, имевшая, можно сказать, нравственную потребность в таких взглядах, которые подкрепляли бы веру в неминуемое поражение зла»<sup>40</sup>. Поэтому-то Чернышевский и считал, что «в истории порок всегда несет заслуженное им наказание», и тем более укреплялся в своей вере в случайность трагического. Обнаружив идеалистические отступления в исторических взглядах Чернышевского, Плеханов указал на их связь с теорией трагического и назвал подобное понимание трагического точкой зрения «условного оптимизма»<sup>41</sup>.

Признавая большое значение материалистической критики Гегеля у Чернышевского как поворотный пункт в эстетике, Плеханов вместе с тем отмечал и определенные пределы, в которых эта критика исторически могла у Чернышевского состояться: «Диалектическая критика гегелевской философии была дана лишь Марксом и Энгельсом»<sup>42</sup>. Ни «сам Чернышев-

<sup>38</sup> На это обращал внимание А. Лаврецкий. См. его кн.: Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм, стр. 241.

<sup>39</sup> Г. В. Плеханов. Избр. филос. произведения в 5-ти тт., т. V, стр. 267.

<sup>40</sup> Там же, стр. 338.

<sup>41</sup> Там же, стр. 267.

<sup>42</sup> Там же, стр. 269.

ский, ни его учитель Фейербах не в состоянии были сделать этого»<sup>43</sup>.

Плехановскую оценку трактовки трагического у Чернышевского спустя тридцать лет подверг резкой критике Луначарский. Его доклад «Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности», как и другие статьи о Чернышевском, имел целью не только восстановить «искаженную» Плехановым картину прошлого эстетической мысли, но и выработать концепцию трагического, приемлемую для советской литературы.

Заслуги Луначарского в освоении духовных ценностей классического наследия неоспоримы, и речь в данном случае идет, разумеется, не о пересмотре общего значения его выступлений, посвященных писателям и общественным деятелям XIX века. Статьи Луначарского о Чернышевском активно вовлекали революционно-демократические идеи в строительство социалистической культуры. Однако обычно его суждения брались исследователями вне учета содержащихся в них акцентов, которые придавали теме «Чернышевский и современность» особое звучание.

Считают, что в споре с Плехановым прав Луначарский: со всей отчетливостью он увидел изъяны «плехановского объективизма» и прочертил связующую линию от эстетики Чернышевского к мировоззренческим принципам литературы социалистического реализма. Из этой линии Плеханов исключался как «отступник» от революционных традиций.

Обоснованность возражений Луначарского Плеханову исследователями, за немногим исключением, не берется под сомнение. В сравнении их взглядов в критической литературе сложился ставший уже традиционным ход заключений, давно не подкрепляемый текстом и не проверяемый заново прочитанными первоисточниками<sup>44</sup>. Давняя тенденция прямого перенесения известных политических ошибок Плеханова на все его эстетическое наследие в целом все еще дает себя знать. В конце 30-х годов М. Розенталь приходил к выводу, что Плеханов «тянул критику назад, не только от Маркса, но и от Белинского, Чернышевского»<sup>45</sup>. Столь же крайних выводов придерживался и И. Лежнев<sup>46</sup>. Видя в Чернышевском не только

<sup>43</sup> Г. В. Плеханов. Избр. филос. произведения, в 5-ти томах, т. V, стр. 269.

<sup>44</sup> Автор последнего исследования о Плеханове, П. А. Николаев, справедливо отмечает, что «потребность объективно разобраться в этом соотношении (позиций Плеханова и Луначарского. — Г. М.) оказывается прямо-таки насущной». (П. А. Николаев. Эстетика и литературные теории Плеханова. М., «Искусство», 1968, стр. 49).

<sup>45</sup> М. Розенталь. Вопросы эстетики Плеханова. М., «Художественная литература», 1939.

<sup>46</sup> И. Лежнев. Эстетика Чернышевского. — «Красная Новь», 1939, № 10—11, стр. 226—228.

прямого предшественника, но едва ли не зачинателя теории социалистического реализма, в своем сближении Чернышевского с современностью И. Лежнев игнорировал принцип историзма, и, скорее всего, именно поэтому историзм плехановского подхода к Чернышевскому в глазах И. Лежнева перерастал в явную недооценку заслуг революционного демократа. И хотя позднее эстетическая теория Плеханова не раз получала справедливую оценку<sup>47</sup>, его идеи «пропускаются в современность» со множеством привычных, но не всегда обоснованных оговорок. Последнее категорическое «нет» Плеханову сказал А. П. Белик уже в 1961 году<sup>48</sup>.

Известная доля предвзятости есть и в точке зрения Луначарского на Плеханова. Он исходит из утверждения, что Плеханов не мог в полной мере оценить духовного богатства личности Чернышевского — страстного борца и жизнелюбца, и видел в нем лишь «мозговика» и «сухаря». «Плеханов боится Чернышевского»<sup>49</sup>, потому что не способен положительно отнестись к революционной активности Чернышевского.

Луначарский полностью разделил позицию Чернышевского в его критике Гегеля. Абсолютизация случайного в трагическом, отказ от идеи исторической необходимости трагического казались Луначарскому проявлением единственно последовательного исторического оптимизма. Как самое полное выражение революционного мироощущения концепция трагического у Чернышевского проецировалась Луначарским на современность. Обращаясь к будущему, он считал, что с развитием науки и техники «чувство трагизма отпадает». Замечание Энгельса о «прыжке из царства необходимости в царство свободы» понято Луначарским как достижение некоего абсолюта, знаменующего собою полный «конец человеческой трагедии»<sup>50</sup>, в каких бы формах эта трагедия ни проявлялась. Концепция

---

<sup>47</sup> Следует особо отметить методологическую выверенность статей В. Ф. Асмуса: «Вопросы эстетики в работах Г. В. Плеханова» («Под знаменем марксизма», 1943, № 6) и «Эстетика Чернышевского» («Знамя», 1935, № 2).

<sup>48</sup> «Чернышевский был социалистом-утопистом. Это неопровержимый факт, — пишет А. Белик. — Но это не значит, что его, например, эстетика тоже является утопической, как то полагал Плеханов» (А. Белик. Эстетика Чернышевского. М., «Высшая школа», 1961, стр. 274). Неправомысленно отрицая элементы утопизма в эстетике Чернышевского, А. Белик искажил главное в плехановской трактовке его эстетических взглядов. Исторически объяснив утопизм отдельных формулировок Чернышевского, Плеханов высоко ценил именно те материалистически обоснованные выводы его эстетической и философской системы, которые делали Чернышевского в глазах Плеханова великим союзником в борьбе против народнического субъективизма.

<sup>49</sup> А. В. Луначарский. Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности. Собр. соч., т. 7, М., «Художественная литература», 1967, стр. 567.

<sup>50</sup> Там же, стр. 563—564.

преодоленной и исключенной трагедии отрывалась от конкретно-исторической почвы и основывалась на вере в могущество революционно-преобразующей силы человеческого сознания. «Через голову Плеханова, — говорил Луначарский, — мы протягиваем руку этому утопическому социалисту, который придавал огромное значение власти человеческого разума и воли»<sup>51</sup>. При этом он вынужден был сделать некоторые необходимые оговорки. Луначарский призывает «содействовать действительности»<sup>52</sup>, признает, что «марксизм чрезвычайно урезал»<sup>53</sup> роль субъективных факторов, но преувеличение роли сознания и воли в его суждениях о трагическом все же вполне очевидно: «...Этика и эстетика Чернышевского, его иллюзорное представление о власти разума человека над действительностью сейчас оказываются близкими, и очень многое из критики Плеханова, направленной против Чернышевского, отпадает»<sup>54</sup>. На самом же деле «отпадают» многие обвинения самого Луначарского, направленные им против Плеханова<sup>55</sup>. Нельзя не признать верными замечания А. Лаврецкого, что, приняв взгляд Чернышевского и Луначарского на трагическое как случайное, мы тем самым вынуждены будем отрицать и трагедию как жанр<sup>56</sup>.

Действенный оптимизм Чернышевского позднее не раз противопоставлялся плехановскому «объективизму» и созерцательному «академизму». Такое противопоставление приобрело видимость аксиомы, тогда как держится оно на весьма шатких основаниях. Плеханов, назвавший оптимизм Чернышевского «условным», оказывается, — как иногда о нем пишут — не верил, что новые и прогрессивные силы в истории всегда одерживают верх, а потому и сомневался в безусловных для Чернышевского истинах. Плеханову возражают так: «На самом деле это был оптимизм последовательного революционера и демократа. Новое победит, несмотря ни на что, победит рано или поздно, нет силы, которая могла бы воспрепятствовать его утверждению»<sup>57</sup>. Но разве Плеханову мысль о неодолимости нового была неизвестна? Приведенный критический отрывок, по сути дела, не имеет никакого отношения к затронутым в нем вопросам. Здесь все вызывает возражения. Сущность спора Чернышевского с Гегелем шла вовсе не по поводу борьбы «нового» и «старого», острее вопроса, как мы видели, заключалось

<sup>51</sup> Там же, стр. 583.

<sup>52</sup> Там же, стр. 582.

<sup>53</sup> Там же, стр. 583.

<sup>54</sup> Там же.

<sup>55</sup> См.: П. А. Николаев. Эстетика и литературные теории Г. В. Плеханова, стр. 48—66.

<sup>56</sup> А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм, стр. 242.

<sup>57</sup> Б. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов, стр. 164.

не в этом. Чернышевский не мог не знать, что Гегель признавал исторический прогресс, и с этой стороны не только не подвергал его теорию критике, но и считал необходимым солидаризироваться с Гегелем, признавая ценность открытого им принципа самодвижения как непреложного закона развития (см. его оценку гегелевской философии в «Очерках гоголевского периода»). Возражая же против фишеровских интерпретаций мысли Гегеля о трагической участи многих великих людей, Чернышевский, конечно же, не отрицал основного пафоса этой мысли: гибель личности, защищающей «новый принцип духа», не может остановить новое. Что же касается Плеханова — какой предстает его позиция в приведенном отрывке, — то, критически относясь к элементам просветительства во взглядах Чернышевского, он всегда высоко ценил его революционные убеждения, и «условность» оптимизма Чернышевского, в том историческом смысле, какой вкладывал в это определение Плеханов, совсем не ставила под сомнение революционной последовательности Чернышевского.

Плехановское замечание об «условном» оптимизме бесспорно противопоставляется ленинским оценкам этой стороны мировоззрения Чернышевского<sup>58</sup>. Между тем принципиального различия между оценками Ленина и Плеханова в данном случае нет. Высоко ценя исторический оптимизм шестидесятников и сближая его с мировоззрением «учеников», то есть марксистов, Ленин отмечал ограниченность исторического «зрения» первых: «Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий»<sup>59</sup>. Народник существующего положения вещей, как пишет Ленин, «боятся», ибо противоречия он «уже заметил», хотя объяснить их тоже не сумел. Марксист же «верит в данное общественное развитие» как шестидесятник, но, в отличие от него, знает подлинные объективные законы истории, и его оптимизм наиболее прочен и обоснован. Таким образом, и для Ленина оптимизм Чернышевского, не знавшего об утопичности своих революционных воззрений, оставался именно «условным» в том смысле, в каком называл его таковым Плеханов.

Известно, что Ленин не считал точку зрения Плеханова на Чернышевского вполне удовлетворяющей требованиям остроты политического анализа<sup>60</sup> и в своей оценке деятельности Чернышевского обращал внимание не только на утопичность его социалистических идей, но и на умение «влиять на все политические события его эпохи в революционном духе»<sup>61</sup>. Важно заметить при этом, что Ленин не делал критических

<sup>58</sup> М. С. Каган. Эстетическое учение Чернышевского. Л.—М., «Искусство», 1958; стр. 71.

<sup>59</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 540.

<sup>60</sup> «Ленинский сборник», XXV, М., Партиздат, 1933, стр. 231.

<sup>61</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 175.

замечаний относительно решения той центральной темы, какую избрал Плеханов в книге о Чернышевском. Это направление состояло в последовательном выявлении этапов развития материалистической мысли Чернышевского, противопоставленной Плехановым не только идеалистическим философским системам, в борьбе с которыми формировались взгляды Чернышевского, но и тем элементам просветительства в его представлениях о законах общественной жизни, где Чернышевский превеличивал преобразующую возможность «разума», «знания» и где его материалистическая мысль обнаруживала свою непоследовательность.

В целом точка зрения Плеханова на Чернышевского была исторической, и именно поэтому его критические замечания на книгу Ю. М. Стеклова<sup>62</sup> совпадают по своему содержанию с одной из основных критических оценок ее у Ленина<sup>63</sup>. Принцип избирательных аналогий, когда отдельно взятые суждения Чернышевского наполняются не тем конкретным смыслом, который они могли иметь, толкуются расширительно и на их основе делаются прямые сближения теории Чернышевского с историческим материализмом, неверен в своей основе.

Вместе с тем в ленинском и плехановском прочтении Чернышевского имелось важное различие, неоднократно отмечавшееся исследователями. Взяв курс на социалистическую революцию в России, Ленин не мог не ценить в большей мере, чем Плеханов, наступательно-действенную и политически-активную пропаганду Чернышевским революционных идей. Поэтому преимущественное внимание Плеханова к теоретической стороне работ Чернышевского и казалось Ленину явно недостаточным для общей характеристики его деятельности. И в целом, если с этой точки зрения сравнить ленинскую и плехановскую эстетические системы, можно сделать один вывод: именно Ленин дал теоретическую основу для верного понимания творчески преобразующей роли художественного произведения. В этом пункте революционность марксиста не может не отличаться от революционности Чернышевского.

Замечания Ленина к книге Плеханова о Чернышевском, если отнести их к области эстетики, и в частности к проблеме трагического, обязывают в должной мере оценить самую постановку вопроса о преодолении трагического в жизни. Первым для Чернышевского был вопрос: как служит искусство борьбе за счастье человека? Он заблуждался, когда считал, что трагическое все еще имеет место в жизни людей потому, что они не вооружены достаточными знаниями и общей решимостью в борьбе с причинами, приносящими им страдание. Но он был прав, когда начинал свои размышления о трагическом именно

<sup>62</sup> Г. В. Плеханов. Соч., т. VI, М., Госиздат, стр. 368—370.

<sup>63</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 582.

с вопроса о возможностях его преодоления и роли искусства в этом приближении завтрашнего дня. Потребности жизни составили основу той отправной позиции, с которой Чернышевский повел свою критику эстетики Гегеля. Стоит ли еще раз напоминать, что и само будущее, и пути его построения Чернышевский исторически не мог представить в строго научном, историко-материалистическом плане, и именно там, где взглядам Чернышевского недоставало реалистичности, Плеханов делал свои замечания по поводу утопизма его предположений. В целом же Плеханов всюду стремился подчеркнуть свойственное Чернышевскому внимание к законам действительного положения вещей и в этом смысле постоянно противопоставлял Чернышевского народникам. Надо ли, как призывал Луначарский, идти к Чернышевскому, обходя Плеханова и «протягивать руку» великому шестидесятнику «через голову Плеханова»? Под знаком осуждения «отступничества» Плеханова и сочувствия «революционности» Чернышевского у Луначарского преувеличивались именно те элементы идеализма в представлении Чернышевского о законах общественного развития, которые были успешно преодолены марксизмом.

#### 4

Одностороннее внимание Луначарского к субъективным факторам преодоления трагического не было свойственно только ему. Всякий раз, когда категория «долженствования» отменяла анализ объективных закономерностей развития жизни искусства, в решении проблемы трагического был замечен тот же крен в сторону преувеличения роли «идей», «знания», «воли».

Существенным элементом в марксистской трактовке трагического не может не быть теоретическая разработка вопроса о возникновении трагических коллизий в реальной жизни и путях их преодоления, в этом мы прямые исторические наследники Чернышевского. Плодотворна и необходима постановка вопроса о новом содержании трагического в искусстве советском, и в первую очередь здесь встает задача глубокого изучения закономерностей общественного развития при социализме. Должна быть учтена и новая роль идейного фактора. Проблема трагического в советской литературе разработана мало, но уже и теперь ясно, от каких упрощенных и схематических решений ее необходимо отказаться. В числе других встает и вопрос об исторически верном прочтении классического наследия.

Особая заслуга Чернышевского, по мнению Ю. Борева, состоит в том, что он «подчеркивал наличие не только необходимости, но и случайности в трагическом»<sup>64</sup>. Ю. Борев не заме-

<sup>64</sup> Ю. Борев. О трагическом. М., «Советский писатель», 1961, стр. 236.

чает, что примененная им в этом заключении связь «не только, но и» в отношении Чернышевского как раз неправомерна: особое внимание к случайности трагического у Чернышевского возникло как раз на основе недооценки «необходимого».

Признание случайности трагического вообще лежит в основе многих рассуждений о трагедийном жанре. С этим признанием неразрывно мнение о том, что в советской литературе трагическое связано с исключительной ситуацией. Исследователи не принимают во внимание, что, беря за принципиальную основу теории трагического случайное, они перечеркивают тем самым и проблему типического в трагедийном жанре. О каком же реализме в таком случае можно вести речь?

В роли фактора, ликвидирующего трагическое, нередко выступает возведенное в абсолют знание. По мнению некоторых критиков, уже самое понимание объективного поступательного хода истории исключает трагическое.

Преувеличение и даже абсолютизация «воли» героев также приводит к полной нивелировке трагического. «Упорство, героизм, присутствие духа, мужество, помноженное на силу воли»<sup>65</sup>; воспринимаются именно как рычаг, ликвидирующий трагическую коллизию в самой объективной реальности. Трагедии нет, поскольку действующее в ней лицо ее преодолевает в своем сознании! «Этому герою, даже в самых тяжелых обстоятельствах, несвойственно трагическое мироощущение»<sup>66</sup> — из этой посылки делается вывод об исчезновении и самой проблемы трагического.

Нередко высказывается мысль о переходе трагического в героическое как особом свойстве искусства социалистического реализма. Трагическое рассматривается при этом как «один из частных случаев, как одно из проявлений героического»<sup>67</sup>. Действительно, советская литература, может быть, как никакая другая, богата примерами героической самоотверженности. История революции, гражданской войны и войны Отечественной в ней стала летописью мужества. Герои таких произведений гибнут, побеждая не только врага, но и самую смерть. Однако различать героическое и трагическое в искусстве все же необходимо. Произведение с преобладающим героическим пафосом воспекает победу героя, даже если он отдал во имя победы жизнь. Трагедия же всегда изображает гибель личности, прекрасной и достойной жизни. Трагическая коллизия как таковая может быть предметом изображения и в том, и в другом случае, но точка зрения автора и расставленные им акценты совершенно различны. Говоря об одном ряде произведений, где трагизм усиливает героическую патетику (например, «Мо-

<sup>65</sup> Ю. Борев. О трагическом. М., «Советский писатель», 1961, стр. 278.

<sup>66</sup> Там же, стр. 273.

<sup>67</sup> Там же, стр. 285—287.

лодая гвардия» Фадеева), нельзя распространять эти наблюдения и на весь род трагического в искусстве. Не приводит ли подобная точка зрения к отказу от признания самостоятельного значения трагедийного жанра?

Такие опасения тем более вероятны, что в критической литературе выработано уже много способов «растворения» трагического. Среди них есть и такой: «трагедийные образы в искусстве социалистического реализма не сводятся к своей эстетической доминанте»<sup>68</sup>. Это означает, как видно из контекста, что, например, многогранность трактовки характера Григория Мелехова свидетельствует о принципиальном снижении трагической напряженности сюжета. Но ведь оттого, что характер шолоховского героя многогранен, он не перестает быть истинно трагическим. Вряд ли можно отнести отмеченное качество (многогранность) к отличительным особенностям советской литературы, герои шекспировских трагедий тоже многогранны.

Полнота трагического кажется исследователям принципиально несовместимой с идеей поступательного развития общества, исторического прогресса. С этой точки зрения иногда трактуются и произведения русской классики, и современной литературы. Изображенное Пушкиным в «Медном Всаднике» историческое противоречие в таком истолковании становится не исполненной противоречий картиной действительности, где есть и великий Петр, и трагический Евгений, а иллюстрацией должного, словно бы Пушкин написал свою поэму в поучение тем, кто, подобно Евгению, не смог в силу узости взгляда оторваться от своего личного горя.

Чернышевский иронизировал по поводу диктата абсолютно-го духа в гегелевской философии, когда замечал в ней тенденцию к неумолимому обнаружению торжества абсолютной справедливости в любом несчастье: «...ягненок в басне, льющий воду из одного ручья с волком, также виноват: зачем он шел к ручью, где мог встретиться с волком? А главное, зачем не запасся он такими зубами, чтобы самому съесть волка?»<sup>69</sup>. В трактовке трагического Чернышевский вставал на точку зрения полного признания прав личности: «Трагическое есть страдание или гибель человека — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой гибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила»<sup>70</sup>.

В теории трагического есть и тенденция сведения его к «вечным», общечеловеческим темам. Здесь словно бы и сохраняется гуманистическая забота о гармонической полноте человеческой

<sup>68</sup> Ю. Борев. О трагическом. М., «Советский писатель», 1961, стр. 363.

<sup>69</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти тт., т. II, стр. 30.

<sup>70</sup> Там же.

личности, в данном случае трагически неосуществившейся. Но трагическое сводится здесь к заповедному уголку «неразделенной любви» или к исключительным обстоятельствам «преждевременного ухода из жизни полного силы и молодости существа»<sup>71</sup>. Справедливые упреки в идилличности общего представления о жизни при такой трактовке трагического уже делались. Примеры классики убеждают, что высокая трагедия находила своих героев именно на поле исторических столкновений, в горниле больших человеческих страстей. «Социалистический реализм воодушевлен пафосом бесстрашной, мужественной правды. Именно поэтому он уже дает и еще даст образцы художественного постижения трагических коллизий своего века, более значительных, чем во времена Шекспира, и неизбежных при смене одного всемирно-исторического порядка другим, новым»<sup>72</sup>, — такой подход к проблеме трагического кажется в гораздо большей мере отвечающим социальной природе искусства.

В сущность трагедийной коллизии нельзя проникнуть, не учитывая «самосильности» трагического в утверждении им благородных человеческих идеалов. Искомое оптимистическое лежит здесь в самой основе глубоко понятых и тем самым «просветленных» трагических коллизий. Попытки переключения трагического в иные сферы есть не что иное, как подмена проблемы. Да и кто будет всерьез утверждать, что мужество воспитывается уклонением от чтения тех страниц истории, которые не назовешь никаким другим словом, кроме слова «трагические»? Оптимизм марксиста основан прежде всего на подлинном знании подлинных объективных законов. Именно тогда литература и выполняет завещанную Чернышевским функцию «учебника жизни».

---

<sup>71</sup> С. М. Петров. Реализм. М., «Просвещение», 1964, стр. 441.

<sup>72</sup> Е. И. Покусаев. Актуальное теоретическое исследование. — «Русская литература», 1963, № 2, стр. 245.

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О «ВЛАСТИ ПУБЛИКИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ДЕЛАХ»

В работах последних лет объектом внимания литературоведов и критиков вновь становятся законы читательского восприятия, читательской психологии, проблема взаимоотношений литераторов и «потребителей» искусства<sup>1</sup>. С неизбежностью встает вопрос и об изучении истории русского читателя XIX века. Обращение в этой связи к Чернышевскому оправдано тем, что понятие «читающая публика» постоянно входило в число наиболее употребительных и важных социально-эстетических категорий автора «Очерков гоголевского периода русской литературы». Мысль о читателе, властно вторгающемся в ход литературного развития, неотступно преследовала Чернышевского с первых критических опытов. И именно эта сторона его публицистического наследия менее всего прояснена.

Все, что писалось Чернышевским в 50—60-е гг. (и прежде всего «Очерки гоголевского периода»), отмечено заботой об отечественной публике, о ее правах на литературу, о ее обязанностях перед искусством слова. Конечно, главное в «Очерках» — «целый комплекс проблем литературной критики» в их нераздельности с процессом развития самой литературы<sup>2</sup>. Несомненно, «Очерки» прежде всего «обращены к современному литературному движению — одновременно и к художественному творчеству, и к критике»<sup>3</sup>. Но наше представление об этом

<sup>1</sup> См., напр.: В. Ф. Асмус. Чтение как труд и творчество. — «Вопросы литературы», 1961, № 2; М. Б. Храпченко. Литературный стиль и читатель. — В сб.: Проблемы современной филологии. М., «Наука», 1965; Ст. Рассадин. Книга про читателя. М., «Искусство», 1965; Н. Фортунатов. Творческий процесс и читательское восприятие — В сб.: Содружество наук и тайны творчества. М., «Искусство», 1968 и др.

<sup>2</sup> М. Г. Зельдович. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968, стр. 51.

<sup>3</sup> М. Г. Зельдович. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968, стр. 42.

программном цикле будет неполным, если обойдем мы еще один существенный, отнюдь не периферийный для автора вопрос, если в связь с литературой и литературной критикой не поставим, как это делает Чернышевский, еще одну силу, без которой само существование словесности становится проблематичным.

Читающая публика на страницах «Очерков» то прямо или косвенно поминается, то становится предметом специальных пространственных размышлений автора, то вдруг по разным поводам подает свой голос (то и дело Чернышевский воспроизводит суждения воображаемого читателя — оппонента или союзника — III, 9, 110, 155—156, 269, 298 и т. д.)<sup>4</sup>. Еще чаще незримое присутствие публики угадывается за строками, посвященными «умственному движению общества» (III, 9) или «писателям, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души» (III, 21), и т. п.

Разумеется, у каждого из писавших об авторе «Очерков» непременно шла речь и о взглядах Чернышевского на общественное назначение литературы, на связь ее с актуальными вопросами эпохи<sup>5</sup>. Имея в виду «Очерки гоголевского периода», А. В. Луначарский заключал: «Всюду с чрезвычайной яркостью в этой книге сказывается это основное положение Чернышевского: для нас особо велик тот писатель, у которого есть своя социальная позиция и который пользуется своим талантом для определенного нравственного воздействия на общество»<sup>6</sup>. Не раз уже отмечалось, что Чернышевский неумоимо внушал уважение к словесному искусству, апеллировал непосредственно к публике, призывая «осознать свои гражданские и читательские права и предъявить свои требования к литературе»<sup>7</sup>. Обращалось внимание на то, что учение Чернышевского о прекрасном отрицало «анархию эстетических вкусов» и создателя «Что делать?» сильно интересовало само воздействие художественного слова на читателя<sup>8</sup>.

В такого рода справедливых утверждениях нет недостатка. Остается неясным, отчего само понятие «читающая публика» в исследованиях о Чернышевском не учитывается в той же сте-

<sup>4</sup> Здесь и далее в скобках воспроизводятся соответствующие том и страница Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского в 16 тт. (М., Гослитиздат, 1939—1953).

<sup>5</sup> См., напр.: А. Н. Пыпин. Н. А. Некрасов. СПб, 1905, стр. 23; В. Буш. Заметки об «Очерках гоголевского периода русской литературы». — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928 и др.

<sup>6</sup> А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 тт., т. I, М., «Художественная литература», 1963, стр. 241.

<sup>7</sup> И. Лежнев. Избранные статьи. М., Гослитиздат, 1960, стр. 265—266.

<sup>8</sup> А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. Изд. 2-е. М., «Художественная литература», 1968, стр. 224—225, 253.

пени, что и «литература», «литературная критика», «журналы».

Между тем для Чернышевского общественно-литературный процесс складывается из сложного и подвижного взаимодействия многих составляющих, не исключая, но, напротив, везде предполагая и читателя<sup>9</sup>. «С течением времени все изменяется, изменяется и положение писателей в отношении к понятиям публики и критики», — замечает Чернышевский в статье «Об искренности в критике» (II, 248). «Критическая статья пишется для публики, она должна иметь в виду, что различные годы одного и того же журнала имеют постоянно изменяющийся круг читателей», — добавляет он в «Очерках гоголевского периода» (III, 271). Чернышевский соединяет задачи своего обзора с проблемой читателя, с «историей распространения справедливых литературных идей в массе публики» (III, 134).

Читающая публика является силой, способной, условно говоря, перерабатывать энергию поэтическую и публицистическую в социально-политическую, общественную энергию. В работе «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» Чернышевский пишет, что литературно-критические статьи немецкого просветителя обладали «электрической силой, которая приводила в движение умы читателей и волновала литературный мир» (IV, 133).

Не одно только прямое воздействие жизни на литературу, но и обратное — литературы на жизнь — учитывалось Чернышевским. Ему принадлежит сложная формула, схватывающая взаимообусловленность словесности и действительности: «...состоянием литературы определяется состояние общества, от которого всегда она зависит» (III, 20). Именно читающая публика сообщает литературному делу ту положительную первооснову, ту возможность для функционирования, ту реальную жизнестойкость, без которых любой шедевр искусства мертв. «Виновицею жалкого состояния литературы, — замечает Чернышевский, — всегда бывает публика; если публика многочисленна и проникнута живыми стремлениями, нет в мире силы, которая могла бы остановить развитие литературы, нет затруднений, которые не были бы побеждены требованиями общества» (IV, 63). Читающая публика может и должна стать подлинной общественно-литературной силой, ее власть над словесностью, ее и отрицательное и позитивное влияние на искусство бесспорны — таково было убеждение Чернышевского.

Вот почему характер отношений с читателем представлялся публицисту «Современника» важнейшим критерием оценки

<sup>9</sup> Исторически неоднозначные при всей их внутренней общности понятия «читатель» и «читающая публика» (публика как «масса людей развитых, сильно сочувствующих литературе, которая выражает их твердые убеждения», — так со ссылкой на Белинского писал Чернышевский — III, 250) выступают здесь и далее на правах синонимов.

литературно-общественной деятельности писателей, критиков, журнальных коллективов. Здесь сказалась и традиция Белинского, целый период в истории русской литературы нарекшего именем Карамзина, именем «литератора, а не поэта», человека, который своей журнальной и писательской работой «умел заохотить русскую публику к чтению русских книг», «создал русскую публику, которой до него не было»<sup>10</sup>.

Журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф» был, по утверждению Чернышевского, «единственным, имевшим серьезное влияние на публику» (III, 150). Нет аттестации журнальному органу уничижительнее, чем признание, что тот, подобно «Вестнику Европы» М. Т. Каченовского, «имел самую жалкую репутацию в публике и едва ли имел читателей на белом свете» (III, 151). Признавая незначительность влияния на публику критики Пушкина и его сподвижников и находя причины этому в их желании «довольствоваться спокойным сочувствием немногих читателей, которых считали избранными» (III, 133—134), Чернышевский вместе с тем не раз будет писать об особой заслуге Пушкина в «распространении» «круга русских читателей» (III, 48), о том, что Пушкин был «первым из всех, в каком бы то ни было смысле заговорившим нашей публике о Гоголе» (III, 76). В статье «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения» еще определеннее прозвучит мысль о великой пользе, которую принес литературе и читателю Пушкин: «он научил публику любить и уважать литературу, возбудил сильный интерес к ней в обществе, научил литератора писать о том, что занимательно и полезно для русских читателей» (III, 317).

К заслугам «Отечественных записок» 40-х гг. «принадлежит и честь прочного утверждения в публике справедливых понятий о Гоголе» (III, 76). Смысл и назначение трудов Белинского Чернышевский видит в том, «чтобы объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием» (III, 226). Особая миссия круга людей, близких к Белинскому, заключалась в распространении «новых и здравых идей в русской публике» (III, 223).

Степень влияния на читателя была для Чернышевского критерием оценки и собственных работ. Позднее в «Воспоминаниях о Некрасове», возвращаясь к 50—60-м гг., он прямо назовет себя «человеком, пользующимся расположением публики» (I, 721).

Однако невнимание читателя-современника к тем или иным литераторам и журналистам далеко не всегда означало несо-

<sup>10</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, М., АН СССР, 1955, стр. 139.

стоятельность творческих усилий последних. Чернышевский предлагал различать внутренние «причины неуспеха» литературных деятелей, которые часто зависели от уровня интеллектуального, эстетического, гражданского развития российского читателя.

Белинский в свое время ярче всего объяснил это на примере с Державиным. Не только писатели способны оказывать «воспитательное» давление на своих сограждан, пробуждая в них охоту к серьезному чтению, но и сам читатель спросом своим заметно воздействует на литературный труд. И это одна из причин, почему «могучий гений Державина явился слишком не во время»<sup>11</sup>; «...общество не нуждалось в стихах Державина и не понимало их, а имя его знало, дивясь, что за стихи дают и золотые табакерки, и чины, и места, делают вельможею бедного и незнатного дворянина»<sup>12</sup>.

Развивая этот важный историко-литературный принцип Белинского, Чернышевский писал, например, о горькой журналистской участи Н. И. Надеждина и объяснял, «почему критика Надеждина не имела, в свое время, особенного влияния на публику» (III, 160). Главная причина в том, что «публика еще не была настолько развита, чтобы сопутствовать ей» (III, 160). И Чернышевский заключает: «Надеждин явился слишком рано для публики и литературы» (III, 161). Сами пределы развития и поэзии и литературной критики в каждый данный исторический момент не в последнюю очередь определяются «границами потребностей и требований нашей публики» (III, 178)<sup>13</sup>.

Позднейшие исследователи обращали внимание и на разность в отношении Белинского и Чернышевского к читателю. Если Белинскому, утверждает Б. И. Бурсов, «приходилось разъяснять эстетически непросвещенному читателю, *какое произведение художественно, чем художественно и почему художественно*», и затем «через детальный анализ произведения в целом выходить «к постановке больших общественных проблем», то «критика Чернышевского уже проникнута доверием к читателю, который в состоянии сам охватить все произведение в целом». А отсюда и смена акцентов, «перенесение главного внимания с детального анализа произведения в целом...

<sup>11</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, М., АН СССР, 1955, стр. 266.

<sup>12</sup> Там же, т. VI, стр. 651—652.

<sup>13</sup> Почти в одно время с Чернышевским о влиянии читательского спроса на литературу писал П. П. Пекарский в статье «Любитель литературы екатерининского времени» («Отечественные записки», 1854, апрель, отд. I, стр. 513): «...не столько литература имеет влияние на общество, сколько само общество на нее. И поэтому едва ли можно считать основательными жалобы, которые слышатся иногда, на бедность литературы. Богатство и бедность ее не зависят от большей или меньшей производительности авторов, но от действительности, насущной потребности в том».

на разработку общественных проблем»<sup>14</sup>. Подобное размежевание двух критиков не до конца согласуется с конкретными фактами литературно-общественного движения России 60-х годов. Так или иначе усвоенное одним поколением вовсе не предполагает с обязательностью прочности знаний, представлений, убеждений и у последующих и у тех же самых, но порядком «повзрослевших» читателей. Не случайно главный пафос «Очерков» Чернышевского в нападении своим современникам об уроках Белинского. Кроме того, в пору Чернышевского на Руси все отчетливее стал обозначаться совершенно новый читатель из демократических низов. О нем можно было рассуждать и в снисходительно-высокомерных тонах как о темной, неразвитой меньшей братии, о нем можно было писать и сочувственно<sup>15</sup>, но, во всяком случае, с ним уже нельзя было не считаться, между тем как этот новейший читатель был еще очень мало искушен в литературе, в поэзии, в эстетике.

Через 10 лет после «Очерков» Чернышевского Писареву в статье «Сердитое бессилие» придется написать: «Подумаешь, что теперь уже незачем твердить зады и что теперь можно уже смело строить дальше на том прочном фундаменте, который заложен Белинским. Подумаешь — и жестоко ошибешься!.. Чему же научилась масса публики у Белинского, когда она до сих пор не умеет отличать в литературных произведениях жизненную правду от риторической лжи?»<sup>16</sup>.

Чернышевского действительно (и это общепризнано) эстетика преимущественно интересовала в ее общественном, политическом, социологическом назначениях. Но происходило это отнюдь не из-за исключительной, чрезмерной веры критика в реального массового читателя, не нуждающегося более в «детальном анализе произведения в целом». Причины — в новых

---

<sup>14</sup> Б. Бурсов. Мастерство Чернышевского-критика. Л., «Советский писатель», 1956, стр. 159.

<sup>15</sup> См. полемику вокруг «Письма к издателю» В. И. Даля («Русская беседа», 1856, к. 3, отд. «Смесь», стр. 1—16): Е. Карнович. Нужно ли распространять грамотность в русском народе? («Современник», 1857, кн. 10, стр. 123—138); В. Даль. О грамотности («Санкт-Петербургские ведомости», 1857, № 245); Н. Чернышевский. Современное обозрение («Современник», 1857, кн. 12—IV, 872—873); А. Никитенко. Заметки на заметку В. И. Даля о грамотности («Санкт-Петербургские ведомости», 1857, № 270); выписки из письма по поводу статей В. И. Даля («Северная пчела», 1857, № 278) и др.

«Журналы и газеты пишутся у нас непонятным для простонародья языком, — сообщали «Московские ведомости» (Н. Извольский. Замечания о чтении для простого народа — 1857, № 103), — они недоступны ему и по литературной своей форме и по цене, недоступны по всему; они даже бесполезны, чтоб не сказать вредны для чтения простого народа: неразвитые понятия этого класса людей только хуже опутываются и зарываются чтением, предназначенным для людей более образованных».

<sup>16</sup> Д. И. Писарев. Соч. в 4-х тт., т. III, М., Гослитиздат, 1956, стр. 219.

акцентах, в неотложных требованиях дня, минуты общественной жизни.

Начиная с Белинского, русский читатель стал не только непосредственным адресатом критических выступлений, но и предметом специальных интересов многих авторов. «Вопрос о публике решает вопрос о литературе, и наоборот», — писал Белинский<sup>17</sup>. Сам он сближал принципы периодизации истории русской литературы с тенденциями роста читательского самосознания и дал ряд выразительных характеристик негативным свойствам читающей публики, воссоздал своеобразную читательскую типологию («верхогляды» и «староверы», «люди движения» и «дети известной доктрины»).

Чернышевский тоже подходит к читателю дифференцированно, толкуя о «массе» и о «лучшей» (II, 254; III, 234), «образованной части публики» (III, 190), подверженной влиянию критики гоголевского периода. В «Очерках» выделяются «низкие слои публики» (при этом речь идет не о полуграмотной массе населения, но о людях, «упивающихся переводами дюмазовских романов» — III, 83) и «неприготовленная публика», которой трудно было угадать смысл статей Надеждина в связи с полемикой 30-х гг. (III, 161). Здесь же появляются и «насмешливо улыбающаяся публика» (III, 140), и «записные поклонники», готовые петь дифирамбы «литературным мыльным пузырям» (III, 140). Чуть раньше встречаемся с «читателями, не слишком требовательными относительно художественных достоинств» (III, 14), и «большинством публики», литературные мнения которого «еще шатки» и которым барон Брамбеус решил «вертеть», «как ему вздумается» (III, 53). Вспомним, наконец, иронический комментарий Чернышевского, связанный с «проницательным читателем», непосредственно включенным в образно-публицистический строй романа «Что делать?».

Но в «Очерках» Чернышевского более всего интересует положительный потенциал, благие «готовности» читающей публики. И он искренне приветствует самостоятельность читателя в литературных вопросах, пишет о подготовленном читателе, который «судит и рядит», не дожидаясь мнения журналов, и часто посмеивается над ними» (III, 496). Холодный прием, оказанный одам Горация в переводах А. А. Фета, Чернышевский относит не к одной только «неприготовленности большинства нашей публики к наслаждению произведениями классической поэзии», но к «особенным причинам»: русские читатели 40-х гг. требуют «от лирической поэзии огня страсти или глубины чувства», а не воспевания «умеренности и аккуратности» «и в любви, и в гражданских доблестях, и в патриотизме» (IV, 509). Сатирик Ювенал, «без всякого сомнения, будет у нас

<sup>17</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 431.

чрезвычайно популярен», — добавляет Чернышевский (IV, 508).

На одном из самых сложных и драматичных рубежей русской истории, в 1862 г., Чернышевский выражает надежду, что русской читающей публике «начинает надоедать бесплодность хлопот нашей литературы» и что — вероятнее всего — «увеличившаяся требовательность публики даст литературе возможность приобрести полезное влияние в жизни» (X, 455).

В 60-е годы отчетливо обозначается процесс демократизации и еще большего расслоения публики<sup>18</sup>. В читательскую среду явственно проникает дух оппозиции: «В России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе или читают только французские пустячки»<sup>19</sup>.

Народившийся в 60-е гг. молодой, демократический, прежде всего разночинный читатель с живостью и резкостью непосредственных реакций, с его верой в истину, «легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы»<sup>20</sup>, заметно отличался от российского читателя прежних лет. «Целая полоса старой литературы, — писал специально исследовавший русского читателя 60-х гг. Н. А. Котляревский, — укрылась от взоров молодых людей, которым мечтательность, томление, религиозное затишье души, всякая пассивность и колебание в решении вопросов жизни и духа казались смешными пережитками или просто грехом перед собой и ближними. Все то литературное движение, которое связано с именем Жуковского, для молодых людей новой формации не существовало...»<sup>21</sup>.

Чернышевский, настойчиво взывая к читательской активности, не в последнюю очередь имел в виду и расслабляющую, демобилизующую проповедь своих литературных антагонистов, призывающих в пору тревожных, напряженных ожиданий, надежд на начало перемен «к созерцанию», к «претензии создавать без отчета». Когда литература, по утверждению

---

<sup>18</sup> О разных типах «потребителей словесности» в российской провинции начала 60-х гг. рассказывалось, в частности, в «Московских ведомостях»: один читатель «понимает, ценит и любит просвещение», он ищет в книге, статье «содержание, которое сближает его с природой, человеком, обществом, которое уясняет темные вопросы жизни и т. п.»; другой «читатель с претензией на просвещение» довольствуется «крохами матерьяльцев», «обрывочками мыслей»; третий — книголютедь лениво-бездумный, господствующая в нем сила — «одно праздное, пустое, суетное любопытство», «притупленный вкус» (Библиотеки для чтения в провинции. — «Московские ведомости», 1857, № 133).

<sup>19</sup> А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 тт., т. VII, М., Изд. АН СССР, 1956, стр. 220.

<sup>20</sup> И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. в 28 тт., т. VIII, М.—Л., «Наука», 1964, стр. 173.

<sup>21</sup> Нестор Котляревский. Канун освобождения. 1855—1861 (Глава «Изыщная словесность 1855—1861 годов и молодой читатель»). Петроград, 1916, стр. 476.

П. В. Анненкова, посвящает себя «преимущественно прямо-му служению обществу как должности», то это — самоубийство для искусства, это «противно самому существу дела»<sup>22</sup>. Когда критика, по словам Ап. Григорьева, «в художественных произведениях постоянно ищет преднамеренных теоретических целей, вне их лежащих», то это — «варварский взгляд, который ценит значение живых созданий вечного искусства постольку, поскольку они служат той или другой, поставленной теорией, цели»<sup>23</sup>.

Чернышевскому же ненавистна созерцательность, отрешенность от забот дня, всеядность и бездеятельность и литературы, и критики, и публики. Желание, требование читателя «должно быть выражаемо сильно, неотступно» (III, 305). Мысль эта заостряется до предела: читателю «нужно только выразить твердую, непреклонную волю, чтобы устранить всякий недостаток» (III, 305). И здесь не просто «обманное» эзопово обозначение, содержащее намек на другие более «ясные и определенные термины», вроде «политических взглядов» и т. п. Не проявляем ли мы излишней поспешности, всякий раз давая понять, что Чернышевского «томила, — как писал в свое время И. Лежнев, — эта необходимость держаться узких рамок литературных вопросов. Он тяготился своей скованностью и рвался на простор политической жизни»<sup>24</sup>. Литература была важна для Чернышевского как средство служения общественному делу, и он не столько «рвался» из тесных и душных пределов эстетики, сколько расширял социальный диапазон искусства, открывал в нем новые политические, общественно значимые стороны.

«Очерки гоголевского периода» завершаются прямой «апофеозой» отечественному читателю, без «нравственной поддержки» которого (не говоря уже о «материальной») не может идти речь о самом существовании литературы. «Власть публики в литературных делах, — пишет Чернышевский, — всесильна. Чего хочет публика, тем и бывает литература» (III, 305). В подцензурном, журнальном варианте статьи вслед за этими рассуждениями признавалось, что «едва ли какая-нибудь публика так здраво и верно судит о достоинстве литературных произведений, как русская» (III, 306).

В заключении «Очерков» некоторые исследователи то видят иносказание и чуть ли не замаскированный призыв к революционному натиску, то воспринимают эти страницы чересчур буквально, как признание Чернышевским фактической, реаль-

<sup>22</sup> П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки (1849—1868 гг.). Отдел второй. СПб, 1879, стр. 11—12.

<sup>23</sup> Ап. Григорьев. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства. В кн.: Аполлон Григорьев. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1967, стр. 116.

<sup>24</sup> И. Лежнев. Избранные статьи, стр. 246.

но существующей положительной силы современной ему публики, силы читательства в литературных делах.

Трудно согласиться с утверждением автора, считающего, что в финале «Очерков» «вместо прямого разговора об усиливающих идейно-политических интересах русского общества и обязанности литературы откликнуться на них, идет речь о читающей публике и ее воздействии на литературу»<sup>25</sup>. Рассуждения Чернышевского о читателе нельзя считать «окольным путем» выражения других мыслей, они вовсе не носят здесь вынужденного («вместо прямого разговора») характера, но естественно завершают весь цикл очерков, в котором читающая публика присутствовала на правах активного соучастника литературного процесса.

Если же и говорить об эзоповских средствах применительно к окончанию «статьи девятой и последней», то распространять их, видимо, стоит на другое. Несколько раз повторяющийся тезис о силе публики — во многом аванс, лишь частично оправдываемый российским читателем, во многом — настоятельное пожелание, мечта. И чем хвалебнее отзывы Чернышевского о читательской силе, тем чаще за ними угадывается грустно-тревожное чувство критика-максималиста, сознающего дистанцию между идеальными представлениями о публике и современным ее состоянием: нравственная поддержка, «к сожалению, до сих пор еще очень слаба, чтобы не сказать: совершенно ничтожна» (III, 305); «недостает нашей публике только одного: сознания своего влияния на литературу. Потому литература зависит от каприза случайностей» (III, 306, 828).

И лишь в исключенных из журнального варианта частях содержатся развернутые негативные аттестации русской публики: «Скромность и молчаливость, конечно, хорошие качества, но во всем вредно излишество, вредна и в литературных делах излишняя скромность со стороны публики» (III, 305). Чуть дальше: «Не торопитесь осуждать русского писателя за недостатки его произведений, читатель: осуждайте за них себя. Вы виновны в жалком положении русской литературы: от вас она ждет и все еще не может дожидаться нравственной поддержки» (III, 309).

Можно с известной долей вероятности предположить, что исключение этих отрывков не столько уступка цензуре, сколько тактический шаг, вызванный нежеланием столь желчно, с таким саркастическим пафосом сосредоточиваться на слабых, отрицательных свойствах российского читателя в преддверии ожидавшихся перемен в стране<sup>26</sup>. Вместо этого в финале

<sup>25</sup> М. Г. Зельдович. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968, стр. 177.

<sup>26</sup> Беспощадные, казнящие, сражающие наповал интонации в обращении к читателю — открыто прозвучат со страниц «Современника» в на-

«Очерков» едва ли не патетическое утверждение мысли о читающей публике как решающей силе в литературных делах, читающей публике, взятой, вопреки ее пестрой разнородности, как единое нерасчлененное целое.

Прямым продолжением этих тезисов была борьба за читателя, которую в трудных условиях вел Чернышевский на страницах «Современника»<sup>27</sup>.

Дальнейшее изучение взглядов Чернышевского на «потребителя» словесности уточнит и дополнит наши представления о сложных связях русской читающей публики с литературным процессом, о различных сторонах философско-эстетических воззрений Чернышевского (в частности, могут быть внесены некоторые коррективы в выводы современной науки о его антропологических построениях), о мере влияния читателя на идейно-художественную структуру «Что делать?» и других беллетристических произведений. Проследить, как видоизменялись, какие метаморфозы претерпевали отношения Чернышевского к читающей публике России на протяжении 50—60-х гг., — поучительная тема, до сих пор еще целостно не осуществленная.

Признание Чернышевским огромной «власти публики в литературных делах», его энергичные и непрестанные напоминания о взаимной ответственности литераторов и читателей способствовали постепенному, долговому и очень трудному отмиранию «старинного, — как скажет В. И. Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература», — полуобломовского, полуторгашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель почитывает»<sup>28</sup>.

---

чале 1862 г. в очерке М. Е. Салтыкова-Щедрина «К читателю» (из цикла «Сатиры в прозе»): сатирик адресуется здесь к «благосклонным читателям», к «любезным читателям», к «любезным сынам Глупова», к «милому Глупову», наконец, многократно — к «глуповцам». «Ты берешь книгу в руки, чтоб развлечься, чтоб отогнать от себя жизненный кошмар, который так аккуратно давит тебя, а тебя потчуют новыми кошмарами, тебя приглашают о чем-то побеспокоиться, над чем-то задуматься, а пожалуй и помучиться... Итак, будем смеяться», — язвительно заканчивает Салтыков (Собр. соч. в 20 тт., т. III, М., «Художественная литература», 1965, стр. 290).

<sup>27</sup> Подробнее о первых опытах социологических исследований читательской публики, об инициативе Чернышевского в изучении российского читателя см. в кн.: Б. В. Банк. Изучение читателя в России (XIX в.). М., «Книга», 1969, стр. 7—27.

<sup>28</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 102.

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ГЕРЦЕН В 1859 ГОДУ (К ИСТОРИИ ПОЛЕМИКИ)

В научной литературе принято связывать первые печатные выступления Чернышевского против издателя «Колокола» со статьей «Very dangerous!!!» Между тем есть основание полагать, что открытые столкновения, последовавшие за статьей Герцена, отразили уже более позднюю стадию полемики, начатой редактором «Современника» еще до поездки к Герцену в Лондон.

Этот важный в биографическом отношении факт устанавливается, ввиду отсутствия каких-либо прямых документов, в результате анализа двух видов известных первоисточников: автопризнания Чернышевского, сделанного в примечании к письму Добролюбова от 1 августа 1856 года, и статей Чернышевского первой половины 1859 года.

### 1

Подготавливая к печати в конце 80-х годов материалы для биографии Добролюбова, Чернышевский обращал внимание будущих читателей книги на следующее место из письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову. «Я, наконец, — сообщал своему бывшему школьному товарищу Добролюбов, — доставил ему <Чернышевскому> ту книгу, какой мы долго ждали, и он сказал мне потом, что, прочитав эту книгу и еще второй номер журнала, издаваемого тем же, он приходит к мысли, что действительно автор человек весьма замечательный, — независимо от того, что мы его любим за идеи его»<sup>1</sup>. В разъяснение этих строк Чернышевский писал: «Книга, о которой говорит Николай Александрович, была одна из написанных Герценом за границей, и кажется именно «Du Développement des idées

<sup>1</sup> «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах». Т. I, М., Изд. К. Т. Солдатенкова, 1890, стр. 319.

revolutionnaires» <«О развитии революционных идей»>; второй номер журнала — это был второй номер «Колокола». Литератор, о котором говорит Николай Александрович, уже имел тогда образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена, и, сохраняя уважение к нему, уже не интересовался его новыми произведениями. Видя, что Николай Александрович огорчается холодными отзывами о них, этот литератор решил от разъяснения причин своего недовольства некоторыми понятиями Герцена к похвалам тому, что находит у него хорошим, и, между прочим, говорил о том, что высоко ценит его блестящий литературный талант, что собственно по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену. Это утешало Николая Александровича»<sup>2</sup>.

Данное разъяснение существенно дополняет и уточняет сообщение Добролюбова и неоспоримо свидетельствует о критическом отношении Чернышевского к «некоторым понятиям» издателя «Полярной звезды» и «Колокола» уже в 1856—1857 годах.

В последнее время в исследовательской литературе была сделана попытка поставить под сомнение это заявление Чернышевского. И. В. Порох, приведя положительные высказывания Чернышевского о Герцене из статей 1856 года («Очерков гоголевского периода русской литературы», рецензии на сборник стихотворений Н. П. Огарева), утверждает, что Чернышевский «явно противоречит сам себе и свидетельству Добролюбова». По мнению исследователя, «скорее всего можно предположить, что на содержание примечания повлияли конфликт редакторов «Современника» с руководителями «Колокола», имевший место в 1859 году, и личная неудовлетворенность Чернышевского от встречи с Герценом в Лондоне. Позабыв «за давностью лет» эволюцию во времени некоторых моментов взаимоотношений с Герценом, Чернышевский ошибочно сместил характеристику своих настроений, относящихся к 1859 году, на 1856 год». О неточности Чернышевского свидетельствует и фактическая ошибка, допущенная в примечании к добролюбовскому письму: «второй номер журнала» назван «Колоколом», тогда как «Колокол» стал выходить лишь с июля 1857 года, и речь шла, по всей вероятности, о втором выпуске «Полярной звезды»<sup>3</sup>.

Действительно, Чернышевский ошибся в названии журнала, но эта ошибка не меняет смысла примечания в целом. Что же касается утверждения, будто Чернышевский «по забывчивости» перенес свои впечатления от встречи с Герценом в июне 1859 года на 1856-й, то оно должно быть отклонено как необос-

<sup>2</sup> «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», стр. 319.

<sup>3</sup> И. В. Порох. Герцен и Чернышевский. Саратов, обл. кн. изд-во, 1963, стр. 93, 94.

нованное. Во-первых, известно, сколь предельно точен и аккуратен Чернышевский в своих позднейших воспоминаниях. Описывал ли он свои первые встречи с Некрасовым и Достоевским, эпизоды из взаимоотношений Добролюбова и Тургенева или разъяснял подробности «костомаровской истории», отмечая мельчайшие детали, — он всегда был в высшей степени требователен к себе как мемуаристу. В этом отношении его воспоминания ни в ком еще не вызывали сколько-нибудь серьезного недоверия. Он мог еще, как это имело место в рассматриваемом случае, ошибиться в дате или названии журнала Герцена, но не в оценке событий, не в характеристике своих отношений к современникам. Во-вторых, слишком ответственным было примечание к письму Добролюбова, чтобы могло произойти предполагаемое И. В. Порохом «смещение характеристик». Чернышевский нашел нужным специально прокомментировать цитированный выше отрывок из письма, чтобы показать, что его уважение к литературному дарованию Герцена и признание за ним исторических заслуг (и это действительно было высказано им печатно в 1856 году) отнюдь не мешали взглянуть критически на «некоторые понятия» Герцена. Возможно, в заявлении Чернышевского, будто с 1856 года он «не интересовался новыми произведениями Герцена», есть известная доля преувеличения, но Чернышевский нигде не противоречит ни себе, ни Добролюбову; он лишь существенно дополняет добролюбовское свидетельство, объясняет, уточняет, комментирует его, прямо указывая на сложность своих отношений к Герцену еще до его статьи «Very dangerous!!!» и встречи с ним в 1859 году.

## 2

Какие именно стороны воззрений Герцена не удовлетворяли Чернышевского? Ответ на этот вопрос — тема специально исследования. Анализируя один из первоисточников второй группы, мы коснемся его лишь в той мере, в какой это необходимо для установления полемики с Герценом в начале 1859 года как факта биографии Чернышевского.

Речь пойдет о статье «Г. Чичерин как публицист». Утвердилось мнение, что редактор «Современника» оказал Герцену своим выступлением существенную поддержку в его конфликте с Чичериным. Анализ источника позволяет внести важные коррективы в сложившиеся представления о назначении статьи. Что статья вызвана герцено-чичеринским конфликтом и только в этом плане может быть вполне выяснено ее содержание, подтверждается прежде всего временем опубликования. Она напечатана в майской книжке «Современника» и представляет собою отзыв на монографию Чичерина «Очерки Англии и Франции», вышедшую годом раньше в Москве (цензурное разрешение — 22 апреля 1858 года). Столь бросающееся в глаза «опоздание» с рецензированием книги, тем более что, по

признанию Чернышевского, «не стоило бы труда разбирать ее» (V, 616)<sup>4</sup>, объясняется следующим: редактор «Современника» нашел нужным выступить лишь после того, как полемика автора «Очерков» с Герценом близилась к завершению, стороны высказались, и издатель «Колокола» уже обнародовал основные возражения своему оппоненту.

Каковы эти возражения и в чем именно они не устраивали Чернышевского?

Полемизуя с Чичериным, Герцен не принял его «точки зрения гуневверментального доктринаризма», или «регламентации сверху», «насильственного навязывания властью». Цель наша, разъяснял он Чичерину, состояла не в том, чтобы быть правительственным авторитетом или государственными людьми, не в беспредельном доверии императору и его правительству, противоречивое отношение «Колокола» к которому, отмеченное Чичериным, всегда было следствием противоречивости действий самого правительства и царя. «Мы хотели быть протестом России, ее криком освобождения и криком боли, мы хотели быть обличителями злодеев, останавливающих успех, грабящих народ, — мы их тащили на лобное место, мы их делали смешными, мы хотели быть не только мезтью русского человека, но его иронией — не больше»<sup>5</sup>. Таким образом, упреки в желании революции — основные упреки Чичерина — Герцен отвел как самые несправедливые, и он еще раз печатно заявил о преимущественно обличительном характере «Колокола».

Особенно глубоко задела Герцена личные выпады Чичерина, упрекнувшего его в несдержанности характера, в пылкой страстности, переходящей в «эффектное безделье» и приносящей «вред делу», так как в России «страстная политическая пропаганда вреднее, нежели где-либо»<sup>6</sup>. «Будьте строги, жестоки, несправедливы, — писал Герцен в ответ, — но об одном я прошу: будемте на английский манер говорить о деле, не прибавляя личностей»<sup>7</sup>. В письме к М. К. Рейхель от 12—17 марта (28 февраля — 5 марта) 1859 года Герцен признался, что его «раздосадовали не возражения, а наглый тон» «Обвинительного акта», и потому «с самим Ч<ичериным>» он сойтись не сможет (XXVI, 224). Примерно о том же писал Герцен в «Былом и думах»: «Сухо-оскорбительный, дерзко-глад-

<sup>4</sup> Цитирование из произведений Чернышевского дается со ссылкой на том и страницу издания: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., Гослитиздат, 1939—1953.

<sup>5</sup> А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 тт., т. XIII, М., Изд. АН СССР, 1957, стр. 405. Все последующие ссылки на произведения Герцена даются в тексте по этому изданию с указанием тома и страницы.

<sup>6</sup> «Колокол», л. 29, 1858, 1 декабря, стр. 238, 239 (Факсимильное издание).

<sup>7</sup> Там же, стр. 236.

кий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом <...>» (IX, 249).

Эти признания весьма показательны. И хотя, разумеется, в основе полемики лежали причины, коренящиеся в особенностях русского общественного движения, и было бы ошибкою сводить ее к личным распрям, все же нельзя не отметить, что эти последние наложили свою характерную печать на ход полемики в целом.

В неизменности политических взглядов издателя «Колокола» убеждали и другие публикуемые здесь материалы, так или иначе явившиеся ответом Чичерину.

Так, в статье Н. П. Огарева «Московский комитет» русскому правительству предлагалось энергичнее, решительнее принять один из вариантов освобождения крестьян за выкуп, иначе, предупреждал редактор «Колокола», будет поздно, народ выйдет из терпения, «и конечно не нас, а разве комитеты и дворянство можно обвинять в вызове кровавых мер для народного освобождения»<sup>8</sup>. В следующем номере редакторы поместили статью В. А. Панаева «Автору «Обвинительного акта» г. Ч.», в которой также утверждалось, что «Колокол» не будет причиной пролития хотя единой капли крови». «Это вы! вы! — обращался В. А. Панаев к правительству. — Единственно вы можете быть причиной»<sup>9</sup>.

Точку зрения, близкую к такого рода критике Чичерина, изложил Кавелин в письме к Чичерину от 8 января 1859 года, подписанном еще семью видными писателями и общественными деятелями, в том числе И. С. Тургеневым<sup>10</sup>. Герцен с благодарностью принял письмо как выражение значительной поддержки в борьбе с Чичериним и только из предосторожности не опубликовал его (XXVI, 241, 244). Подобно Герцену, Кавелин отверг практику безоговорочного доверия правительству. Однако с основной мыслью протеста (против призыва к топору) он согласился и, пытаясь поддержать либеральное направление изданий Герцена, заявил, что Чичерин ошибается, причисляя Искандера к революционерам, и в подтверждение указал на общее обличительное направление «Колокола». По мнению Кавелина, выступление Чичерина сыграло на руку реакции, так как всякое действительно либеральное движение будет рассматриваться теперь правительством как революционное, в то время как революционной партии в России не существует. Возмутили Кавелина и личные выпады против «лон-

---

<sup>8</sup> «Колокол», лл. 30—31, 1858, 15 декабря, стр. 241. (Курсив наш. — А. Д.).

<sup>9</sup> Там же, лл. 32—33, 1859, 1 января, стр. 261.

<sup>10</sup> См.: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. в 28 тт. Письма. Т. III, М.—Л., Изд. АН СССР, 1961, стр. 268.

донского изгнанника», и он резко осудил Чичерина за эту «холодную беспощадность упреков»<sup>11</sup>.

Итак, все замечания в адрес Чичерина, с которыми Чернышевский несомненно был хорошо знаком, не выходили за пределы либеральной критики. Сам Чичерин в письме к брату от 11 октября 1861 года справедливо заметил, что различное обсуждение его послания «до очевидности» показало «раздвоенные либерального мнения в России»<sup>12</sup>. И хотя Чичерин не относил тогда Герцена к либералам, а напротив, считал революционером, однако объективно издатель «Колокола» находился в ту пору в плену либеральных воззрений. Вот почему и он оказался не способен к всестороннему критическому анализу всей системы взглядов Чичерина.

Иной была критика со стороны Чернышевского, сумевшего в подцензурной статье противопоставить либерализму Чичерина мнение представителя «революционной партии», существование которой так старательно отрицал Кавелин.

Статья Чернышевского композиционно делится на две отчетливо разнящиеся части, и в основном полемика с Герценом ведется во второй из них (V, 651—669); назначение же первой целиком состояло в том, чтобы подвести читателя к правильному восприятию авторского замысла. Чернышевский делает это чрезвычайно тонко и остроумно, умело пользуясь эзоповским языком. В этом смысле статья представляет один из блестящих образцов его публицистического мастерства.

Разбор книги Чичерина предварен двумя своеобразными вступлениями, «предисловиями», как обозначил их Чернышевский, не связанными будто бы с последующим изложением. При этом замысел статьи раскрывался путем сопоставления возможных мнений читателей двух категорий — «людей обыкновенных», то есть «людей здравого смысла», сторонников точки зрения автора или способных воспринять ее, и «проницательных людей» — так иронически именовал Чернышевский либералов, не умеющих проникнуть в сущность общественных явлений и чуждых воззрениям автора.

В первом предисловии Чернышевский с иронией писал о «проницательных читателях» «Современника», среди которых оказалось немало «умных, ученых и отчасти знаменитых», организовавших травлю журнала за нападение на кумира итальянских либералов Поэрио и либеральную, так называемую «обличительную» литературу. По поводу последней Чернышевский писал в том смысле, что «обсуждение важных вопросов, умалчивающее о существенной стороне их, касающееся

<sup>11</sup> Цитируем по кн.: Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Путешествие за границу. М., 1932, стр. 57—62.

<sup>12</sup> Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Московский университет, М., 1929, стр. 29.

только мелочей, да и то с какою-то вялою слабостью, никак не может назваться удовлетворительным обсуждением, ничего не разъясняет, ни к чему, кроме пошлостей и нелепостей, не приводит» (V, 645). Этот вывод применителен не только к беллетристике: редактор «Современника» осуждает всякое обличительство, не затрагивающее основ государственного устройства России. И нельзя не соотнести содержания приведенного отрывка с ответом Герцена Чичерину, в котором «Колокол» характеризовался прежде всего как обличительный орган.

Однако читатель, которому смысл статьи еще не разъяснен автором, мог сразу и не прийти именно к такой интерпретации указанного отрывка. Ему вообще пока не понятно, к чему в статье о Чичерине-публицисте столь распространенные высказывания о Поэрио и «обличительной» литературе, поэтому-то Чернышевский, последовательно осуществляя задуманное, указывает, что смысл «первого» предисловия откроется полностью лишь после прочтения второго (V, 645).

Во втором вступлении речь идет уже непосредственно о Чичерине, и первую же фразу — «мы хотим быть строгими к г. Чичерину» — автор указал на причастность статьи к конфликту Герцена с Чичериным. Этот факт был отмечен И. В. Порохом. Однако в утверждении, что в данном случае Чернышевский использовал формулировки «Обвинительного акта» против Чичерина же с целью защитить Герцена и выразить солидарность с его взглядами<sup>13</sup>, содержится неточность, искажающая замысел статьи в целом. В самом деле, если бы редактор «Современника» действительно намеревался использовать формулировки «Обвинительного акта», он написал бы, что собирается приступить к Чичерину «с довольно высокими требованиями» — именно этими словами либеральный профессор обозначил свой подход к оценке деятельности Герцена. Чернышевский же пользуется словом «строгий», заимствованным не у Чичерина — у Герцена. Вспомним: «Будьте строги, жестоки, несправедливы <...>». Что же хотел сказать автор статьи, прибегнувший к терминологии противника Чичерина? «Для вас, читатель, — продолжал Чернышевский, — для вас, человек обыкновенный, не одаренный изумительною пронизательностью, причины строгости ясны сами по себе, без всяких объяснений. Г. Чичерин пользуется громкою известностью, а люди, пользующиеся известностью, должны быть разбираемы строго; когда речь идет о них, общественная польза требует не комплиментов, а серьезной критики», и читатель с «обыкновенным здравым смыслом» не осудит за «строгость порицания, если бы оказалось, что порицание основательно» (V, 645, 645—646. Курсив наш. — А. Д.). Иными словами, Чернышевский дал понять, что пользуется критерием, принятым Герценом, и пото-

<sup>13</sup> И. В. Порох. Герцен и Чернышевский, стр. 124—125.

му, в случае необходимости, он применим не только к Чичерину, но и к самому издателю «Колокола» или любому другому деятелю общественного движения.

«Но люди проницательные, — писал Чернышевский далее, — тотчас сообразят, что с этими простыми причинами не следует ограничиваться их догадливости. Г. Чичерин — знаменитость, стало быть, если его порицают, то порицают по каким-нибудь личным расчетам; *ведь без особенных личных побуждений нельзя порицать знаменитостей, по мнению проницательных людей.* И они нападут на нас за г. Чичерина с таким же восхитительным негодованием, как за Поэрио и за статью о прошлогодней литературе» (V, 646. Подчеркнуто нами. — А. Д.). В подчеркнутых строках позволительно видеть прямой намек на характер полемики Герцена с Чичериным.

Для понимания замысла Чернышевского приведенный отрывок важен еще в одном отношении — упоминанием о Поэрио. Теперь становится ясна связь первого «предисловия» со вторым: автор относит критику чичеринских взглядов к одному ряду выступлений против Поэрио и «обличительной» литературы, и поскольку его суровое осуждение Чичерина происходит не из «личных побуждений», а из требований «общественной пользы», то либералы — как противники, так и сторонники Чичерина — обрушатся на «Современник» как орган враждебного им направления. Автор как бы настораживал читателей, приглашая глубже вникнуть в замысел его статьи, в которой следует искать то, чего они не нашли и не найдут в других критических выступлениях против Чичерина.

Вслед за этими рассуждениями вдруг следует признание Чернышевского в том, что его строгость к Чичерину также «происходит из личных побуждений». И для «людей проницательных», «от догадливости которых никогда не утаишь самых сокровенных своих мыслей!», рецензент поясняет мотивы своего «покаяния»: «Г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом», который «выше всяких заблуждений <...>. Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек вредный для России <...>. Из этого факта родилась наша статья. Без этого факта не только быть строгими к г. Чичерину, но и говорить о нем мы не захотели бы, потому что не стоило бы труда разбирать его книгу» (V, 646).

И. В. Порох принял заявление Чернышевского о «покаянии» за действительное признание, в основе которого было-де намерение защитить Герцена от чичеринских обвинений<sup>14</sup>. По нашему убеждению, мы имеем дело с одним из характерных для Чернышевского-публициста приемов иносказательного письма. Причем сам Чернышевский заранее позаботился о том, чтобы этот его «эзопов ход» был безошибочно разгадан чита-

<sup>14</sup> И. В. Порох. Герцен и Чернышевский, стр. 125.

телем-другом. Мы имеем в виду ту часть первого «предисловия» к статье, в которой автор анализировал источник негодования «проницательных читателей» против него как инициатора нападения на Поэрио. Чернышевский писал здесь, что в осуждении Поэрио, наивно поверившего своему королю и павшего жертвой своих иллюзий, «проницательные люди» увидели «безнравственность, низость и обскурантизм», они «немедленно сообразили, что мы восстаем против честности и защищаем обманщиков». «Мы увидели необходимость принести публичное *раскаяние* в нашем преступлении и в следующей книжке журнала написали: «Мы совершенно заблуждались, говоря, что словам обманщиков не следует верить; мы должны были только сказать, что злодеи должны подвергаться уголовным наказаниям, и тот, кто по своему излишнему доверию к их словам остановит совершение правосудия над такими людьми, вредит сам себе и целому обществу». Из этих слов проницательные люди немедленно убедились, что *мы действительно раскаиваемся в своей прошлой ошибке* и смиряемся перед их удивительною проницательностью» (V, 644. — Курсив наш. — А. Д.). Ясно, что никакой ошибки и никакого раскаяния, о которых здесь говорится, в действительности не было, и Чернышевский, употребив новые остроумные способы подцензурной речи, по-прежнему оставался верен своим первоначальным суждениям.

Точно так же «признание» Чернышевского, будто в основе его строгости к Чичерину лежат личные побуждения, имело целью показать, что как раз не они, а исключительно требования «общественной пользы» заставили его обратиться к разбору книги, которая послужила лишь предлогом для оценки конфликта Герцена с Чичериным. Последнее специально подчеркивается Чернышевским, и, чтобы у читателя не оставалось сомнений на этот счет, он сознательно использует отдельные выражения и формулировки из текстов публичных выступлений обоих участников полемики, перефразируя эти выражения: «Мы хотим быть *строгими* к г. Чичерину», «Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек *вредный для России*».

Напомним, что все эти рассуждения адресованы «проницательным людям». Читатель же «обыкновенный» сразу поймет теперь, что «личные побуждения» автора есть не что иное, как желание критически разобрать воззрения не только «мудреца и владыки» Чичерина, довольно безвредного «по ограниченности круга людей, имеющих охоту соглашаться с ним» (V, 646), но и Герцена, поскольку (о чем читатель заранее предупрежден) анализ чичеринских взглядов будет существенно отличаться от всех предшествовавших.

Затем Чернышевский перешел к основной части своей статьи — разбору публицистической деятельности Чичерина. Из всей совокупности проблем, рассматриваемых автором книги

«Очерки Англии и Франции», Чернышевский выделил наиболее актуальную: возможны ли в рамках абсолютистского государства демократические преобразования? Иными словами, возможны ли в России демократические (крестьянская, судебная, военная и иные) реформы, которые облегчили бы материальную жизнь «простолюдинов»?

В разбираемой Чернышевским монографии, а затем и в «Обвинительном акте» Чичерин положительно решал этот вопрос, недвусмысленно высказавшись за сильную монархическую власть как необходимое и единственно разумное средство к обеспечению «правильного развития свободы».

Полемика в «Колоколе» вокруг «Обвинительного акта» показала, насколько непопулярной, неавторитетной оказалась эта позиция либерального публициста, вызвавшая осуждение даже в среде умеренных либералов. О том, что доктринеры типа Чичерина не способны «увлечь других», писал Герцен (XIII, 363). Не случайно и Чернышевский в рукописи статьи «Чичерин как публицист» вычеркнул слово «авторитет» в тексте тех первых страниц, где писал, что «г. Чичерин — авторитет и знаменитость» (V, 948). Не для того, разумеется, редактор «Современника» заговорил о реакционных сторонах воззрений Чичерина, чтобы осудить только их, уже большинством осужденных. Разбор взглядов московского историка велся в плоскости, позволяющей вскрыть общий, объединяющий всех русских (и не только русских) либералов элемент, то как раз, с чем безусловно согласился Кавелин и что не было отвергнуто Герценом.

Отвечая на поставленный вопрос, Чернышевский разъяснял, что всякие иллюзии относительно возможности положительного его решения губительны. По мнению либералов, все зависит от степени гуманности и просвещенности монарха. Во Франции, например, утверждал Чичерин, это условие определяет решение одной из самых важных социальных проблем — уничтожения сословных привилегий. Чернышевский показал ошибочность этих либеральных представлений. Кто бы ни сидел на французском троне, все без исключения «устраивают целое государство таким образом, чтобы весь народ жил исключительно для содержания двора и придворной аристократии», так как «французский король есть представитель и глава аристократического принципа» (V, 655). Так, на частном примере Чернышевский проиллюстрировал несовместимость абсолютизма с демократией, намекая на невозможность положительного осуществления крестьянской реформы в монархической России. Осуждая взгляды Чичерина и либералов вообще, он метил, следовательно, и в «Колокол», не оставлявший в те годы надежды на освободительную миссию Александра II.

Далее Чернышевский отмечал сбивчивость рассуждений Чичерина об основных формах государственного правления.

«Основным принципом его понятий оказывается бюрократическое устройство, и ему представляется, будто демократия похожа на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюрократию и централизацию» (V, 652). В действительности же, по Чернышевскому, нет ничего более непримиримого, чем вражда демократов к монархии, порождающей бюрократию и централизацию и защищающей аристократический принцип. Указание Чичерина на демократическую Францию с ее бюрократической системой и централизацией как яркий пример, подтверждающий его выводы, несостоятельно, по убеждению Чернышевского. Вообразить себе «демократию по неразвившимся французским ее формам, искаженным сильною примесью старых учреждений, которые уцелели со времен абсолютизма», — значит иметь «самое фальшивое понятие о демократии» (V, 654). И в качестве примера действительно демократического устройства Чернышевский называет Соединенные Штаты Америки, Австралию, Швейцарию (V, 653, 656).

Опровержение чичеринской трактовки этих политических категорий преследовало у Чернышевского и другие полемические задания. Внимательное прочтение этой части статьи не оставляет сомнения в полемической направленности утверждений Чернышевского против Герцена, в частности, против его представлений о демократической форме государственного устройства, высказанных в статье «Россия и Польша». Опубликование этой статьи в первых (программных) номерах «Колокола» за 1859 год позволяет рассматривать ее как одно из самых существенных выступлений Герцена в ходе полемики с Чичериным.

Отвечая польским корреспондентам «Колокола», Герцен, несомненно, учитывал и чичеринские упреки «Колоколу», будто бы избравшему революционное направление. После событий 1848—1849 годов, разъяснял свою позицию Герцен, слово республика «возбуждает столько же надежды, сколько сомнений. Разве мы не видали, что республика с правительственной инициативой, с деспотической централизацией, с огромным войском, гораздо меньше способствует свободному развитию, чем английская монархия без инициативы, без централизации? Разве мы не видали, что французская демократия, т. е. равенство в рабстве, самая близкая форма к петербургскому самовластью? <...>. Я смело скажу, переиначивая известную латинскую пословицу: «Я друг республики, я друг демократии, но гораздо больше друг свободы, независимости и развития» (XIV, 8—9). В другом месте статьи Герцен писал, что ему «*религия демократии* также не по сердцу, как религия пана Филковского и как религия «*воссоединенного*» Симашки. Демократическое православие так же не дает воли уму и жмет его, как Киево-Печерское» (XIV, 17).

Нельзя не видеть отличия такого понимания демократии от

чичеринского. Если для Герцена, «друга демократии», важно, чтобы установившийся демократический строй был «сообразен развитию народному» и являл собою «не только *слово*, а и *дело*, как в Соединенных Штатах или в Швейцарии» (XIV, 9), то Чичерин выступил как враг самой идеи демократии, как защитник сильной монархической власти. Чернышевский, несомненно, разделял симпатии Герцена, но возведение последним индифферентности к формам правления в теоретический принцип и признание возможности свободы и развития вне демократической республики — этого Чернышевский принять не мог. Такая позиция была существенной уступкой либералам. Логическим завершением теоретических построений Герцена было утверждение, что главная задача теперь — свести «кровяные политические вопросы на экономические» (XIV, 33). Именно эта мысль многократно варьировалась русскими либералами, начиная с Кавелина и кончая Чичериным. Поэтому, когда Чернышевский решительно критиковал Чичерина за реакционность суждений о демократии и абсолютизме, он брал под обстрел и высказывания Герцена, который дезориентировал русского читателя противоречивыми объяснениями сущности этих политических категорий.

Между тем, указывал Чернышевский, именно эти понятия требовали разъяснений «по-русски», и «публицисту, пишущему по-русски», необходимо «живое сочувствие к современным потребностям общества» (V, 651). Таким публицистом Чичерин не был, делал вывод Чернышевский, его книга «написана не по-русски, издана не в Москве», поскольку наполнена схоластическими рассуждениями, заимствованными из работ «великих мыслителей французской мнимо-либеральной, а в сущности реакционной школы» (V, 649, 653, 658).

Снова мы сталкиваемся с одним из приемов двупланного, иносказательного письма Чернышевского. На этот раз комплекс суждений, революционных по содержанию, заменен непредусудительным для цензуры словосочетанием «задачи публициста, пишущего по-русски».

Иначе объясняет использование этого выражения И. В. Порох, который утверждает, что «под публицистом, пишущим по-русски, Чернышевский имел в виду Герцена»<sup>15</sup>. Здесь не учтены, на наш взгляд, ни специфика «эзопового языка» Чернышевского, ни логика статьи в целом. В подцензурной статье Чернышевский не мог прямо объяснить, что писать «по-русски», — значит писать о несовместимости русского самодержавия и демократических преобразований, о необходимости

---

<sup>15</sup> И. В. Порох. Герцен и Чернышевский, стр. 126. См. также: И. В. Порох. Полемика Герцена с Чичериным и отклик на нее «Современника». — В кн.: Историкографический сборник, вып. 2. Изд. Саратов. ун-та, 1965, стр. 71—73.

крестьянской революции в России как единственного средства для уничтожения крепостничества и установления республики, способной на действительно демократические реформы. Следовательно, не «сведение кровавых политических вопросов на экономические», как о том писал Герцен, а, напротив, достижение коренных экономических сдвигов посредством политического переворота — таков подцензурный смысл высказываний Чернышевского. Поэтому речевой оборот «публицист, пишущий по-русски», в котором заложено определенное политическое содержание, не мог быть воспринят «обыкновенным читателем» статьи как синонимическая замена имени Герцена.

Выступление против Герцена до его статьи «*Very dangerous!!!*», значительно обострившей взаимоотношения двух ведущих деятелей русского общественного движения, подтверждает и конкретизирует заявление Чернышевского, высказанное в примечании к Добролюбовскому письму 1856 года. Poleмика с Герценом пока глубоко скрыта. Лишь перифразами, системой намеков, логическими построениями, противопоставлениями, получающими полемическую окраску, Чернышевский дал понять, что в статье о Чичерине не столько либеральный профессор, не скрывающий свои реакционные воззрения, сколько Герцен с его постоянными и устойчивыми в ту пору колебаниями к либерализму стал объектом революционно-демократической критики. Таким образом, мы с полным правом можем рассматривать статью «Г. Чичерин как публицист» в качестве одного из первоисточников в биографическом изучении полемики Чернышевского с Герценом.

## О НЕКОТОРЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЯХ В СТАТЬЯХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ДОБРОЛЮБОВА

---

Обычно принято объединять имена Чернышевского и Добролюбова, и это совершенно справедливо: они не только совместно трудились в редакции «Современника», но были связаны завидным единством мировоззрения, идеалов, стратегии и тактики журнального дела<sup>1</sup>.

Впрочем, идейная близость несколько не мешала явным характерологическим, психологическим отличиям (это особенно заметно при сравнении дневников Чернышевского и Добролюбова; ср. также подчеркивание Чернышевским разницы между Волгиным и Левицким в романе «Пролог»). Наблюдаются также отличия и в художественных вкусах, в критическом методе Чернышевского и Добролюбова, о чем мне уже приходилось писать<sup>2</sup>. Обнаружено различие и в самой структуре логического мышления критиков, что повлияло на композицию и стиль их статей.

Если рассмотреть структурное соотношение сюжетно-логических элементов, составляющих идейное ядро статьи, то окажется, что они связаны у Чернышевского и Добролюбова по различным композиционным принципам.

Рассмотрим, к примеру, статью Добролюбова «Что такое обломовщина?» Развитие авторской мысли, «сюжет» в этой статье таковы: история появления «Обломова», отклики — большое значение Гончарова для русской литературы — дока-

---

<sup>1</sup> Основные положения этой статьи были сообщены автором на юбилейной конференции Саратовского университета в октябре 1958 г.; А. П. Скафтымов затем в личной беседе сделал интересные замечания по докладу, одоблив его в целом. Считаю наиболее подходящим опубликовать отрывок из доклада именно в сборнике, посвященном памяти выдающегося ученого.

<sup>2</sup> См.: Б. Ф. Егоров. «Реальная критика» Н. А. Добролюбова. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 65, 1958, стр. 32—41.

зательство этого на примере «Обломова» — главные черты обломовского характера: паразитическое воспитание, непригодность к труду — общность черт у «лишних людей» — эволюция образа «лишнего человека» от Онегина до Обломова — современное состояние «обломовщины» — «противоядие» Обломову, Штольц — ограниченность образа Штольца, превосходство Ольги — значение образа Ольги для современной русской жизни. Таким образом, статья Добролюбова строится как бы подобно цепи: каждый последующий раздел вытекает из предыдущего, объясняет его, дополняет — и так до самого конца. Разумеется, это лишь схема, общий план статьи, в действительности развитие добролюбовской мысли не укладывается в «железную» цепь: имеется целый ряд отступлений, как и в других его статьях<sup>3</sup>, — например, литературные параллели, притча о рубке леса и т. п. Но эти «ответвления» замедляют и дополняют, но не нарушают общего идейного развития статьи, следующего цепевидно. Аналогичным образом строятся и другие статьи Добролюбова. Главная цепевидность свободно сочетается с отступлениями, отчего эта особенность не противоречит идее свободной композиции добролюбовской статьи.

Иначе строится литературная статья Чернышевского. В начале критик выдвигает определенный тезис, а остальной текст посвящается, главным образом, объяснению и доказательству этого тезиса. Говоря обобщенно (т. е. отбрасывая различные отклонения от общего правила), Чернышевский излагает свои идеи дедуктивным способом. Для развития и доказательства основной мысли Чернышевский пользуется множеством сценок и эпизодов, рассуждений из области общественной жизни, истории, быта. Для ясности мы разберем подробнее композиционное построение рецензии на «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина<sup>4</sup>.

В самом начале статьи творчество Щедрина рассматривается в плане развития гоголевских традиций. Чернышевский декларирует тезис об обусловленности человеческого характера средой. Следует разбор образа подьячего и ему подобных. Чернышевский доказывает, что честный труд для подьячего невозможен. Общество осудит его за это. Кто не будет подчиняться законам общества, тот лишится места и средств к существованию. Критик подтверждает эту мысль примером из общественной жизни, взаимоотношением арендатора и помещика. В обществе правят свои законы и привычки, не каждый человек может их изменить; а если он не может их изменить, то должен подчиняться этим законам и привычкам, даже если

<sup>3</sup> См.: Б. Ф. Егоров. О форме литературно-критических статей Н. А. Добролюбова. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 43, 1956, стр. 191—193.

<sup>4</sup> См.: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 263—302.

они плохи (Чернышевский приводит эпизод с фраком). Установившиеся в обществе привычки играют большую роль в жизни людей. Это подтверждается эпизодом с путником, отправляющимся в дальнюю дорогу. Затем Чернышевский возвращается к подьячему. Он говорит, что, может быть, подьячего сочтут плохим за выбор карьеры чиновника. Но его нельзя осуждать, так как это зависит от законов и условий жизни общества. Это снова подтверждается эпизодами из общественной жизни, рассказывается о предпочтении карьеры чиновника во Франции и Германии. Живя в определенных условиях, подьячий вынужден брать взятки.

Затем Чернышевский анализирует общественный быт купцов на материале сцены Щедрина «Что такое коммерция?». Критик рассуждает о зависимости купцов от чиновников. Купцы часто в своих делах держатся дурных привычек, но это обусловлено обстоятельствами. Чернышевский рассказывает при этом притчу о необходимости одевать в дальнейшем путешественника меховые салоны.

Об Ижбурдине и других купцах нельзя судить только по их коммерческим делам. В них, как в человеческих характерах, заложено много хороших качеств. В доказательство Чернышевский рассматривает случай с юристом Мейером.

Но в истории общества пример не имеет такой силы, чтобы им устранялось действие закона причинности, по которому нравы народа соотносятся с обстановкой народной жизни. Подтверждает это Чернышевский эпизодом из истории Англии.

Далее следует анализ образа Буеракина. Разрыв между словами и делами Буеракина не зависит от его личных особенностей, а характеризует политическую позицию целой общественной группы. Буеракин — это определенный социальный тип. Положение человека в обществе всегда влияет на характер его убеждений. Это подтверждается эпизодом из Римской истории. Действия Буеракина как социального типа связаны с его убеждениями.

Различные темпераменты и наклонности не имеют столь важного влияния на образ жизни и деятельности людей. Чернышевский сравнивает Буеракина с его практичным родственником. И в заключении статьи снова звучит мысль о том, что не человек, а обстоятельства виновны в дурных привычках и поступках.

Итак, вся статья построена на доказательстве тезиса «среда обуславливает человека», с последовательным разбором то одного, то другого рода образов и с обильными примерами, ассоциациями, параболами из самых различных областей жизни.

Рецензия на «Губернские очерки» наиболее наглядно, в «чистом виде» демонстрирует этот принцип, в других статьях он иногда усложняется наличием нескольких главных тезисов,

но сущность сохраняется: статьи Чернышевского строятся, так сказать, подобно фигуре дерева: берется основная, коренная идея, и затем она развивается в виде различных ветвей, после чего автор снова возвращается к коренному тезису<sup>5</sup>. Здесь тоже богатый выбор вариантов, тоже свободная композиция, но главные принципы организации статьи — иные.

Указанное различие в композиционном построении статей Чернышевского и Добролюбова подтверждается статистическим подсчетом ряда синтаксических категорий.

Так, при анализе состава сложноподчиненных предложений выявилось резкое преобладание целевых (в полтора-два раза больше) и причинных (в три раза) придаточных предложений у Добролюбова, по сравнению с Чернышевским<sup>6</sup>.

В свете вышесказанного о структурных особенностях понятно, почему в статьях Добролюбова такое обилие причинных и целевых предложений: включаясь в общий поток мыслей критика, они являются соединительными звеньями цепи, осуществляя связь между отдельными ее элементами.

Употребление же причинных и целевых предложений у Чернышевского связано в основном с вспомогательными этюдами, сценками, рассуждениями. Например, в «Губернских очерках» целевые и причинные предложения употребляются в рассуждениях о невыгодности для купцов железных дорог, о взаимоотношениях арендатора и помещика, в эпизодах о привычках людей, о предпочтении во Франции и Германии карьеры чиновника, в притчах о собирании подати, о нравах купцов, в эпизоде из Римской истории.

Структурные особенности статей объясняют и другое синтаксическое различие в стиле Чернышевского и Добролюбова. Если сопоставить союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения у обоих критиков (при этом для удобства брались лишь сложносочиненные, состоящие из простых), то оказывается, что у Добролюбова больший процент, чем у Чернышевского, составляют сложносочиненные союзные предложения. В статьях Добролюбова мы почти в равной мере находим союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения, у Чернышевского же наблюдается большое преобладание бессоюзных сложносочиненных предложений над союзными (по-

<sup>5</sup> Б. И. Бурсов называет эту особенность «цикличностью» (Б. И. Бурсов. Мастерство Чернышевского-критика, Л., «Советский писатель», 1956, стр. 248).

<sup>6</sup> Здесь и далее использованы данные, полученные дипломанткой А. Л. Самсоновой (Тарту, 1957) на основании анализа статей Добролюбова «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?», «Луч света в темном царстве» и статей Чернышевского «Губернские очерки», «Русский человек на rendez-vous», «Не начало ли перемены?». У Добролюбова 10—11% целевых и 5,5—6% причинных предложений, а у Чернышевского соответственно 5—7% и 2% (проценты от общего количества придаточных в сложноподчиненных предложениях).

следних в три раза меньше, чем бессоюзных, в статьях «Губернские очерки» и «Русский человек...», и в семь раз меньше в статье «Не начало ли перемены?»).

Такое несоответствие в употреблении союзных и бессоюзных сложносочиненных предложений у Добролюбова и Чернышевского также тесно связано с композиционными особенностями их статей. Ведь в бессоюзных сложносочиненных предложениях второй (если есть — и третий, четвертый) член обычно уточняет или усиливает содержание первого. Мысль, так сказать, не двигается дальше, а расширяется и углубляется.

Иное — в союзных предложениях. Здесь первоначальное понятие или сопоставляется с другим, или последнее противопоставляется первому и т. д., в связи с этим и необходимо употреблении соответствующих союзов. Ясно, что союзное сложносочиненное предложение служит большею частью для дальнейшего развития мысли, для ее поступательного движения. Поэтому вполне закономерно, что цепевидная конструкция добролюбовской статьи требует большего количества союзных предложений, чем древообразное построение статьи Чернышевского, для которой более органичны бессоюзные периоды.

Таким образом, анализ ряда синтаксических категорий дает возможность не только обнаружить стилистическое различие в статьях Чернышевского и Добролюбова, но и объяснить это различие внестилевыми факторами.

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И А. ГРИГОРЬЕВ В 1850-е ГОДЫ

## 1

Чернышевский и А. Григорьев долгое время рассматривались только как идейные антагонисты в области философии, эстетики, литературной критики. Впервые на некоторую близость эстетических взглядов критиков указал П. Н. Сакулин, отметив их борьбу с «авторитетом Гегеля и желание выявить красоту и значение подлинной жизни»<sup>1</sup>. Но это важное положение исследователь не развил и не аргументировал.

В позднейших работах Б. Егорова<sup>2</sup>, А. Марчика<sup>3</sup>, М. Зельдовича<sup>4</sup> сопоставляются преимущественно методы литературно-критического анализа Чернышевского и А. Григорьева, «соприкосновение» которых объясняется «влиянием эпохи, общих идей времени». Содержание этих «общих идей» не раскрывается, однако, с достаточной определенностью. Остаются еще не вполне ясными теоретические предпосылки, которые обусловили «момент относительного схождения» в понимании Чернышевским и А. Григорьевым задач критики. Таким образом, не освещен вопрос — в какой мере соотносимы литературно-теоретические принципы А. Григорьева в пятидесятые годы с важнейшими положениями автора «Эстетических отношений искусства к действительности».

Середина пятидесятых годов — поворотный момент в раз-

<sup>1</sup> П. Н. Сакулин. Органическое мировосприятие. — «Вестник Европы», 1915, № 6, стр. 108.

<sup>2</sup> Б. Егоров. Аполлон Григорьев — литературный критик. — В кн.: А. Григорьев. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1967.

<sup>3</sup> А. П. Марчик. «Органическая критика» А. Григорьева. — «Известия АН СССР», серия лит. и яз., т. XIV, в. 6, 1966.

<sup>4</sup> М. Г. Зельдович. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968.

витии русского передового общественного движения и важный этап в деятельности А. Григорьева, когда он, порвав с «Москвитянином», выработывал новые принципы для своей критики. К этому времени, как известно, сложились и литературно-теоретические воззрения Чернышевского.

Эстетические взгляды А. Григорьева и Чернышевского явились прежде всего результатом обобщения опыта русского реалистического искусства — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Островского. Оба критика опирались и на достижения передовой научно-философской мысли предшествующего «замечательного десятилетия». Обращение к наследию Белинского, реалистическая теория искусства которого находилась в сложном взаимодействии с философско-эстетической системой Гегеля, побуждало и Чернышевского, и Григорьева определить свое отношение к учению немецкого мыслителя.

Важнейшим связующим звеном, своего рода «посредником» между Чернышевским и Григорьевым явился Герцен. Вопрос о его роли в развитии «органической критики» еще не исследован в современной науке. Между тем в пятидесятые — самом начале шестидесятых годов Герцен неоднократно упоминался в статьях и письмах А. Григорьева как «великий писатель», как «самый смелый из мыслителей» сороковых годов. Особенно ценил критик «беспощадный анализ» «Дилетантизма в науке» и «Пишем об изучении природы»<sup>5</sup>.

Основные положения эстетики Гегеля Григорьев во многом воспринимал в свете герценовской концепции человека и действительности. В непосредственном соприкосновении с идеями Герцена находилась в пятидесятые годы и теоретическая платформа Чернышевского. Установление сложных внутренних контактов литературно-эстетических воззрений Чернышевского и Григорьева в соотношении с позицией Герцена является главным звеном в цепи поставленных проблем и основной задачей настоящей работы. Это лишь начальный этап в исследовании темы — Чернышевский и А. Григорьев, требующей специального освещения всех ее аспектов.

Было бы ошибочно «подтягивать» А. Григорьева к Чернышевскому или Герцену. Противоречия философско-эстетического мировоззрения А. Григорьева, которое он сам называл «калейдоскопическим», соединялись с не менее сложными общественными убеждениями патриархально-славянофильско-

<sup>5</sup> А. Григорьев. О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности. — «Время», 1861, № 3, отд. «Пolemическая смесь», стр. 51; Знаменитые европейские писатели перед судом современности. — Там же, стр. 49; Мои литературные и нравственные скитальчества, гл. III. — «Время», 1862, № 11. Ср.: А. Григорьев. Воспоминания, М.—Л., «Academia», 1930, стр. 25.

го оттенка, враждебными революционным демократам<sup>6</sup>. Известны резко отрицательные оценки диссертации Чернышевского в статьях А. Григорьева пятидесятых годов. Но при всей внутренней полемичности их эстетические взгляды объективно соотносимы, и оба критика, хотя и с существенными оговорками, порою сами соглашались с этой мыслью.

2

В решении основного вопроса эстетики между Чернышевским и Григорьевым, на первый взгляд, существовало коренное различие. Если Чернышевский, исходя из материалистических позиций, отстаивал приоритет жизни над искусством, то именно это обстоятельство вызывало осуждение со стороны Григорьева, абсолютизовавшего значение искусства как «откровение, озарение всего в действительности случайного», как «фокус, в который сводятся ее высшие законы»<sup>7</sup>.

Такое понимание искусства противоречиво соединялось у Григорьева с глубоко верным признанием зависимости «художества» от действительности. Эта мысль пробивается через идеалистическую оболочку определений критика: «Мы перестали верить, чтобы идеальное было нечто от жизни отвлеченное»<sup>8</sup>. Главный тезис А. Григорьева — «где жизнь — там и поэзия» — восходил не только к эстетике Шеллинга, как это принято считать, но и сближался с одной из важнейших идей Гегеля о многообразии реального содержания искусства, вмещающего «все жизненные сферы и явления, большое и малое, высокое и ничтожное, нравственное, безнравственное и злое»<sup>9</sup>.

Гегелевское стихийное признание искусства как воспроизведение действительности сочувственно отметил и Чернышевский: «...Читая в эстетике Гегеля те места, где говорится о том, что прекрасно в действительности, приходишь к мысли, что бессознательно принимал он прекрасным в природе говорящее нам о жизни, между тем, как сознательно поставлял красоту в полноте проявления идеи»<sup>10</sup>. В подтверждение своей точки зрения Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» (1856) еще яснее подчеркнул «историческое значение гегелевской системы», явившейся «переходом от отвлеченной науки к науке жизни». «Поразительное впечатление, которое произво-

<sup>6</sup> См.: В. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. М., «Художественная литература», 1966.

<sup>7</sup> А. Григорьев. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства. — В кн.: А. Григорьев. Литературная критика, стр. 155.

<sup>8</sup> Там же, стр. 125.

<sup>9</sup> Гегель. Эстетика, т. II, М., «Искусство», 1969, стр. 306.

<sup>10</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти тт., т. II, стр. 13. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы. Подробнее о Чернышевском и Гегеле см.: В. Г. Астахов. Г. В. Плеханов и Н. Г. Чернышевский, 1961, стр. 131—176.

дят творения великого философа», он видел в «необыкновенной силе и возвышенности мысли <...>, открывающей в каждой сфере жизни тождество законов природы и истории с своим собственным законом диалектического развития, обнимающей все факты религии, искусства, точных наук, государственного и частного права, истории и психологии сетью систематического единства» (III, 208).

До Чернышевского, еще в сороковые годы, ту же оценку Гегеля дал и Герцен в «Письмах об изучении природы»<sup>11</sup>. В числе ближайших предшественников Гегеля Герцен назвал Шеллинга, открывшего тождество законов бытия и познания. Но ограниченность Шеллинга заключалась, по Герцену, в том, что он лишь «обещал примирение бытия и мышления» и, «провозгласив примирение противоположных направлений в высшем единстве, остался идеалистом»<sup>12</sup>. Более высоким этапом философского развития Герцен считал учение Гегеля, «до того верное истине и полное реализма, что, вопреки себе, оно беспрестанно и везде перегибалось в действительное мышление» (III, 119). Огромную роль гегелевской системы Герцен видел в ее приближении к объективной действительности, стремлении всеобъемлюще охватить тенденции ее развития.

В направлении, близком к позиции Герцена и Чернышевского, развивалась и мысль А. Григорьева. «Шеллингизм, — писал он во «Взгляде на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859), — завлекая своим таинственным тождеством сознающего я и несознаваемого не — я, приводил en définitive к стихийному раздвоению, увлекая ищущие цельности <...> души в какие-то заоблачные выси». «Новое учение — «гегелизм» с его «всеобъемлющим принципом», «уже тем одним было замечательно и могуче, что манило обещаниями осмыслить мир и жизнь, связать общими началами все то, что стихийно разрознено»<sup>13</sup>.

А. Григорьев пронизательно связал переход Белинского и его друзей от шеллингианского романтизма к реалистическому мировоззрению с освоением богатств гегелевской философии. Этому же процессу одновременно содействовала, по его мнению, «поэзия действительности» Гоголя. «...В сознании его (Белинского. — Г. А.), то есть в нашем общем критическом сознании, совершился действительный, несомненный переворот в эту эпоху. Новые силы, новые веяния могущественно влекли жизнь вперед: эти силы были гегелизм, с одной стороны, и поэзия дей-

<sup>11</sup> Положительный отзыв Чернышевского о «Письмах» см. в «Очерках гоголевского периода», в рецензии на сб. «Пропилей» (1855), в «Полемических красотах» (1861).

<sup>12</sup> А. И. Герцен. Полн. собр. соч. в 30-ти тт., т. III. М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 117. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы.

<sup>13</sup> А. Григорьев. Литературная критика, стр. 238.

ствительности, с другой <...>. Явились новые художественные силы в лице Гоголя. Поэзия ответила живыми образами на требования жизни. Пусть эти образы были только отрицательные: в их отрицательности сказались новые силы жизни, силы отвергнуть все формы, оказавшиеся несостоятельными, разбив все фальшиво-героическое в представлениях души. <...>. Это был протест — как протест же скрывался и под клинообразными письменами гегелизма — которые сулили адептам-неофитам полное оразумление всего действительно-го»<sup>14</sup>. По Григорьеву, новое философское и эстетическое мышление признало «требования жизни» основой «поэзии» и само явилось «ответом» на них<sup>15</sup>.

Но в гегелевскую трактовку действительности и человека как предметов искусства Чернышевский и Григорьев вносили и существенные коррективы. Здесь концепции критиков то скрещивались, то расходились.

Формула Чернышевского — «общеинтересное в жизни — вот содержание искусства» — означала борьбу за реалистическое изображение «действительных, живых существ», а не «отвлеченных общих мыслей» и основывалось на «чувственном» истолковании человека. Эта точка зрения являлась, по словам Плеханова, «не только дальнейшим развитием Гегелевской философии, но также и ее отрицанием»<sup>16</sup>.

С одной стороны, апология живой природы человека связана у Чернышевского с усвоением прогрессивных идей эстетики Гегеля, провозгласившего после разложения романтической формы такое искусство, где «новым святым становится Нипапус — глубины и высоты человеческой души как таковой»<sup>17</sup>. С другой стороны, концепция критика-демократа отвергала односторонность гегелевской трактовки действительности, «обнимавшей собою только духовную жизнь человека». Чернышевский реабилитировал и «материальную сторону ее» (III, 240), «все отношения человека к предметам и существам объективного мира и внутреннюю жизнь его» (II, 85). Свою точку зрения, возвышающую реального человека как центр природы и истории, он считал развитием воззрений «Белинского и его друзей», имея в виду Герцена.

<sup>14</sup> А. Григорьев. Литературная критика, стр. 239.

<sup>15</sup> Говоря в эти же годы о Лессинге, эстетика которого подготовила и гегелевскую, А. Григорьев одобритительно заметил: «Какое живое чувство связи искусства с жизнью бьет родником из его «Гамбургской драматургии» и из его драм и изо всего, чего он ни касался». (А. Григорьев. Соч. т. I, СПб., 1876, стр. 138). Ср. положительный отзыв Чернышевского о «Гамбургской драматургии» (Н. Г. Чернышевский, т. IV, стр. 152, 160—161).

<sup>16</sup> Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. I, М., Гослитиздат, 1958, стр. 441.

<sup>17</sup> Гегель. Эстетика, т. II, стр. 318.

В работах Герцена Чернышевскому не могла не импонировать критика гегелевской формулы «жизнь есть идея»<sup>18</sup>. Для Герцена действительность — это живая природа, сложный процесс, не укладывающийся в «рассудочную отвлеченность» «теории». При этом Герцен имел в виду не только «абсолютную идею» Гегеля, но и всякие «рассудочные теории», отрицавшие «вечные переливы, вечное движение, в которое увлечено все сущее» (III, 118). В разъяснение своего отношения к миру он ссылаясь на «широкое воззрение» Гёте, приложив к «Письмам об изучении природы» его статью, исполненную «трепета сочувствия к жизни, к живому» (III, 138). Венцом всего живого, «мерилом всех вещей» Герцен провозгласил личность человека, защищая ее от подчинения всеобщему «объективному духу». Герценовский протест против попыток уложить живую индивидуальность в любую логическую схему предвосхищал суждения автора «Эстетических отношений», где отвергалось искусственное «разделение действующих лиц на героев и злодеев» в теории и практике классицизма и романтизма, заменявшего «действительную жизнь» «фантастической»<sup>19</sup>.

Философско-эстетическое определение действительности у А. Григорьева отличалось противоречивой сложностью. Критик еще не освободился полностью от дуализма романтической эстетики, когда противопоставлял «жизнь, кипящую всем многообразием случайностей», жизни, «почти однообразно текущей по своим печатям вечности запечатленным законам»<sup>20</sup>. В то же время его мысль стремится к синтетическому осмыслению мира. Отражением этого стремления и явилась формула: «Жизнь есть органическое единство». Постичь жизнь способно «чувство органической связи между явлениями ее»<sup>21</sup>. Суждения А. Григорьева соотносились с точкой зрения Чернышевского и Герцена там, где он подчеркивал «безграничность, неистоимость жизни» вопреки «голой диалектике логического мышления гегелизма». Важно заметить, что через пелену идеалистических определений критика прорывается «чувственное» истолкование действительности, включающей природу и человека. Понятие природы у Григорьева не абстрактное, а широкое, гибкое, динамичное: это понятие человеческой жизни, неотрывной от природы. Не случайно он, подобно Герцену, одобрительно

<sup>18</sup> Гегель. Соч., т. II, стр. 344.

<sup>19</sup> Об отношении Герцена к классицизму и романтизму см.: Л. Я. Гинзбург. Герцен и вопросы эстетики его времени (статья «Дилетанты-романтики»). — В сб.: Проблемы изучения Герцена. М., Изд. АН СССР, 1963.

<sup>20</sup> А. Григорьев. О правде и искренности в искусстве. Соч., т. I, стр. 141.

<sup>21</sup> А. Григорьев. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства (1858). — В кн.: А. Григорьев. Литературная критика, стр. 145, 149.

отзывался о трактовке природы в поэзии Гёте, часто цитируя известные строки Баратынского: «С природой одною он жизнью дышал...»<sup>22</sup>. В этой же связи критик обратил особое внимание на пейзажи С. Аксакова и Тургенева, передававших «осязаемо» картины жизни человека: «Это — природа края, богатого всякими угодами, всем, что служит на пользу человека»; «поэзия так называемой великорусской Украины, страны чернозема, потового труда земледельца»<sup>23</sup>. А среди важнейших имен эпохи своего умственного развития Григорьев рядом с Грановским и Редкиным поставил и имя Рулье<sup>24</sup>, лекции которого об органической жизни высоко оценил и Герцен в 40-е годы.

Защищая богатство и индивидуальность человеческой личности, А. Григорьев решительно осуждал фаталистическую концепцию в философии Гегеля, по которой «народы и лица» являются только орудиями отвлеченной идеи, а «душа человека» подчинена «отвлеченному духу человечества»<sup>25</sup>. Несмотря на абстрактно-моральный смысл, который вкладывался в понятие «душа человека», важно стремление критика отстоять ценность единичного, индивидуального, освободить его от «приношений абсолютному духу», требовавшему «жертв никак не менее древнего Ваала»<sup>26</sup>.

Но вера в «живую индивидуальность» как источник и цель общественного прогресса порою приводила Григорьева к романтически-субъективному взгляду на человека, к нарушению диалектики личного и общего, свободы и необходимости. Так, борясь против всех теоретических построений, ущемлявших полноту и свободу развития «артистической личности», он находил опасность подобного рода в учениях славянофилов и даже в социалистических представлениях вообще и Чернышевского в частности. Уже в пятидесятые годы критик нападал на «деспотическое поглощение личности «папством» — папством ли Римским или <...> фуриеристским, сенсимонистским»<sup>27</sup>, включая сюда и «социализм Чернышевского», и «начиненный всякой поповщиной социализм славянофилов». Так характеризовал Григорьев своих противников в письме к Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г.

<sup>22</sup> А. Григорьев. О правде и искренности в искусстве. Соч., т. I, стр. 184; Парадоксы органической критики. Там же, стр. 642.

<sup>23</sup> А. Григорьев. И. С. Тургенев и его деятельность... (1859). — В кн.: А. Григорьев. Литературная критика, стр. 246.

<sup>24</sup> А. Григорьев. О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества... — «Время», 1861, № 3, отд. Полемическая смесь, стр. 50.

<sup>25</sup> А. Григорьев. Литературная критика, стр. 130, 132, 151 и др.

<sup>26</sup> А. Григорьев. Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта. — «Время», 1861, № 4, стр. 173.

<sup>27</sup> А. Григорьев. О правде и искренности в искусстве. Соч., т. I, стр. 176.

Порок славянофильства, «уничтожавшего личность общностью»<sup>28</sup>, был угадан верно. Упрек же в адрес Чернышевского по существу содержал протест против центрального принципа критика-демократа: последовательного социологического объяснения отношения личности и общественной среды, убеждения в обусловленности человеческого сознания формами социального бытия. Григорьеву казалось, что отсюда вытекало отрицание свободы нравственного выбора, нивелировка личности. В названном уже письме к Е. С. Протопоповой Григорьев заявлял, что «мирится больше всего с мыслью Герцена, ибо эта мысль есть не что иное, как смело и последовательно высказанное исповедание того, чем некогда жили, как смутным чувством, мы все»<sup>29</sup>.

В самом деле, Герцен в сороковых годах, ни в коей мере не отрицая общественных связей личности, делал ставку на активность человека, устремлявшего свою волю и разум к коренному преобразованию русской жизни. Герцен преувеличивал отчасти значение индивидуальности, когда считал основой исторического прогресса «стремление сохранить нравственную самобытность своей личности» (II, 154). Об этом он писал в очерке «Несколько замечаний об историческом развитии чести» (1848), в «Капризах и раздумье», в «Письмах об изучении природы» — «нравственный мир настолько свободен от внешней необходимости, насколько совершеннолетен, т. е. сознателен» (III, 302). Та же мысль звучала и в художественных произведениях Герцена, в «Кто виноват?», например, где Бельтов и Круциферская воплощали веру автора в безграничные возможности человеческой природы<sup>30</sup>.

А. Григорьеву чужд был призыв Герцена и Чернышевского к радикальному изменению существующего общественного строя. Но в герценовской концепции человека он ощутил созвучие своим размышлениям о нравственной свободе личности, своим упованиям на «личную совесть мирозерцания» как главный регулятор отношений между людьми. Вот почему именно теперь Григорьев признал историческую заслугу русского и европейского романтизма, выявившего роль субъективного начала в жизни и литературе. Знаменательно, что в это же время он одобрительно отзывался о бунтарском духе

<sup>28</sup> См. письмо А. Григорьева А. Н. Майкову от 9 января 1858 г. — В кн.: А. А. Григорьев. Материалы для биографии, Пг., 1917, стр. 215.

<sup>29</sup> А. А. Григорьев. Материалы для биографии, стр. 239. «Письма об изучении природы» с большим интересом и сочувствием читали в сороковых годах будущие друзья А. Григорьева — Т. Филиппов, Е. Эдельсон, Островский. См. об этом в кн.: В. А. Бочкарев. К истории молодой редакции «Москвитянина». — Учен. зап. Куйбышевского пед. и учит. ин-та, 1942, вып. 6.

<sup>30</sup> Подробнее о позиции Герцена см. в кн.: Т. Усаккина. Петрашевы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Изд. Саратов. ун-та, 1965, стр. 90, 91, 101.

лермонтовского Печорина в противовес «безличному» Максиму Максимовичу, предупреждал против поэтизации пушкинского «кроткого и смиренного» Ивана Петровича Белкина, а в самом начале шестидесятых годов особо выделил «по глубине мысли и энергии протеста» «Кто виноват?» Герцена<sup>31</sup>.

Субъективный фактор Григорьев решительно включал и в свое понятие прекрасного. По собственному признанию в статье «О правде и искренности в искусстве», он «подкапывался» тем самым «под основания великолепной, хотя весьма зыбкой постройкой, сооруженной покойной Гегелевскою эстетикой на двух фундаментах: субъективности и объективности с широким проездом между обоими»<sup>32</sup>.

Критик полагал, что Гегель недостаточно подчеркнул связь субъективного и объективного начал в искусстве, отдав предпочтение «художественной объективности». Так, вспоминая об эпохе «Зеленого наблюдателя» <«Московского наблюдателя»> в деятельности Белинского, когда он «говорил абстрактным языком Гегеля», А. Григорьев не без основания отмечал известную односторонность во взглядах критика, считавшего тогда субъективность главным критерием художественности: «Меркой литературы стала художественность: под художественностью же разумелась только объективность <...>. Название поэта субъективным было тогда названием ругательным»<sup>33</sup>.

Свою концепцию Григорьев излагал следующим образом: «Тип, каков бы он ни был, есть уже прекрасное. <...> Переносясь в явления для создания из них типа, художник, если только он художник, вносит свет *своей* правды, *своего* идеала»<sup>34</sup>, ибо «что б ни выражал человек, он выражает только самого себя; чтоб ни созерцал он — он созерцает не иначе, как через призму своего внутреннего мира»<sup>35</sup>. Вряд ли можно видеть в этих словах только следы романтической концепции ис-

---

<sup>31</sup> А. Григорьев. Литературная критика, стр. 124, 182, 271, 347 и др. В самом начале пятидесятых годов критик не принимал протеста, «исходившего из личных оснований», и поэтому осуждал лермонтовскую традицию, «Кто виноват?» и произведения «натуральной школы». См. об этом: А. Скафтымов. Белинский и драматургия Островского. — В кн.: А. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратовское книжное изд., 1958, стр. 128—149; Б. Егоров. Аполлон Григорьев — литературный критик. — В кн.: А. Григорьев. Литературная критика, стр. 24—25.

<sup>32</sup> А. Григорьев. Соч., т. I, стр. 130.

<sup>33</sup> А. Григорьев. Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики. — «Время», 1861, № 3, стр. 46, 28. Ср. Замечания об отношении современной критики к искусству. — В кн.: А. Григорьев. Полн. собр. соч., под ред. В. Спиридонова, т. I, Пг., 1918, стр. 236.

<sup>34</sup> А. Григорьев. О правде и искренности в искусстве. Соч., т. I, стр. 187.

<sup>35</sup> А. Григорьев. Критический взгляд... — В кн.: А. Григорьев. Литературная критика, стр. 153.

куства<sup>36</sup>. И по содержанию, и по формулировке они разительно напоминают тезис, восходящий к антропологической теории познания, разделявшейся и Чернышевским<sup>37</sup>.

Опираясь на эту теорию, Чернышевский отвергал трактовку прекрасного у Гегеля, «подводившего все человеческие стремления под абсолют». Критик-демократ утверждал: «Мы бескорыстно любим прекрасное», «в нем есть что-то милое, дорогое нашему сердцу», «прекрасное — это «жизнь, какова должна быть она по нашим понятиям» (II, 9, 10). Отсюда вытекала центральная для Чернышевского мысль о необходимом включении в искусство авторской эстетической оценки явлений жизни, отображенных в нем. Таким образом формулировалось учение о «приговоре» художника действительности и «новом значении произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека» (II, 86).

«Нравственность» литературы Григорьев также связывал с ее особенностью — эстетической характеристикой, которую получают жизненные факты в художественных произведениях, являющихся, по его словам, «судом над жизнью». «В правде — нравственность искусства», — утверждал Григорьев, разъясняя понятие «правда» как диалектическое единство типического воспроизведения «жизни» и «личной правды» художника, его «миросозерцания».

Расхождение с Чернышевским касалось самого способа воплощения «приговора». Чернышевский оправдывал вторжение элементов «дидактики», «голо отвлеченных мыслей» в художественное повествование, допуская в своей диссертации смешение научных и художественных форм познания. Восставая против «назидательного», «поучительного» искусства, А. Григорьев решительно полемизировал с точкой зрения Чернышевского как «утилитарной», «теоретической». Впрочем, и

---

<sup>36</sup> Трудно согласиться с распространенным мнением, будто А. Григорьев является приверженцем «иррациональной философской и эстетической теории» (См.: В. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы, стр. 233. Ср. Б. Ф. Егоров. А. Григорьев. Литературная критика, стр. 20). Позиция критика сложнее. В середине пятидесятых годов принцип «бессознательности творчества» противоречиво соединялся в его статьях с суждением об искусстве как о «суде над жизнью» («О правде и искренности...»). А несколькими годами позже, в «Критическом взгляде» (1858), А. Григорьев уже без всякого оговорок утверждал: «Великого художества без великого разума я не понимаю». — А. Григорьев. Литературная критика, стр. 128, 143 и др.

<sup>37</sup> «*Similis simili gaudet*», поэтому нам, существам индивидуальным, не могущим перейти за границы нашей индивидуальности <...>, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности» (II, 47). Ср. Л. Фейербах: «Какой бы объект мы ни познавали, мы познаем в нем нашу собственную сущность; что бы мы ни осуществляли, мы в этом проявляем самих себя». (Л. Фейербах. Избранные философские произведения, т. II, М., 1955, стр. 35).

Григорьев в конце 50-х годов признал известную полезность «дюжинных произведений, возбуждающих в мыслителе вопросы, весьма важные своею связью с органическими плодами жизни»<sup>38</sup>. Но подобные произведения критик относил к «письменности», отделяя ее от подлинно художественной литературы. Здесь Григорьев, очевидно, следовал за Белинским той поры, когда он противопоставлял «беллетристику» искусству.

### 3

Высказывания Чернышевского о литературно-теоретических суждениях А. Григорьева в 50—60-е годы дополнительно убеждают в том, что творческие связи критиков при всей их сложности не исчерпывались только спорами и борьбой. Между тем обычно в оценках Чернышевского на первый план выдвигался момент полемический: «Чернышевский судил о позиции Григорьева как полемист, стремившийся нащупать и подчеркнуть слабости противника и совсем не ставящий перед собой задачи всесторонней оценки его программы и противоречий идейно-творческих исканий»<sup>39</sup>.

Действительно, Чернышевский отвергал славянофильские «романтические» крайности общественно-философских и литературно-эстетических воззрений А. Григорьева, когда в «Очерках поголевского периода» писал о «странных обольщениях» его<sup>40</sup>. Но при этом критик-демократ сочувственно отделял программу А. Григорьева от враждебных «Современнику» литературно-теоретических направлений: и от романтической эстетики (вроде шевыревской), и от теоретических построений Дружинина.

Иронизируя над «произвольностью фантазий» романтика шеллингианского толка С. Шевырева, выступавшего против реализма Пушкина, Гоголя и «натуральной школы», Чернышевский предупреждал, что из «характеристики образа понятий» его «не должно выводить никаких суждений о «новом Москвитянине», который был органом А. Григорьева». (III, 76—77).

Позднее, в «Полемических красотах» Чернышевский противопоставил Григорьева эстету Дружинину, когда говорил об эклектизме «Отечественных записок», не видящих разницы между обоими критиками (VII, 734. Ср. также письмо Н. Г. Чернышевского Тургеневу 1857 г., XIV, 345).

«В самых странных тирадах» А. Григорьева, по Чернышевскому, «виден ум живой, энергичный и искреннее, горячее увлечение тем, что представляется ему истинною» (III, 44). Оценка

<sup>38</sup> А. Григорьев. Критический взгляд... — А. Григорьев. Литературная критика, стр. 114—115.

<sup>39</sup> М. Г. Зельдович. Чернышевский и проблемы критики, стр. 124.

<sup>40</sup> Подробнее об этом см. в названной работе М. Г. Зельдовича.

не развернута. Но она давала понять читателю, что в литературных представлениях А. Григорьева есть стороны, заслуживающие одобрения передовой критики.

Примечателен тот факт, что Чернышевский обошел молчанием статью «О правде и искренности», помещенную в «Русской беседе» (1856, т. 3). Характеризуя в «Заметках о журналах» (декабрь, 1856) содержание и направление этого славянофильского органа, Чернышевский писал: «В «Русской беседе» мы до сих пор не могли найти ничего такого, с чем бы можно было согласиться, потому что не могли найти ровно ничего сколько-нибудь ясного» (III, 296). Весьма вероятно, что эта общая неодобрительная оценка в какой-то мере относилась и к статье А. Григорьева, в частности, к тем ее положениям, которые были неприемлемы для Чернышевского (о них уже говорилось выше). Но с другой стороны, Чернышевский, очевидно, не считал необходимым повторять свое мнение о критике, оценка которого совсем недавно дана была в «Очерках гоголевского периода».

В дальнейшем, в шестидесятые годы, в пору ожесточенной литературно-общественной борьбы, почвеннические увлечения А. Григорьева неоднократно высмеивались демократической журналистикой: и «Искрой», и «Современником»<sup>41</sup>.

Тем не менее «Современник» сочувственно откликнулся на смерть А. Григорьева. В 1864 г. М. Антонович в отзыве на воспоминания Н. Страхова о А. Григорьеве характеризовал последнего как одного из крупных критиков пятидесятих-шестидесятих годов. Кроме того, в заметке М. Антоновича перепечатан был полностью и без комментариев «Краткий послужной список» А. Григорьева, где содержались такие строки: «В 1856 г. я явился в «Современнике» с прозвищем пронизательнейшего из наших критиков»<sup>42</sup>. Какой именно отзыв имел в виду А. Григорьев, установить трудно. Можно предположить, что речь шла об эпизоде приглашения его в «Современник» в 1856 г. В. Боткиным и А. Дружининым. Но приглашение не состоялось. В печати ни тот, ни другой не аттестовали в это время А. Григорьева. Не исключена возможность, что последний намекал на высказывания о нем Чернышевского в «Очерках гоголевского периода» (1856). Во всяком случае слова А. Григорьева, перепечатанные в «Современнике» шестидесятих годов без всякого пояснения, могли быть восприняты читателем тех лет как свидетельство объективного признания журналом деятельности критика в предшествующее десятилетие.

В этой же связи немаловажное значение приобретал факт публикации в 1856 г. в «Полярной звезде» (кн. II) Герцена

<sup>41</sup> Ср. памфлетную характеристику А. Григорьева — в лице Подоплекина Африкана — в повести П. Ковалевского «Непрактические люди». — «Современник», 1864, № 11—12.

<sup>42</sup> «Современник», 1864, ноябрь — декабрь, стр. 112.

двух бесцензурных политических стихотворений А. Григорьева сороковых годов — «Когда колокола торжественно звучат» и «Нет, не рожден я биться лбом» — с следующим подстрочным примечанием: «К стихотворениям наших великих поэтов <Пушкина, Рылеева. — Г. А.> присовокупляем еще некоторые, читатели поймут, почему мы не называем сочинителей» (XII, 456). Упоминание на страницах передового демократического органа произведений, отражавших социалистические симпатии автора, косвенно характеризовало его как деятеля, в чем-то близкого к лагерю прогрессивной общественности, к которой принадлежали и Герцен, и Чернышевский.

Высказывания А. Григорьева о Чернышевском в свою очередь не были однозначными. Даже в пору наиболее острой борьбы с общественной и литературной программой «Современника», уже в шестидесятые годы, Григорьев, нападая на «утилитаризм» диссертации Чернышевского, в то же время замечал, что его собственный взгляд на искусство «вовсе не так непримирим с тем, что в утилитаризме есть живого и для жизни нужного»<sup>43</sup>.

Любопытным комментарием к этой мысли критика является его оценка статьи В. Майкова о Кольцове, близкой по своим теоретическим принципам к основным положениям «Эстетических отношений» Чернышевского<sup>44</sup>. Так, характеризуя направление «Отечественных записок» после ухода из журнала в 1846 г. «гениального жреца» Белинского, А. Григорьев писал: «Понес оракул вздор» — сначала довольно умный в роде рассуждений о политической экономии по поводу Кольцова»<sup>45</sup>.

«Вздор» — это, очевидно, иное, чем у Белинского, понимание специфики искусства, сближение художественного изображения действительности с естественнонаучным изучением ее. В то же время А. Григорьеву импонировали, вероятно, те «умные вещи», которые развивал В. Майков в «рассуждениях о политической экономии по поводу Кольцова». Это защита реалистической полноты содержания искусства, охватывающего «оттенки и отливы цветов, изломы и изгибы линий, словом, все разнообразие жизненного процесса»<sup>46</sup>. Это и формулированная в соответствии с антропологическим пониманием искусства мысль о значении субъективного начала в прекрасном: «Каждый из нас познает и объясняет себе все единственно по

<sup>43</sup> А. Григорьев. Нигилизм в искусстве. — «Время», 1862, № 8, отд. Критическое обозрение, стр. 59. В письме к Н. Страхову от 12 декабря 1861 г. он говорил, что над теорией Чернышевского «нельзя упражняться в цинизме» (А. А. Григорьев. Материалы для биографии, стр. 286).

<sup>44</sup> Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX в., гл. 5.

<sup>45</sup> А. Григорьев. Русский театр в Петербурге. — «Эпоха», 1864, № 3, стр. 224.

<sup>46</sup> В. Майков. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 8.

сравнению с самим собой»<sup>47</sup>. И вытекающее отсюда требование «приговора» художника действительности.

Знаменательно то, что одновременно Григорьев отделял свою концепцию искусства от романтической, «трансцендентальной», как он ее называл: «Я никогда не могу идти <...> последовательно по пути этого трансцендентализма ни в жизни, ни в мысли, когда дело дойдет до приложений мысли к явлениям — каким бы то ни было — хотя бы даже литературным»<sup>48</sup>.

Все сказанное позволяет утверждать, что литературно-теоретические принципы А. Григорьева в пятидесятые годы создавались не только в полемике, но и в относительном соответствии с некоторыми положениями эстетики Чернышевского и философскими принципами Герцена. Общность обнаруживалась в решении вопросов о природе прекрасного, о предмете, содержании и методе искусства. Сверяя свои выводы с эстетикой Гегеля, Григорьев, как и теоретики демократического лагеря, ценил ее реалистические тенденции. Критикуя одновременно гегелевское отвлеченное определение прекрасного, он разделял главную мысль Чернышевского о том, что прекрасное необходимо включает в себя авторскую, эмоционально-эстетическую оценку явлений жизни, отраженных в искусстве. В какой-то мере Григорьеву не чужд был антропологический взгляд на человека и литературу, хотя содержание этого взгляда не совпадало с социальной антропологией Чернышевского. Отстаивая нравственную самобытность личности как источник прогресса, Григорьев оказывался ближе к Герцену.

Выявление сложных творческих связей Григорьева с передовой критикой пятидесятых годов требует уточнения и дальнейшего исследования вопроса об идейно-философских источниках и содержании литературной теории «почвенников» в их соотношении с литературно-общественной программой не только Чернышевского, но и Герцена.

<sup>47</sup> В. Майков. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 25.

<sup>48</sup> А. Григорьев. Беседы с Иваном Ивановичем. — «Сын Отечества», 1860, № 6. Ср. А. Григорьев. Воспоминания, стр. 292.

## ПИСЕМСКИЙ И РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КРИТИКА

Вопрос об отношении критиков революционно-демократического лагеря к творчеству А. Ф. Писемского изучен далеко не во всех своих аспектах. Исследователи уделяют преимущественное внимание двум моментам данной проблемы: а) борьбе революционных демократов в лице автора специальной статьи об «Очерках из крестьянского быта» — Чернышевского — с «эстетической» критикой, пытавшейся противопоставить писателя гоголевскому направлению<sup>1</sup>; б) взаимоотношениям Писемского и Герцена<sup>2</sup>. Не установлен и не обследован полный состав откликов передовой критики на творчество Писемского до и после «безрыловской» истории, не достигнуто единодушие в толковании некоторых из них (например, отзыва Добролюбова о романе «Тысяча душ», его же и Салтыкова-Щедрина — о «Горькой судьбине»).

<sup>1</sup> А. А. Рошаль. Творчество А. Ф. Писемского в 40-е — 50-е годы. Канд. диссертация, Баку, 1946; Н. С. Оганян. К вопросу оценки творчества А. Ф. Писемского русской литературной критикой. — «Научные труды Ереванского госуниверситета», т. 70, серия филолог. наук, вып. 7, ч. I, 1960; см. также работы П. Н. Беркова, М. К. Клемана, И. А. Мартынова, Н. И. Пруцкова (они учтены и сжато охарактеризованы в статье Н. Н. Грузинской «Об изучении мировоззрения и метода А. Ф. Писемского в советском литературоведении». — Учен. зап. Томского ун-та, № 48, 1964, стр. 107 и след.). См.: М. П. Еремин. Выдающийся реалист. — В кн.: А. Ф. Писемский. Собр. соч., в 9-ти тт., т. I, М., 1959, стр. 14—15, а также примечания В. А. Малкина к «Очеркам из крестьянского быта» во 2-ом томе указ. изд., стр. 556—557.

<sup>2</sup> Б. Козьмин. Писемский и Герцен. К истории их взаимоотношений. — «Звенья», 1950, VIII; А. Могилянский. Новые данные для характеристики отношений Писемского к Герцену. — «Русская литература», 1966, № 1; П. Пустовойт. К вопросу об отношении А. Ф. Писемского к А. И. Герцену. — «Русская литература», 1967, № 1; А. А. Рошаль. Писемский и революционная демократия. Лондонская встреча Писемского с Герценом. — Учен. зап. Азербайджанского пед. ин-та языков, сер. XII, № 4, 1967.

Можно согласиться с выводом Н. Н. Грузинской — «в нашем литературоведении» «неполно и противоречиво» изучены отзывы критики 1850—1870-х гг. об А. Ф. Писемском<sup>3</sup> с той, впрочем, существенной оговоркой, что сами суждения демократической критики о Писемском не однозначны: они включают в себя различные, порою не лишённые противоречий моменты.

Факты разноречий в оценках творчества писателя у ведущих критиков революционно-демократического лагеря — Чернышевского, Добролюбова и Писарева — не привлекли надлежащего внимания исследователей, хотя нуждаются в самом тщательном изучении. Задачи настоящей статьи определены означенным аспектом проблемы; это повлекло и соответствующие ограничения. Творчество Писемского в оценке Чернышевского, Добролюбова и Писарева до 1861 года — года смерти Добролюбова и «безрыловского» инцидента, существенным образом изменившего прежние «беспристрастные» отношения деятелей «Современника» и «Русского слова» к писателю, — так конкретизируется тема данной работы.

## 1

Ко времени написания известной рецензии на отдельное издание «Очерков из крестьянского быта» («Современник», 1857, № 4) Чернышевский, по-видимому, в общем определил свое отношение к автору реалистического «Тюфяка» и ряда произведений, напечатанных непосредственно на страницах «Современника» («Богатый жених» — 1851; «Леший» — 1853; «Фанфарон» — 1854; «Винювата ли она?»<sup>4</sup> — 1855), острокритической, отличающейся «достоинством концепции» (IV, 960) «Старой барыни». Не обманываясь на счет истинного характера общественно-литературной позиции писателя, откровенно сторонившегося революционной демократии, не испытывавшего предубеждений против теории «чистого» искусства, Чернышевский в то же время отдавал должное большому художественному дарованию Писемского, реалистической природе его образов и картин. Следует отметить, что Чернышевский-критик, высоко ставивший в литературном произведении «тенденцию», умел понимать и чувствовать его собственно художественную сторону, его «поэзию», — вспомним известное письмо к Некрасову от 5 ноября 1856 г. И в случае с Писем-

<sup>3</sup> Н. Н. Грузинская. Об изучении мировоззрения и метода А. Ф. Писемского в советском литературоведении. — Учен. зап. Томского ун-та, № 48, 1964, стр. 107.

<sup>4</sup> Обосновывая «естественность» для русской речи трехсложных стиховых размеров во 2-ой статье «Сочинения Пушкина. Изд. П. В. Анненкова» (1855), Чернышевский использовал в качестве примера отрывок из этой повести. — Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., тт. I—XVI, М., Гослитиздат, 1939—1953, т. II, стр. 470—471; в дальнейшем все цитаты даются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте статьи.

ским критик выносил свои оценки «вовсе не исключительно с политической точки зрения» (XIV, 323).

Крупные масштабы таланта писателя не вызывали сомнений у Чернышевского. Он нередко ставит имя Писемского в один ряд с известнейшими литературными именами той поры. Так, в неопубликованной в свое время статье о Гоголе — «заготовке» к «Очеркам гоголевского периода...» — читаем: «...Не только о Гоголе не была в силах сказать ничего замечательно-го критика последних годов — что дельного и нужного успела она сказать о гг. Григоровиче и Писемском, о гг. Полонском, Фете или Щербине?» (III, 771). В «Заметках о журналах» («Современник», 1857, № 2) имя Писемского вновь «окружено» громкими именами Тургенева, Григоровича, Островского и вновь отмечается отсутствие «надлежащей» критики о них (IV, 696).

Выход в свет романа «Тысяча душ» (1858), не вызвавшего особого восторга у некоторых из близких Чернышевскому людей (в частности у Добролюбова), не ослабил его доброжелательного внимания к писателю. В «Замечаниях на доклад о вредном направлении всей русской литературы вообще и «Военного сборника» в особенности, составленный г. военным цензором полковником Штюмером» (конец 1858 г.), Чернышевский, пусть и не без полемических целей, очень высоко аттестует «Тысячу душ» и их автора: русская публика «с громким одобрением приняла превосходный роман одного из первых писателей нашего времени» (V, 455). И позже, в период создания «Антропологического принципа в философии», вождь революционной демократии продолжает квалифицировать Писемского как одного из «лучших... нынешних наших беллетристов», талант которого хотя и не равен гоголевскому, но «далеко не дюжинный» (VII, 229).

«Безрыловская» история, несомненно, внесла свои коррективы в отношении Чернышевского к писателю. Известно, что он вместе с другими сотрудниками «Современника» подписал письмо в поддержку выступления «Искры» (1862, № 5) против Писемского. Однако вскоре Чернышевский подвергся аресту, его связи с общественно-литературным движением были сильно прерваны, и документированных свидетельств относительно «переоценки» Писемского, ее степени и характера у нас нет.

Примечательно, что в позднейшем письме к О. С. Чернышевой, А. Н. Пыпину и сыновьям от 2 апреля 1882 г., вспоминая, по обстоятельствам, о петербургских и московских «литературных знаменитостях» (и отмечая чисто деловой характер своих отношений с большинством из них, за исключением Добролюбова и Некрасова), Чернышевский называет среди «той плеяды» — Тургенев, Достоевский, Л. Толстой, Островский — и имя Писемского (см. XV, 353).

Отклик Чернышевского на «Старую барыню», непосредственно предшествовавший статье об «Очерках из крестьянского быта», во многом показателен для позиции критика. Несомненно, что Чернышевского привлекла прежде всего критическая направленность «прекрасной повести» (IV, 720) обличения «дирижирующего» помещичьего сословия.

Оценив как несомненную удачу писателя колоритные образы гоф-интендантши Пасмуровой, в своей сословной надменности и властности доходящей до бесчеловечия, и ее «верного слуги» Якова Иванова — «фанатика челядинства» (IV, 722), критик значительное внимание уделил собственно художественной стороне рассказа. (Забегая вперед, скажем, что и в рецензии на «крестьянские» рассказы Чернышевский предпринял подобное *эстетическое* отступление, демонстрируя умение «реальной» критики понимать художнические тонкости и одновременно как-то считаясь с «эстетической»<sup>5</sup> ориентацией Писемского). Говоря, что «рассказ превосходен» (IV, 721), Чернышевский отмечает лишь один недостаток повествовательного строя «Старой барыни»: несколько искусственно, по его мнению, поддерживается самая нить изложения посредством провоцирующих «встреваний» Грачихи: «...кажется, будто рассказ продолжается не потому, чтобы мог в самом деле продолжаться, а только по намерению автора дослушать его насильно натягивается его продолжение... Писатель не довольно скрылся в слушателе» (IV, 721). Как указывает комментатор, Чернышевский не соглашался здесь с мнением критика «С.-Петербургских ведомостей» П. Б. <асистовым>, который, считая частным недостатком повествовательной манеры Писемского некоторую «простоту рассказа, до излишества, до бесцеремонной вставки собственного «я», не находил этого недостатка в «Старой барыне» (см. IV, 908).

Трудно судить, согласился ли автор рассказа с наблюдением Чернышевского. Незначительная стилистическая правка — в том числе и некоторое сокращение ремарок рассказчика — при включении «Старой барыни» в собрание сочинений (1861)

---

<sup>5</sup> Термин Писемского (см. его письмо к А. Н. Островскому от 6 октября 1857 г. — А. Ф. Писемский. Письма. М.—Л., Изд. АН СССР, 1936, стр. 110). Нельзя признать удачными попытки некоторых исследователей как-то «улучшить» теоретико-литературную позицию Писемского, выдать его отдельные отрицательные замечания (в письмах, где действуют свои «законы») о персональных просчетах представителей «эстетического» лагеря (в частности, Анненкова; заметим, что письмо адресовано в этом случае... А. Н. Майкову) за чуть ли не принципиальное противостояние этому лагерю.

На нежелательность такого рода натяжек в свое время справедливо обратил внимание М. Гин. — См.: «Вопросы литературы», 1960, № 10, стр. 213, 216.

могла быть предпринята писателем и помимо указанного замечания. Скорее всего, писатель остался при своем мнении, сохранив весьма важные в художественном отношении «вмешательства» Грачихи и как средство объективации авторской идеи, и как своеобразный сюжетный «фермент» (собственно, Чернышевский и требовал лишь большей естественности и мотивированности их).

Другое замечание критика «Современника» касалось не совсем определенно выставленного в рассказе «отношения деда к внуку» (IV, 722). В трагической судьбе последнего Чернышевский усматривал аналогию пасмуровской истории: «В этой гибели виноват дед, — пропиталась его душа правилами интендантши, и на его любимце отразились эти правила той же судьбою, как на внуке гоф-интендантши, и он на старости лет понес ту же кару, ту же скорбь, как она» (IV, 722). Предлагая эту «догадку» (IV, 721) и оставляя последнее слово за автором, Чернышевский высказался в том смысле, что Писемскому необходимо было «сделать одно из двух: или хотя двумя-тремя словами определить характер участия Якова Иванова в гибели внука», или, если подобная параллель не входила в писательские расчеты, «изменить несколько фраз, заставляющих видеть такое отношение» (IV, 722).

Справедливость данного замечания, возможно, и не вызвала особых сомнений писателя: однако практическое осуществление его, требовавшее дополнительных «затрат» на рассказ, который и в этом виде был восторженно принят многими авторитетными литераторами<sup>6</sup>, могло показаться Писемскому неудобноисполнимым. К тому же раскрытие взаимоотношений деда и внука грозило повлечь за собой некоторую дефокусировку рассказа, а полное устранение «параллели» явно снижало его идейно-художественную выразительность. Известная неопределенность могла устраивать Писемского еще и потому, что она надежно разводила с открыто-логическими, «мозговыми», как любил говорить писатель<sup>7</sup>, решениями, которыми способна была обернуться внятно заявленная аналогия.

Как отмечалось выше, у Чернышевского не было причин преувеличивать сознательно-передовое начало в мировоззрении писателя: между Писемским и революционно-демократическими кругами никогда не было, да и не могло быть идейной близости (об этом будет достаточно ясно сказано в рецензии на «Очерки...»). И тем не менее критик «Современника», хорошо представляя себе объем дарования автора «Старой ба-

<sup>6</sup> См. отзывы Л. Толстого и А. Дружинина в кн.: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 908, комментарии.

<sup>7</sup> См., например, его письмо к А. Н. Островскому от 30 марта 1857 г. — А. Ф. Писемский. Письма, стр. 109.

рыни» и «Очерков...», не отмахивается от писателя, стараясь по возможности направить развитие его таланта в прогрессивное русло критико-реалистической «гоголевской» школы. В этом случае более широко, чем Добролюбов, смотря на вещи, Чернышевский не встал на путь игнорирования творчества крупного художника и там, где это не затрагивало его главных принципов и убеждений, тактически гибко шел навстречу писателю. Примечательна сдержанность Чернышевского, его осторожность в части собственно критических суждений об авторе «Старой барыни». Ее обнаруживаешь, сопоставляя заключительные строки печатного текста и рукописи. В печатном тексте: «А какая правда в самом рассказе! Как соблюден характер старины и в языке и в понятиях! «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке эта повесть, бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским» (IV, 722).<sup>\*</sup> В рукописи: «...в языке и в понятиях! Из последних повестей г. Писемского немногие были совершенно удачны; по общему мнению, первые его произведения — «Тюфяк», «Мари Стулицына», «Питерщик» — до сих пор оставались лучшими его произведениями. «Старая барыня» решительно не ниже этих произведений [а по выдержанности и силе колорита и по достоинству концепции, быть может, выше их]» (см. IV, 960). Нельзя не признать, что это место исправлено критиком в пользу писателя.

Отклик Чернышевского на отдельно изданные «крестьянские» очерки Писемского не случайно рассматривают в прямой связи со статьей о них А. В. Дружинина («Библиотека для чтения», 1857, т. 141), которая явилась продолжением полемико-«эстетической» интерпретации творчества писателя, намеченной в более ранних по времени выступлениях как самого Дружинина<sup>8</sup> (см. ниже), так и его единомышленников (см.: П. Анненков. По поводу романов и рассказов из простонародного быта. — «Современник», 1854, т. 43, № 2 и т. 44, № 3). Статья эта представляла собой одно из практических приложений отвергаемой критиками-демократами теории «чистого искусства».

Уже в статье 1854 года «Повести и рассказы А. Ф. Писемского» Дружинин ориентировал писателя на «независимый» от гоголевского направления путь, огорчаясь «пристрастием господина Писемского к литературным теориям псевдореальной

<sup>8</sup> Полемика между Чернышевским и Дружининым ко времени отдельного издания «крестьянских» очерков Писемского уже имела свою историю. Некоторые моменты ее, относящиеся к начальной стадии, освещены в специальной статье А. А. Демченко «Из истории полемики Н. Г. Чернышевского с А. В. Дружининым». — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. IV, изд. Сарат. ун-та, 1965, с. 83—92.

или ложно-художественной школы»<sup>9</sup>. «Плодами этого при- страстия у г. Писемского были герои, заимствованные у Гого- ля, интриги, которых ничтожность наводила досаду, патетич- ные места по известной мерке, художественные диссертации, будто почерпнутые из старых журнальных «обзрений лите- ратуры»<sup>10</sup>. Дружинин не принял «Тюфяка» и «Комика» имен- но за то, что автор их «с своим несомненно самостоятельным талантом шел по чужим следам и по чужой дороге»<sup>11</sup>.

Там же Дружинин провозгласил обнадеживающий сторон- ников «независимого» творчества поворот «в манере» и «на- правлении» писателя, связав его как раз с «простонародны- ми» рассказами. Критик настойчиво убеждал читателя, и в первую очередь писателя, что неоспоримое достоинство их — в «чрезвычайной» простоте и безыскусственности, в «истине», заявленной свободным от «подражаний» художником-наблю- дателем<sup>12</sup>.

С подъемом, не исключаяющим тактического расчета, Дру- жинин заявит здесь о превосходстве Писемского над литера- торами, «когда-либо рисовавшими сцены из народного бы- та»<sup>13</sup>. Одновременно, желая уберечь писателя от «влияний», он намекнет на неспособность *остальной* критики сказать что- либо стоящее художнику: «Журнальная критика не дала ему ни одного дельного совета, а напротив того, сделала все воз- можное для того, чтобы запутать теории романиста»<sup>14</sup>.

В специальной статье об «Очерках из крестьянского быта» Дружинин твердо и убежденно провозгласит Писемского «ан- тагонистом» критики «гоголевского периода», художником, достойным вместе с Островским и Л. Толстым «зваться новей- шим представителем школы чистого и независимого творчест- ва»<sup>15</sup>. По словам критика, Писемский решительно отверг обя- зательную критическую установку и самые формы гоголевской школы («...г. Писемский наносит смертный удар старой по- вествовательной рутине, явно увлекавшей русское искусство к узкой, дидактической и, во что бы то ни стало, мизантропи- ческой деятельности»)<sup>16</sup>.

Прежнюю свою оценку Дружинин признает вполне спра- ведливой, хотя и небыстречной в том отношении, что недоста- точно было сказано о «пользе, принесенной этим дарованием по части противодействия старым дидактическим теориям ста- рой критики»; «мы не отдали всей справедливости великому

<sup>9</sup> «Библиотека для чтения», т. 123, 1854, ч. II, стр. 45.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же, стр. 48.

<sup>12</sup> См. там же, стр. 64.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же, стр. 70.

<sup>15</sup> Там же, т. 141, 1857, стр. 7.

<sup>16</sup> Там же, стр. 8.

знанию автора и его могучей, *беспристрастной* наблюдательности, навсегда отделявшей его от сентиментальности воззрения на жизнь простого человека»<sup>17</sup>.

Отмечая у писателя «глубокое знание простонародной жизни», «легкость и прелесть творчества», «чистоту воззрения», Дружинин особо выделяет объективный строй его повествований, предусматривающий «раздельное» существование автора-интеллигента и героя-простолюдина, исключаящий неуместную здесь, по мнению критика, стилизацию, перевоплощение в мужика-рассказчика<sup>18</sup>.

Дружинин не согласен с теми, кто склонен считать недостатком писателя его «бесстрастное воззрение» на изображаемое. Герои Писемского, «постановка» их, по критику, соотнесены с жизненной правдой, а не с готовыми «сатирико-сентиментальными» рецептами. Так, Клементий («Питерщик») в финале рассказа преуспевает, не являя собой непременно «жертвы», а кокинский исправник («Леший»), добропорядочный и деятельный, совсем не похож на держимордовскую фигуру. В объективности писателя, подчеркивает рецензент, его сила, а не слабость.

Дружинин считает необходимым оговорить тот факт, что он ратует за искусство, свободное от «дидактики», а не от «жизни». Искусства, «отрешенного от жизни», «бесцветного и бесцельного», «не существует на свете»<sup>19</sup>. В том-то и достоинство «простонародных» этюдов Писемского, настаивает критик, что, «значительно прибавляя массу всесторонних сведений о быте простого человека в России», «они выводят нас из душного мира умствований и заключений а priori в мир ясного анализа и живых наблюдений»<sup>20</sup>.

Дружинин был не одинок в попытках наставить Писемского на «истинный», *эстетический* путь. Во многом с ним сходился П. В. Анненков: та же ориентировка на саму «жизнь», а не на «литературное понимание» ее, тот же призыв соблюдать не зависящую ни от каких «теорий» «верность подлинному типу»<sup>21</sup>. Анненков найдет удачным выбранный Писемским *малый жанр* «простонародных» повествований и похвалит писателя в связи с этим за тонкость «эстетического чувства»<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> «Библиотека для чтения», т. 141, 1857, стр. 12.

<sup>18</sup> Там же, стр. 13—14.

<sup>19</sup> Там же, стр. 35 (по ошибочной журнальной пагинации, — стр. 19). Следует заметить, что связь литературы с жизнью понимается теоретиком «чистого искусства» по-своему, в плане «бесстрастного» созерцания, *беспристрастной* наблюдательности. Идеологическая активность искусства, его общественно-преобразующая функция — то, что удерживала революционно-демократическая эстетика, — не включаются Дружининым в понятие «связи».

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> «Современник», 1854, т. 43, № 2, стр. 57.

<sup>22</sup> Там же, т. 44, № 3, стр. 1.

«Простонародный быт гораздо лучше подчиняется кисти, когда он составляет содержание миниатюры, абриса, эскиза, когда он умален и введен в скромную раму, которую уже надо определять дюймами и линиями»<sup>23</sup>, — провозгласит критик то, что позднее возьмут под сомнение литераторы-демократы<sup>24</sup>.

Перечислив имена писателей, разрабатывавших в русской литературе «простонародную» тему, и разбив их на группы по принципу зависимости от Гоголя, другой критик — «эстетик» — С. Дудышкин в статье «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского относил последнего к наиболее самостоятельным художникам, которые «начали изображать быт таким, каков он есть, не выказывая цели, куда идет автор»<sup>25</sup>. Дудышкин особенно подчеркивал «независимое» направление писателя, «замечательное чисто русское свойство этого таланта»: «Там, где другие наблюдали быт сквозь французскую или немецкую теорию, там г. Писемский распоряжался, как хозяин, как дома»<sup>26</sup>.

Наконец, Ап. Григорьев, который, по словам Боткина, был «во всем несравненно нам <т. е. «эстетикам»> ближе Чернышевского»<sup>27</sup>, сопоставляя «самые блестящие из современных созвездий: Тургенева, Писемского, Гончарова», заявлял: «Из них только Писемский будет свободен от упрека в подчинении себя каким-либо заданным темам...». Он «везде идет от образов, а не от идей»<sup>28</sup>.

Чернышевский резко восстал против этого единодушного в своем многоголосии отлучения Писемского от гоголевских традиций. Вся первая половина его рецензии посвящена дискредитации указанной статьи Дружинина (наиболее программно-декларативной) и его «эстетического» метода в целом<sup>29</sup>. Цель обусловила средства: Чернышевский дразняще-саркастически «проходится» по теоретической и историко-литературной

<sup>23</sup> «Современник», 1854, т. 44, № 3, стр. 20.

<sup>24</sup> Ср. сетование Г. Успенского: «О мужике все очерки, а о культурном обществе романы». (Г. Успенский. Полн. собр. соч., т. VIII, М., Изд. АН СССР, 1949, стр. 362), а также заявление рецензента романа Решетникова «Где лучше?» Салтыкова-Щедрина: «Решетников первый показал, что русская простонародная жизнь дает достаточно материала для романа, тогда как прочие наши беллетристы, затрагивавшие этот предмет, никак не могли выбиться далее коротеньких и малосодержательных рассказов» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Полн. собр. соч., т. VIII, М., Гослитиздат, 1937, стр. 352).

<sup>25</sup> «Отечественные записки», 1856, т. 109, № 12, стр. 75.

<sup>26</sup> Там же, стр. 77.

<sup>27</sup> См. «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 136.

<sup>28</sup> «Москвитинин», 1855, № 15—16, стр. 190—191.

<sup>29</sup> Это констатировал И. Панаев, писавший В. Боткину 31 марта 1857 года: «...В № 4 «Современника» по поводу Писемского Чернышевский» отделал отлично Дружинина, не называя его по имени — умно и дельно» (Цит. по кн.: С. Мельгунов. Ап. Григорьев и «Современник». — «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 135—136).

некомпетентности критика «Библиотеки для чтения», уличает его в элементарном непонимании затрагиваемых вопросов — о новом будто бы слове Писемского в изображении простолюди-на, о якобы дидактической подкладке эстетики Белинского и т. п.<sup>30</sup>, пишет о плохой услуге, которую оказывает автору не в меру усердный защитник («Его повестями вы оправдываете ваши ошибочные понятия о вопросах искусства — какое заключение может иной читатель вывести из гармонии, находя-мой вами между вашими понятиями и повестями г. Писемско-го?» Факт, оправдываемый ошибочною теориею или оправды-вающий ее, сам ошибочен. «Вы назначаете г. Писемскому в развитии литературы место, которое до него уже занято было другими — какое заключение может вывести из этого иной чи-татель? То, что г. Писемский вовсе не занимает никакого ме-ста в развитии нашей литературы. И вот, по прочтении вашей статьи, у многих читателей рождаются мысли, неблагоприятные для произведений г. Писемского» — IV, 562).

После этой компроматационной «преамбулы» вполне ес-тественно следует отказ Дружинину в правильности истолко-вания рецензируемых рассказов (см. IV, 564). Последующий разбор их Чернышевским с нарочитой акцентировкой внима-ния на «мрачных», «теневых» сторонах представленной писа-телем действительности, на «картинах беззакония и разврата, преступлений и плутней» (IV, 568—569) как раз и призван был поставить вне закона дружининский вывод о «примиритель-ном», «отрадном» колорите «Очерков...» «...Кажется, должно быть ясно для всякого, что дело вовсе не таково» (IV, 569). И далее не без полемического увлечения: «...Никто из русских беллетристов не изображал простонародного быта красками более темными, нежели г. Писемский: ...именно о нем надобно сказать, что из-под пера его выходят «мрачные картины пред-намеренно зачерненной действительности», что в нем мы име-ем самого энергического деятеля «узкой мизантропической тен-денции» (IV, 569). Чернышевский пронизательно характеризует сильные и слабые стороны автора «Очерков...». Прежде все-го он отмечает несомненную самобытность дарования писателя, стилевую характерность, которую усматривает в «отсутствии лиризма», в «эпическом тоне» (IV, 570). Признавая, что эта черта «скорее составляет достоинство, нежели недостаток» (IV, 570), критик «Современника» отнюдь не склонен разде-лять дружининский тезис о принципиальном «беспристра-стии» писателя. Он решительно (и одновременно предостере-гающе) опровергает заключение некоторых рецензентов о

<sup>30</sup> Вряд ли в другой обстановке Чернышевский стал бы так подчер-кивать «эстетический» профиль критика Белинского («до сих пор ведь он <Дружинин> и не воображал, что Белинский говорил: «поэзия есть сама себе цель и не имеет внешней цели» и т. д. А Белинский никогда не говорил ничего иного». — IV, 563).

«равнодушный» писателя (напомним, что именно по такому поводу критики-демократы Писарев и Шелгунов «отказались» позже от Гончарова).

По Чернышевскому, отмечаемые у писателя «спокойствие», объективность — это прежде всего категории *поэтики*; это — особая художественная манера, тяготеющая к скрытым формам выражения авторского сознания<sup>31</sup>. «...Чувство у него выражается не лирическими отступлениями, а смыслом целого произведения. Он излагает дело с видимым бесстрашием докладчика, — но равнодушный тон докладчика вовсе не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правую докладчику» (IV, 571).

Чернышевскому понятна, однако, определенная связь между «спокойствием тона» писателя и отсутствием у него того, что было свойственно самому критику — «сильных и твердых убеждений». Автор «Очерков из крестьянского быта» «тем легче сохраняет спокойствие тона, что, переселившись в эту жизнь, не принес с собой рациональной теории о том, каким бы образом должна была устроиться жизнь людей в этой сфере. Его воззрение на этот быт не подготовлено наукою — ему известна только практика, и он так сроднился с нею, что его чувство волнуется только отклонениями от того порядка, который считается обыкновенным в этой сфере жизни, а не самым порядком» (IV, 571). Последующие суждения критика, раскрывающие известную ограниченность писателя, эмпиризм его взгляда на недостатки существующего положения (в этом, по Чернышевскому, Писемский «ближе» к отсталому в своем самосознании «поселянину», нежели «другие писатели», выставляющие менее понятные, но более верные требования коренной перестройки действительности) как раз и поясняют мысль о том, что у Писемского нет «рациональной теории», а не теории вообще<sup>32</sup>. «Он не хлопочет о том, — прибегает к иносказа-

<sup>31</sup> Интересно, что сам Чернышевский вынашивал мысль создать отсутствовавший, по его мнению, в русской литературе «роман чисто объективный», без всякого следа «личных отношений», «личных симпатий», оговаривая тут же большую трудность для него — «человека сильных и твердых убеждений», — писать в бесстрастно-шекспировской манере (см. текст предисловия к одному из неоконченных романов, приводимый в книге В. В. Виноградова «О языке художественной литературы». — М., Гослитиздат, 1959, стр. 140—142).

<sup>32</sup> Отрицая в споре с М. Ереминым наличие у Писемского либеральных иллюзий относительно преобразовательной роли честного чиновника, М. Гин не совсем удачно, на наш взгляд, ссылается на означенные слова Чернышевского, будто бы фиксирующие отсутствие у писателя всякой позитивной (в представлениях последнего) концепции (см. М. Гин. Собрание сочинений А. Ф. Писемского. Рецензия. — «Вопросы литературы», 1960, № 10, стр. 213—214).

нию Чернышевский, — чтобы существующая система сельского хозяйства заменилась другою, приносящею более обильные жатвы; он жалеет только о том, когда бывает неурожай. Он не судит существующего» (IV, 571; в рукописи далее было: «он нападает только на то, что признают вопиющим злоупотреблением самые жаркие приверженцы существующего» — IV, 943).

Дружинин и его единомышленники понадеялись, что из этого должен сам собою проистечь «отрадный» колорит, отсутствие «мизантропической» тенденции (столь характерной для писателей «возмущающихся», «менее уступчивых» — IV, 571). Но они, заключает Чернышевский, обманулись в своих ожиданиях, не приняв в расчет объективного смысла произведений, которые зафиксировали в силу реалистической установки «добросовестного» писателя всю неприглядность существующей системы. Отсутствие передовых, «рациональных» взглядов, политический консерватизм Писемского не лишили его повествований большой обличительной силы, веского критицизма. И далее Чернышевский стремится логически «сыграть» на отмечаемом обстоятельстве, строя свои рассуждения по схеме, невыгодной для писателя, но дающей критику возможность сделать политически острый вывод: если уж «нетребовательный» Писемский замечает аномалии, то более «мрачного» эффекта не приходится искать (в рукописи этот момент прорисован более отчетливо. После слов: «если только писатель добросовестен», там было: «то предлагаемый им отчет производит тем более мрачное действие, чем консервативнее взгляд этого писателя» — IV, 943).

Интересно, что Чернышевский, выступавший в это время с защитой крестьянской общины («Заметки о журналах» — февраль, апрель 1857 г., «Studien Гакстгаузена» — июль 1857 г., «О поземельной собственности» — сентябрь, ноябрь 1857 г.), обошел заметный скепсис по отношению к ней автора «Плотничьей артели».

Писемский никогда не питал особых иллюзий относительно «мира», «артели», видел ее расслоение, классовую подкладку, засилье в ней богатеев — пузичей («Все в кабале у него <Пузича> состоим», — говорит один из героев «Плотничьей артели»<sup>33</sup>) и в пору создания «Очерков...» и позднее (см. характерный спор Бакланова и Собакеева об общине в романе «Взбаламученное море», ч. IV, гл. XIV, а также беседу Бакланова с приказчиком в V части, гл. XVIII)<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> А. Ф. Писемский. Собр. соч. в 9-ти тт., т. 2, М., 1959, стр. 305.

<sup>34</sup> А. Ф. Писемский. Полн. собр. соч., т. 10, СПб. — М., 1895, стр. 49—50, 183 («Что мир! Не дает тоже спуска никому: теперь уж какой бедный, али промотавшийся недоимщик не надейся, шабаш!.. Эта вон, у нашего Гаврюшки, по полтиннику сбор был, не было денег, так послед-

Следует заметить, что при известной правоте своих воззрений на общину Писемский все же ошибался в общих выводах о судьбах русского крестьянства и его исторических потенциях. Не забудем, что пропаганда общинного начала у Чернышевского была теснейшим образом связана с его революционными устремлениями, с мыслью о необходимости перестройки общественных отношений на новых социалистических началах. Скептицизм же Писемского, пусть и во многом правомерный, выражал его неверие в возможность социализации крестьянства, обосновывал мысль об отказе от революционной работы в народе в пользу мирного реформизма. В статье «Две утопии» В. И. Ленин писал: «Ложный, в формально-экономическом смысле, народнический демократизм есть истина в историческом смысле...

...Либеральная утопия отучает крестьянские массы бороться. Народническая выражает их стремления бороться...»<sup>35</sup>

И все же та частная правда о крестьянском «мире», которую заключали в себе трезвые «деревенские» наблюдения писателя-реалиста, не могла не восприниматься Чернышевским, уже в 1857 году утверждавшим, что общинное начало «не есть еще единственное основание», что «нужны другие условия», а именно: *коренные социально-политические преобразования жизни* (см. IV, 436, а также V, 360—361).

Итак, хорошо сознавая идейную «инородность» писателя, Чернышевский тем не менее отдавал должное его таланту, его «блистательной роли» (IV, 570) в развитии русской словесности. Критик «Современника» сумел разглядеть противоречивый характер творчества художника-реалиста, отметив в нем как сильные, так и слабые стороны. Остается фактом, что имя Писемского утвердилось в русской литературе не помимо оценки Чернышевского и не вопреки ей.

## 2

Иную позицию в отношении писателя занял ближайший соратник Чернышевского и его преемник по критическому отделу «Современника» — Н. А. Добролюбов. Правда, в одной из своих дневниковых записей Добролюбов «от души поблагодарил Писемского», помогшего ему повестью «Богатый жених» яснее осознать «все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых», которым он одно время пытался подражать (Д, VIII, 448)<sup>36</sup>. Правда, в «реестре читанных книг» повесть «Богатый

нию овцу со двора стащили да продали», — 183); показательны в этом отношении и некоторые сцены в «Горькой судьбине» (А. Ф. Писемский. Собр. соч. в 9-ти тт., т. 9, М., 1959, стр. 214—219).

<sup>35</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, стр. 120.

<sup>36</sup> Все цитаты приводятся по изданию: Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти тт., М.—Л., «Художественная литература», 1962—1964. — В дальнейшем: (Д., т., стр.).

жених» значит как «замечательное произведение нового таланта», таланта «недюжинного», а в адрес автора сказано: «я решительно полюбил Писемского за один этот роман» (Д., VIII, 402). Но не следует упускать из виду то обстоятельство, что запись в дневнике сделана в начале... 1853 г., а в «реестре» — годом ранее. Было бы явной натяжкой, исходя из этих данных, говорить о «высокой оценке», «признании» Добролюбовым творчества писателя. А между тем в литературе о Писемском наблюдаются некоторые попытки в этом роде. Так, М. П. Еремин, отметив критико-реалистические тенденции в творчестве раннего Писемского (и процитировав вышеуказанную дневниковую запись), сделал следующее заключение: «Поэтому вполне закономерна высокая оценка его произведений раннего периода Чернышевским, Добролюбовым и Писаревым»<sup>37</sup>.

Другой современный исследователь, призывая глубоко и всесторонне (с учетом сильных и слабых сторон) рассматривать сложное наследие Писемского, также недифференцированно ссылается на опыт передовой критики: «Революционно-демократическая критика в лице Чернышевского, Добролюбова, Писарева дала высокую оценку разоблачительной силе произведений А. Ф. Писемского 50-х годов»<sup>38</sup>.

Подобные утверждения не опираются на факты, не согласуются с ними. Определяющей чертой в отношении Добролюбова к Писемскому было твердое неприятие, выразившееся в целом ряде резко иронических, открыто отрицательных замечаний и высказываний. Писарев не был далек от истины, когда утверждал: «Добролюбов постоянно относился к Писемскому с полнейшим и отчасти даже аффектированным пренебрежением...»<sup>39</sup>.

Одно из ярких и первых по времени свидетельств негативного отношения Добролюбова к писателю содержится в его рецензии на литературный сборник «Весна» (1859, № 6)<sup>40</sup>. Едкую иронию над принципами «сибаритской» критики Н. Ахшарумова, так отчетливо сказавшимися в анализе романа «Тысяча душ», рецензент намеренно распространяет на самый роман и его автора. Высмеивая «упреки» Ахшарумова, подозре-

<sup>37</sup> М. Еремин. А. Ф. Писемский. — В кн.: А. Ф. Писемский. Соч. в 3-х тт., т. I, М., Гослитиздат, 1956, стр. 24; отметим, что во вступительной статье к девятитомнику автор снял и самую цитату из добролюбовского дневника, и указанный «вывод» из нее.

<sup>38</sup> Н. Н. Грузинская. Об изучении мировоззрения и метода А. Ф. Писемского в советском литературоведении. — Учен. зап. Томского ун-та, 1964, № 48, стр. III.

<sup>39</sup> Д. И. Писарев. Соч. в 4-х тт., т. 3, М., Гослитиздат, 1956, стр. 446. В дальнейшем: (П., т., стр.).

<sup>40</sup> За цифрой, обозначающей год, здесь и далее указываются номера «Современника», в которых публиковались называемые в тексте добролюбовские работы.

вающего Писемского в следовании традициям «реальной школы», как необоснованные, Добролюбов тем самым достаточно ясно выказывает свою позицию. Писемский, как «безнадежный», безоговорочно уступает им консервативно-«эстетическому» лагерю, уступает без боя. «За увлечение реальной школою и достается г. Писемскому от строгого критика! По мнению г. Ахшарумова, все недостатки «Тысячи душ» происходят от ядовитого влияния реальной школы, от порабощения искусства идее. Когда припомнишь содержание и развитие романа г. Писемского и вообще характер его литературной деятельности (курсив наш. — В. М.), да потом вникнешь в смысл замечания г. Ахшарумова, то невольно удивишься тому, как метко попал критик... Бывают же такие тонкие люди, что так вот сейчас и смекнут, в чем дело» (Д., IV, 376).

Показательна и следующая одобрительная реплика в адрес критика: «Впрочем, в статье г. Ахшарумова о «Тысяче душ» есть несколько очень верных замечаний относительно художественной фальшивости характера Калиновича» (Д., IV, 376). Это, конечно, порицание писателя, выраженное в форме поощрения критика (сами по себе «успехи» последнего мало что значили для Добролюбова; ср. его высказывание в статье «Народное дело» — 1859, № 9, показывающее, какими мелкими и бесполезными представлялись ему «успехи» либерально-«эстетической» критики и публицистики).

В статье «Повести и рассказы С. Т. Славутинского» (1860, № 2) Добролюбов фактически «отменил» позитивные моменты вышерассмотренной рецензии Чернышевского, дав (на страницах того же журнала) совершенно иные характеристики «простонародным» опытам Писемского. Трудно предположить, чтобы Чернышевский в этом случае был поставлен перед лицом факта; вероятнее всего, Добролюбов так или иначе обсудил со своим старшим и авторитетным товарищем «справедливость» иного подхода к автору «Очерков из крестьянского быта». Чернышевский, как мы знаем, высоко ставил художественный талант Писемского; но при всем том идейно «чужеродный» писатель не был для него тем, из-за кого он мог бы пойти на серьезные «объяснения» со своим ближайшим сподвижником. Облегчая ему задачу выражения иной, чем собственная, точки зрения, Чернышевский мог сослаться на тактическую сторону своих положительных выступлений.

Как бы то ни было, статья Добролюбова заметно расходилась с рецензией Чернышевского.

По мнению Добролюбова, Писемский — один из тех многочисленных «сочинителей», «которым до народа и дела-то никогда не было» (Д., VI, 50); их обращение к «крестьянской» теме — дань моде, не более. Пропитанные «духом классической древности или полусветских салонов» (Д., VI, 50), авторы вроде Майкова, Авдеева, Мея, Потехина, Писемского не мог-

ли и не хотели отразить настоящего положения вещей, устремляясь исключительно в область художественной отделки, «эстетики». В их произведениях отсутствует жизненная правда, а есть «приторное любезничанье с народом и насильная идеализация» (Д., VI, 53); у них нет подлинных крестьянских типов, а есть «пряничные и кукольные фигуры мнимо-русских людей» (Д., VI, 51). Воспроизвести «внутренний смысл и строй всей крестьянской жизни», «ее отношения ко всем другим явлениям русского быта» (Д., VI, 54) им не под силу. В итоге — искусственность концепций, «натянутость общей постройки», маскируемые более или менее «талантливым изложением», «верно скопированными подробностями внешней обстановки» (Д., VI, 54).

Общий недостаток «простонародных» повествований, в том числе и непосредственно «Очерков...» Писемского, Добролюбов усматривает в асоциальном, отвлеченно-психологическом и явно идеализированном изображении крестьянского быта:

«Как мужик с своей деревней связан, кем управляется, какие повинности несет, чей он и как с баринном, с управляющим, с окружным или исправником ведается, — это вы могли открыть весьма в редких случаях — именно, когда попадался вам идеальный управляющий, как в «Крестьянке» <Потехина>, или идеальный исправник, как в «Лешем», например... Житейская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повествователями, а бралось, без дальних справок, сердце человеческое, и так как для него ни чинов, ни богатств не существует, то и изображалось его чувствительность у крестьян и крестьянок. Обыкновенно герои и героини простонародных рассказов стогралали от пламенной любви, мучились сомнениями, разочаровывались... все обстояло, как следует быть в благовоспитанном обществе: у г. Писемского одна Марфуша даже в монастырь ушла от любви, не хуже Лизы «Дворянского гнезда» (Д., VI, 51).

Интересно, что Добролюбов находит в «Очерках...» Писемского (помимо названного «Лешего», здесь учтен и неназываемый «Питерщик»; ниже, впрочем, он непосредственно «задевается» критиком) те же промахи, что и литераторы-«эстетики», в частности высмеиваемый им здесь «глубокомысленнейший критик» — П. В. Анненков. Последний писал о «Питерщике»: «Автор старался показать, что огненная страсть, приходящая без ведома человека и наперекор его рассудку, так же способна завладеть и простолюдином, как человеком высшего развития и что в сущности она производит явления одинаковые в обоих, за исключением, разумеется, только внешней формы»<sup>41</sup>. Анненков же обращал внимание Писемского и

<sup>41</sup> «Современник», 1854, т. 44, № 3, стр. 3.

на искусственность «удаления» Марфуши в монастырь («при-  
способление романических, всем известных представлений к  
быту, которому они совсем чужды») <sup>42</sup>.

Добролюбов, следовательно, не считал необходимым про-  
тивостоять «эстетической» интерпретации творчества Писем-  
ского, показывая своим «согласием» с нею, что другого в про-  
изведениях писателя и искать не приходится.

Противопоставляя «дилетантам народности» (Д., IV, 266)  
таких знатоков мужицкой среды, как И. Т. Кокорев (см. «Очер-  
ки и рассказы И. Т. Кокорева», откуда и взято цитируемое  
определение), С. Т. Славутинский, Добролюбов целиком ста-  
новится на сторону последних, пусть и менее художнически  
одаренных, но более достоверных в своих бесхитростных по-  
вествованиях. Рассматривая повесть Славутинского «Читаль-  
щица» и образ Андрея Нахрапова в ней, критик замечает, что  
здесь «чрезвычайно много правды», «что именно такие харак-  
теры, с такими результатами гораздо более общи и близки  
русской жизни, нежели, например, хоть бы питерщики г. Пи-  
семского» (Д., VI, 59) <sup>43</sup>.

Сознавал ли Добролюбов истинные размеры художествен-  
ного дарования Писемского? Несомненно. В уже названной  
выше статье «Очерки и рассказы И. Т. Кокорева» (1859, № 3)  
читаем: «...Кокорев скоро успел обратить на себя внимание  
публики. Его имя отделилось от имен обычных вкладчиков  
«Москвитянина» вместе с именами Островского, Писемского,  
Потехина...» (Д, IV, 265). В статье «Забитые люди» (1861,  
№ 9), процитировав «пророческие» слова Белинского о та-  
ланте Достоевского, Добролюбов говорит: «... г. Гончаров еще  
не появлялся тогда с «Обыкновенной историей»; гг. Тургенев и  
Григорович едва напечатали несколько незначительных рас-  
сказов; об Островском, Писемском, Толстом и других впослед-  
ствии прославившихся писателях не было еще ни слуху, ни ду-  
ху» (Д, VII, 226). В том же «прославленном» окружении имя  
Писемского названо критиком в рецензии на поэтические сбор-  
ники «Русская лира» и «Любовь» (1860, № 4 — Д., VI, 186—  
187).

Однако по условиям резкой общественно-литературной  
борьбы тех лет Добролюбов находил возможным отвлекаться  
от такой «частности», как художественный талант, увлеченно  
ратуя за сугубо идеологическое, пропагандистское призвание  
литературы. Значение точки зрения, взгляда, подхода порою  
абсолютизировалось критиком; эстетическая сторона художе-

<sup>42</sup> «Современник», 1854, т. 44, № 3, стр. 11; следует заметить, что Аннен-  
ков, а вслед за ним и Добролюбов допускают неточность: в рассказе Писем-  
ского Марфуша остается жить «при матери», ходя «по богомолям», «бо-  
гомольствуя» (А. Ф. Писемский. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2, стр. 286).

<sup>43</sup> Ср. письмо Добролюбова С. Славутинскому от 22 февраля 1860 г.  
(Д., IX, 402).

ственной литературы объявлялась малосущественной, необязательной, расценивалась как пустое «украшательство», как дань лишенным значения «незыблемым <иронический курсив Добролюбова. — В. М.> требованиям искусства» (Д., VI, 62)<sup>44</sup>, как, наконец, то, о чем зазорно распространяться уважающей себя критике. Правда, в рассматриваемой статье о Славутинском Добролюбов неоднократно обращает внимание на недостаток художественности, мастерства исполнения в произведениях рецензируемого автора; однако это не берется в расчет при вынесении окончательного «приговора». Отсюда и то, что можно объяснить, но чего нельзя безоговорочно принять — предпочтение, отдаваемое писателю Славутинскому перед писателем Писемским.

Относительность этих оценок очевидна современному читателю. Время внесло в них свои коррективы.

Две капитальные вещи Писемского — роман «Тысяча душ» и получившая Уваровскую премию (вместе с «Грозой» Островского) драма «Горькая судьбина» — подверглись особенно резким аттестациям со стороны Добролюбова.

Автор вступительной статьи к трехтомнику писателя, несколько недифференцированно, как было уже отмечено нами, характеризующий отношение революционно-демократической критики к Писемскому, склонен видеть в отрицательном отзыве Добролюбова о «Тысяче душ» известную неожиданность<sup>45</sup>, объясняемую, впрочем, обстоятельствами резко обострившегося в тот период и получившего «злободневное политическое

---

<sup>44</sup> Показательна следующая (с полемической подкладкой) похвала Добролюбова в адрес Достоевского: «... г. Достоевский смотрит, по-видимому, на свои произведения как мы все, обыкновенные люди, — не как на несокрушимый памятник для потомства, а просто — как на журнальную работу. А уж известно, что такое журнальная работа: тут не до обработки, не до подробностей, не до строгости к себе в развитии мыслей...» (Д., VII, 240). И далее: «...если мы обратимся от отвлеченных эстетических рассуждений к идеям и положениям, развиваемым и у известного автора, то найдем самое лучшее средство к уразумению сущности его таланта. Тут уж мерка наших требований изменяется: автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно, и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений. Пусть он и не удовлетворяет художественным требованиям, пусть он иной раз и промахнется и выразится нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-нибудь смысл его произведений» (Д., VII, 241).

<sup>45</sup> «Что же произошло? Почему журнал, еще недавно так хвалебно отзывавшийся о творчестве Писемского, подчеркивая прежде всего его правдивость, теперь резко изменил свое отношение к нему, предъявив самое тяжкое для всякого художника-реалиста обвинение в отсутствии правды жизни?» (М. П. Еремин. А. Ф. Писемский. — В кн.: А. Ф. Писемский. Собр. соч. в 3-х тт., т. I, М., Гослитиздат, 1956, стр. 32).

значение» спора «о типе лишнего человека и о типе деятельного человека».

Отмечаемый М. П. Ереминым момент, несомненно, следует принимать во внимание, но поворить о неожиданности, о повороте в оценке Писемского не представляется возможным. О позиции Чернышевского говорилось выше. Со стороны же Добролюбова это — продолжение, а не начало отрицания, весьма болезненно, надо думать, воспринимавшегося писателем и в какой-то степени пододревшего его «безрыловские» настроения<sup>46</sup>.

Обосновывая принципы «реальной критики» в статье «Когда же придет настоящий день?» (1860, № 3), Добролюбов подчеркнул необходимость различения в художественном произведении субъективно-авторского начала — «что хотел сказать автор» и объективного смысла — «что сказалось им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни» (Д., VI, 97). В согласии с этим положением, как известно, и был дан анализ романа «Накануне», в мировоззрении автора которого тоже далеко не все импонировало критику.

Писемскому же автор статьи отказывает в праве на такой подход. По Добролюбову, субъективное начало в «Тысяче душ» заполнило собою все; писатель целиком «подогнал» факты жизни, дал совершенно произвольную ее картину. Вопрос об объективном смысле произведения снимался критиком начисто, самым категорическим образом. «...Для нас именно те произведения и важны, в которых жизнь сказала сама собою, а не по заранее придуманной автором программе. О «Тысяче душ», например, мы вовсе не говорим, потому что, по нашему мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее. Стало быть, тут не о чем толковать, кроме того, в какой степени ловко составил автор свое сочинение<sup>47</sup>. Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что отношение его к этим фактам не просто и не правдиво» (Д., VI, 98).

В статье «Луч света в темном царстве» (1860, № 10) Добролюбов вновь обращается к «Тысяче душ». На этот раз негативная оценка романа развернута и мотивирована: критика не удовлетворяет прежде всего фигура главного героя Калинови-

<sup>46</sup> В третьем из фельетонов Салатушки, предваряющем «безрыловские» выступления, содержится прямой личный выпад писателя против Добролюбова. Один из представителей молодежи — офицер «непонятного... ведомства», поправляя в беседе своего «нечесаного и нестриженного» приятеля-студента, говорит: «Припомните статью... «Темное царство». Там прямо доказано, что у нас все нехорошо» (А. Ф. Писемский. Полн. собр. соч., т. VI, стр. 303).

<sup>47</sup> Ср. также: Д., VI, 190.

ча в том отношении, что последний — не тот герой, которого требует жизнь (ср. авторский замысел, частично отраженный в письме к А. Н. Майкову от 1 октября 1854 г.)<sup>48</sup>.

Русское общественное развитие, рассуждает Добролюбов, обнаружив несостоятельность «добродетельных и почтенных, но слабых и безличных» лишних людей, поставило на повестку дня вопрос об истинном деятеле, «хотя бы и менее прекрасном, но более... энергичном» (Д., VI, 334). Соответствующая задача возникла и перед литературой. Однако попытки многих писателей разрешить ее оканчивались неудачей. Сугубо «логически» осознав необходимость положительного героя, авторы стали «кроить» его согласно своим представлениям о «доблести», а эти представления далеко не всегда и во всем отвечали идеалу подлинного русского деятеля. Особенно «отличился» тут, по мнению критика, автор «Тысячи душ». «Таким образом и явился, например, Калинович, чуть не таскающий купца за бороду, чтоб тот пожертвовал десять тысяч на пользу общества, и истязаемый в тюрьме старого князя, на любовнице которого женился, чтобы составить себе карьеру» (Д., VI, 335)<sup>49</sup>. Назвав далее имена Штольца (занимающегося мелочами, да и то «при помощи благодетельного начальства»), Инсарова («бросающего немца в воду, не соглашающегося жить даром в гостях на даче у приятеля и даже решающегося жениться на любимой девушке!!!»), героини «Первой любви» (представляющей «нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке»), критик продолжает: «Все это были претензии на сильные, цельные характеры. Но верх их представлял в прошлом году Ананий Яковлев..., лицо, очевидно, сильное, хотя более в физическом, нежели в нравственном и литературном смысле» (Д., VI, 335). Вновь пример из Писемского, и вновь самое ре-

---

<sup>48</sup> «...что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления, главное и отличительное его направление *практическое*: составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, обеспечить будущность свою и потомства своего — вот божки, которым поклоняются герои нашего времени, — все это даже очень недурно, если ты хочешь: стремление к карьере производит полезное трудолюбие, из частного комфорта слагается общий Комфорт и так далее, но дело в том, что человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому пути, приходится умирать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца, а потом, когда цель достигается, то всегда почти он видит, что стремился к Пустыням, видит, что по всей прошедшей жизни подлец и подлец черт знает для чего! На эту тему пишется роман». (А. Ф. Писемский. Письма, стр. 77—78). Заметим, что «поворот» в судьбе персонажа (4-я часть романа), на который обычно указывают исследователи и который, думается, не лишен своей психологической мотивировки, отнюдь не делает Калиновича *идеалом* в глазах писателя.

<sup>49</sup> См. также опубликованное после смерти Добролюбова сатирическое стихотворение «Страдания вельможного филантропа» (Д., VII, 518—521), первоначальное заглавие которого — «Современная демоническая натура, или Страдания г. Калиновича», — показывает, что оно было задумано как непосредственное осмеяние романа.

шительное осуждение, едва ли не остракизм. «Ананий Яковлев, взятый не как малодушное исключение, а как тип, представляется нам клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая так же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и помещиков, подобных Чеглову» (Д., VI, 336).

Конечно, тут полемика, противостояние либерально-«эстетической» критике в ее попытках возвеличить «кротость», «смирение» русской души, объявить «примирительный» элемент необходимым атрибутом высокого искусства. В данном случае полемика имела и персональный адрес: в «С.-Петербургских ведомостях» (1860, №№ 65, 67 и 69) была помещена хвалебная статья А. А. Майкова о «Горькой судьбине», как раз выделявшая «примирительное» начало в пьесе («...производит на душу успокаивающее действие, примиряя нас с жертвою жизненной борьбы во имя несомненного торжества вечного закона»). И все же — по отношению к писателю — нельзя не видеть известной односторонности добролюбовского приговора, выносимого без учета специфики художественного творчества, определенной суверенности образа (логики характера) и авторского замысла в целом.

Критик наметил два подхода к пьесе, равно развенчивающих ее автора: либо считать изложенное в ней казусом, частным «мелодраматическим случаем», не имеющим «общего значения», либо, если рассматривать драму с точки зрения «представления характеристических народных типов», признать ее клеветою, произведением «фальшивым» и даже объективно охранительным (Д., VI, 336; любопытно, что, жалуясь в письме к А. П. Златовратскому от 20 апреля 1860 г. на усиление цензурного произвола, Добролюбов отметил факт запрещения на литературных чтениях Общества пособия нуждающимся литераторам «Горькой судьбины» — Д., IX, 414).

В последнем своем критическом выступлении — статье «Забитые люди» — Добролюбов повторит мысль о фальшивости «идей» писателя, пародийно изложив смысл наиболее известных его вещей: «Вот, например, по мирозозерцанию г. Писемского выходит, что русский человек ни в чем меры не знает — что ежели он не умирает с голоду, то пьянствует; если не под башмаком у жены, то колотит ее; если не видит себе ниоткуда ни пинка, ни плети, то бросается на всех, как зверь дикий; если взяток не берет, то норовит всякого в кандалы заковать за взятый привенник. Ну, и об этом нужно поговорить, опять-таки если кому покажется, что в сочинениях г. Писемского идеи эти выходят уж очень убедительны» (Д., VII, 242).

Глубокое недоверие к мировоззрению писателя («что можно ожидать от Писемского?») — словно бы спрашивал себя всякий раз Добролюбов) делало едва ли не заведомыми отрицательные оценки критика.

В самом деле, та же «Горькая судьбина» по обстоятельству

вам могла бы быть истолкована несколько иначе, в том, например, плане, в каком были интерпретированы Чернышевским «простонародные» рассказы Н. Успенского, в частности «Старуха»<sup>50</sup>. Присущая образному способу отражения известная «полисемия»<sup>51</sup>, с одной стороны, а с другой, — принципы «реальной критики» позволяли сделать это (Ананий Яковлев не умеет должным образом распорядиться своим гневом, быстро сникает, раскаивается — верно подмеченная писателем черта русского крестьянина, еще бедного самосознанием, социально-политически неразвитого в своем протесте. Чеглов-Соковин не бурбон — тем сильнее сказывается мысль о вине не отдельных «злых» личностей, а всей системы, которая независимо от «доброты» того ли иного индивидуума порождает трагическую нескладницу русской жизни и т. п.). Таков путь анализа драмы у М. Л. Михайлова, утверждавшего: «Мы не знаем произведения, в котором с такую глубокой жизненной правдой были бы воспроизведены существеннейшие стороны русского общественного положения... Когда взгляд художника на окружающую его сферу достигает такой ясности, такого высокого беспристрастия, какое проявил в последнем произведении своем г. Писемский, сердце невольно сильнее бьется надеждою, что не далека пора, когда эта «горькая судьбина» нашего общества сменится «сознательно разумною силой». По темным краскам картины Писемского как будто скользнул уже луч той зари, которая оденет наш народ...»<sup>52</sup>.

Добролюбов не разглядел всей сложности и противоречивости творчества Писемского, глубокого расхождения между отсталыми политическими и эстетическими взглядами писателя и объективным смыслом его реалистических созданий. Отсутствие «рациональной теории» у художника необратимо восстановило против него критика, доведшего, думается, в этом случае свою высокую требовательность до ригоризма.

Возможно, что дело не обошлось и без участия психологического фактора. Достаточно припомнить трудные отношения Добролюбова с Тургеневым, чтобы представить себе, как несбыточно было рассчитывать Писемскому, любившему по-

---

<sup>50</sup> Пересказав историю крестьянской жены, вступившей в связь с приказчиком с молчаливого согласия родни, Чернышевский противопоставляет конкретную жизненность рассказа возможной (и весьма распространенной в прошлом) *схеме*: «Сильная привязанность жены к мужу, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления животному буйству и так далее, и так далее». Мужичьи типы разнообразны, литература вправе учитывать это многообразие и необходимо, стало быть, различать, *какого* мужика она представляет (Ч., VII, 860—863).

<sup>51</sup> «Всякое живое явление (а образ — аналог его. — В. М.), — говорит Писарев, — отличается от мертвой отвлеченности именно тем, что его можно рассматривать с разных сторон...» (П., II, 368).

<sup>52</sup> «Русское слово», 1860, № 2, стр. 8.

казать себя «руссаком-помещиком»<sup>53</sup> и «эстетиком», на симпатии критика-демократа<sup>54</sup>. В самом начале 1856 года Добролюбов сделал следующую примечательную запись в своем дневнике: «Писемский, сказывают, большой эгоист, думает о себе весьма много, произведения свои читает беспрестанно, так что одному человеку пришлось слышать от него «Плотничью артель» в различных обществах двенадцать раз» (Д., VIII, 472). А тут еще провоцирующие похвалы писателю со стороны идейно-литературных антагонистов. Вряд ли не оставили определенных эмоций у Добролюбова почести, воздававшиеся Писемскому институтским преподавателем С. И. Лебедевым, лекции которого так иронически «конспектировал» студент-критик. Из записи от 19 апреля 1857 года видно, что Лебедев трактовал «натуральную школу» как направление «болезненное», как плод «ложного понимания деятельности Гоголя». «Оно высказалось у Тургенева и Григоровича. У Писемского всех меньше. Это правильное направление в равновесии идеала художника с действительностью» (Д., VIII, 596). Добролюбов, быть может, тогда уже поставил себе цель всеми средствами преследовать это «равновесие», эту гармонию...

### 3.

Прикосновения критики, любил говорить Писарев, боится лишь то, что не имеет действительной силы и значения.

Творчество Писемского, обращенное лучшими своими тенденциями в сторону реализма и человеколюбия, устояло перед лицом самых суровых приговоров. Оно было признано и по достоинству оценено самою же революционно-демократической критикой. Мы имеем здесь в виду не только высказывания Чернышевского, но прежде всего известные статьи о писателе, принадлежащие перу Д. И. Писарева: «Стоячая вода», «Писемский, Тургенев и Гончаров», «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» («Русское слово», 1861, №№ 10—12). Они появились, когда литературная деятельность Н. А. Добролюбова уже, в сущности, закончилась и, следовательно, их автор не мог быть в неведении относительно позиции критика «Современника».

Известно, что Писарев-критик в целом ряде конкретных

---

<sup>53</sup> Слова Писемского. См.: А. Ф. Писемский. Письма, стр. 80.

<sup>54</sup> По свидетельству Чернышевского, пусть и полемически заостренному, Добролюбов много превосходил его «твердостью» и «энергиею натуры». «...Он давно уже считался самым полным представителем того направления, которое далеко не с такою определенностью и силою выражалось во мне» (Ч., X, 123). Весьма интересны в этом плане приводимые Чернышевским примеры — эпизоды из взаимоотношений Добролюбова и Кавелина, Добролюбова и Тургенева (там же, 122—123).

оценок и характеристик расходился с Добролюбовым<sup>55</sup>, причем еще до «раскола в нигилистах», то есть до начала открытой, «специальной» полемики между «Современником» и «Русским словом». В числе подобных расхождений — и его оценка творчества Писемского 40—50-х годов.

Не считая необходимым и возможным здесь детальное рассмотрение писаревских статей о Писемском, остановимся лишь на некоторых, определяющих позицию критика в данном вопросе положениях.

Прежде всего Писарев «восстанавливает» Писемского в правах писателя-реалиста, достойного признательности и благодарности за «правдивость» и субъективную «честность» (П., I, 211). При этом критик вовсе не склонен закрывать глаза на идейную «чужеродность» писателя, далекого от взглядов и убеждений разночинно-демократических «детей». «Писемский, Тургенев и Гончаров, — пишет он, — принадлежат к одному поколению. Это поколение уже давно созрело и теперь клонится к старости; дети этого поколения уже способны решать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся деятелями прошедшего времени, и для них настает суд ближайшего потомства» (П., I, 192). Хваля Писемского и Тургенева за то, что «каждая строчка их произведений — не фраза, брошенная для удовольствия тех или других читателей, а действительное выражение действительно существующего в авторе чувства или воззрения», Писарев замечает: «С этими чувствами и воззрениями можно не соглашаться, но их нельзя не уважать, потому что право на уважение имеет всякое искреннее убеждение» (П., I, 211).

Главную «заслугу» Писемского и Тургенева «перед обществом» критик видит в их чисто «отрицательных отношениях к нашей действительности» (П., I, 213). Причем, по мнению Писарева, критицизм Писемского, свободного от какой бы то ни было поэтизации «дворянских гнезд», от любования людьми рудинского типа, наиболее последователен и глубок. По этой причине Писемскому отдается даже предпочтение перед Тургеневым, что подчеркнуто, кстати, самим расположением писательских имен в заглавиях статей.

Обнажая пустоту жизни дворянского сословия, искусственный характер его интересов и морали, семейный деспотизм, ничтожность «талантливых натур» — всех этих Эльчаниновых

---

<sup>55</sup> Писарев глубоко уважал Добролюбова, считал его и Белинского «лучшими из наших критиков», но не находил возможным замалчивать определенные ошибки и просчеты, от которых не была свободна, по его мнению, их деятельность. «Осуждать их за это было бы нелепо, потому что надо же помнить, как много они сделали для уяснения всех наших понятий, и надо же понимать, что не могут два человека отработать за нас всю нашу работу мысли. Но, не осуждая их, надо видеть их ошибки и прокладывать новые пути в тех местах, где старые тропинки уклоняются в глушь и в болото» (П., II, 376).

и Шамиловых, Писемский, считает Писарев, добивается едва ли не большего эффекта достоверности и типичности, чем сопоставляемые с ним писатели. Происходит это потому, что Писемский «рисует нам не исключительные личности, стоящие выше уровня массы, а дюжинных людей, копошащихся в грязи, замаранных с ног до головы, задыхающихся в смрадной атмосфере и не умеющих найти выхода на свет.. Читая «Дворянское гнездо» Тургенева, мы забываем почву, выражающуюся в личностях Паншина, Марьи Дмитриевны и т. д., и следим за самостоятельным развитием честных личностей Лизы и Лаврецкого; читая повести Писемского, вы никогда, ни на минуту не позабудете, где происходит действие; почва постоянно будет напоминать о себе крепким запахом, русским духом, от которого не знают куда деваться действующие лица, от которого порой и читателю становится тяжело на душе» (П., I, 172). Эту мысль, заявленную в «Стоячей воде», Писарев подчеркнет в следующей статье: «В Шамилове, по моему мнению, больше жизненного значения, чем в Рудине: Шамиловых тысячи, Рудиных — десятки. Тургенев берет довольно исключительное явление. Писемский, напротив того, прямо запускает руку в действительную жизнь и вытаскивает оттуда таких людей, каких мы встречаем сплошь да рядом; между тем общий характер типа у Писемского проанализирован так же верно, как и у Тургенева, а очерчен даже гораздо ярче» (П., I, 221). Несмотря на известную односторонность конкретных сопоставлений, данное высказывание содержит верную теоретическую мысль о категории массовости, распространенности, обыденности как важнейшем моменте типического<sup>56</sup>.

Если Добролюбов считал, что в произведениях Писемского факты жизни предстают в искаженном виде, будучи «пригнаны» к заранее сочиненной и фальшивой идее, то Писарев, напротив, отмечает полную безыскусственность повествований писателя, едва ли не натуралистическую «добросовестность» его в следовании за самой действительностью.

«У Тургенева уловлен смысл нашей жизни, но, рядом с тонкими и верными замечаниями и соображениями, попадают поразительно фальшивые ноты, вроде построения Инсарова. У Писемского букет нашей жизни, как крепкий запах дегтя, конопляника и тулуша, поражает нервы читателя помимо воли самого автора. Тургенев мудрит над жизнью, и иногда невпопад; Писемский лепит прямо с натуры, и создания его выйдут некрасивые, грубые, кряжистые, как некрасива, груба и кряжиста самая жизнь наша, самая неотесанная наша натура» (П., I, 249). По несколько заостренной и вскоре прокор-

<sup>56</sup> Ср. постановку этой проблемы у одного из современных исследователей: А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 465—468.

ректированной им самим мысли Писарева, субъективно-авторское начало в произведениях Писемского почти не дает о себе знать. Писемский — последовательный «объективист», поставляющий читателю на его собственный суд «сырой факт» (П., I, 169) жизни. «Берите его как он есть, омысливайте, осуждайте, оправдывайте, — это ваше дело; голос автора не поддержит вас в вашем критическом процессе и не заспорит с вами» (П., I, 169). Приведенные строки — из статьи «Стоячая вода». В статье «Женские типы...» критик находит возможным говорить об «искреннем и глубоком чувстве» «беспощадного реалиста», когда он симпатизирует своим героям и героиням. «Это чувство выражается не в лирических отступлениях, не в идеализации любимого женского типа; оно, помимо воли и сознания самого автора, просвечивает в постановке фигур, в группировке событий; оно не нарушает правдивости, оно само вытекает из этой правдивости» (П., I, 272). У Писемского, по мысли критика, преобладает изобразительное, а не выразительное начало. Как и Чернышевский, Писарев считает объективизм писателя, его «эпическое спокойствие» — манерою, категорией поэтики по преимуществу, а не мировоззрения.

Художественное достоинство произведений Писемского не вызывает сомнений автора рассматриваемых статей: «Стоит раскрыть любую повесть или драму, любой роман Писемского, чтобы силою непосредственного чувства убедиться в том, что выведенные в них личности — живые люди, выражающие собою в полной силе особенности той почвы, на которой они родились и выросли» (П., I, 160).

«Общественный интерес» творчества «первоклассного романиста», одного из «лучших представителей русской поэзии сороковых и пятидесятих годов» (П., I, 192) также бесспорен для Писарева. «...Если мы желаем изучить этот запас общечеловеческих идей, который находится в обращении в мыслящей части нашего общества, — отмечает он в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров», — если мы хотим проследить, как эта мыслящая часть относилась к жизни массы, то мы преимущественно должны обратить наше внимание на тех трех романистов, которых имена выписаны в заглавии статьи» (П., I, 196).

Требую от литературы глубокого проникновения в сущность изображаемых явлений (не допускающего механического «списывания картинок с природы»), полного овладения «своим предметом» и творческой переработки его «силою зяждущей мысли», Писарев указывает на романы Тургенева и Писемского как отвечающие этим требованиям. Романы Тургенева и Писемского никаким образом не могут быть отнесены к разряду... игрушек; все они слишком глубоко прочувствованы или слишком полно отражают картины жизни, чтобы не показаться каждому читателю серьезным и дельным словом мыслящего человека» (П., I, 213).

Писарев полностью разошелся с Добролюбовым в оценке романа «Тысяча душ», признав его крупнейшим явлением тогдашней литературы. «По обилию и разнообразию явлений, схваченных в этом романе, он стоит положительно выше всех произведений нашей новейшей литературы. Характер Калиновича задуман так глубоко, развитие этого характера находится в такой тесной связи со всеми важнейшими сторонами и особенностями нашей жизни, что о романе «Тысяча душ» можно написать десять критических статей, не исчерпавши вполне его содержания и внутреннего смысла» (П., I, 231). Писарев явно полемизирует с Добролюбовым и тогда, когда заявляет: «В деятельности Писемского до сих пор нельзя отметить ни одной фальшивой ноты» (П., I, 213).

Как отмечалось выше, Добролюбов упрекал автора «Тысячи душ» и «Горькой судьбины» прежде всего за неверные и объективно вредные «претензии на сильные, цельные характеры» (Д., VI, 335). Писарев же объясняет «нефальшивость» писателя именно отсутствием у него такого рода «претензий», его отказом «представить положительных деятелей, т. е. таких героев, которым вполне могли бы сочувствовать и автор и читатели» (П., I, 213).

Писарева, разумеется, не должно объявлять истиной в последней инстанции во всех случаях его литературно-критических разногласий с Добролюбовым. Известно, что критик знал ошибки и просчеты как на пути теоретического «разрушения эстетики» (нередко, впрочем, степень вульгаризации им традиций Чернышевского в этом плане с полемически легкой руки Антоновича заметно преувеличивается исследователями), так и в оценке конкретных историко-литературных явлений. Но было бы столь же неверно и неоправданно не замечать того, что блестящие критические способности очень часто открывали Писареву искомую истину.

Статьи Писарева о Писемском справедливы далеко не во всех своих положениях. Тем не менее его общие выводы о творчестве писателя рассматриваемого периода<sup>57</sup> способны сопер-

---

<sup>57</sup> И после выхода в свет «Взбаламученного моря», уронившего его автора в глазах критика (см. П., III, 258—260), высокая оценка прежнего Писемского не отменяется Писаревым. Говоря, что в отличие от Добролюбова он отнесся к Писемскому в статьях 1861 г. «с величайшим уважением», поставив «выше гг. Тургенева и Гончарова», Писарев продолжает: «По этому случаю г. Антонович, конечно, непременно возликует и укажет мне на «Взбаламученное море». Но гнусность «Взбаламученного моря» нисколько не уничтожает собою достоинства «Тюфяка», «Богатого жениха», «Боярщины», «Тысячи душ», «Брака по страсти», «Комика» и «Горькой судьбины». Если надо безусловно осуждать все произведения писателя за то, что этот писатель на старости лет начинает писать глупости, то придется бранить «Ревизора» и «Мертвые души» за то, что Гоголь под конец своей жизни съехал на «Переписку с друзьями» (П., III, 446).

ничать в истинности и долговечности, как нам представляется, со многими иными оценками и аттестациями. Как и в известной ситуации с романом «Отцы и дети», Писарев предложил здесь более диалектический подход, включающий в себя учет специфичности осуществления мировоззренческих начал в художественном творчестве.

Стремясь к уяснению исторической истины, а не «улучшению» ее, мы не старались обходить «острые углы», как-то стусевывать факты противоречий в оценке революционно-демократической критикой творчества Писемского 40—50-х годов. Без учета их, думается, невозможна необходимая полнота представлений ни о бурной эпохе «шестидесятников», ни о сложной природе творчества одного из крупных русских писателей.

## ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСКАНИЯ Л. ТОЛСТОГО В 60-е ГОДЫ

---

В 1862 г. Л. Толстой пишет письмо Н. Г. Чернышевскому, в котором просит сказать «искренно и серьезно» свое мнение о деле, составляющем для него «все»<sup>1</sup> (журнале «Ясная Поляна»). Что побудило Толстого написать такое письмо именно Чернышевскому, которого он во время сотрудничества в «Современнике» никогда не считал своим единомышленником?

Нам кажется, что для этого недостаточно было только сходства в негативной части воззрений писателей, которым обычно объясняется упомянутое письмо. Для того чтобы такой человек, как Толстой, мог признать наиболее интересным и важным искреннее мнение Чернышевского о деле своей жизни и лично просить именно Чернышевского дать публичную оценку этому делу, нужно было ощущение близости и единомыслия и в самих жизненных идеалах, и требованиях, основанных на чем-то родственном в понимании основ жизни и стремлений защищаемого народа.

На чем же, при всей известной разности мировоззрений Толстого и Чернышевского, могло основываться в 1862 г. такое ощущение близости и единомыслия? Почему Чернышевский вдруг показался Толстому в это время наиболее способным его понять человеком?

Представляется, что ответ на этот вопрос в большой мере заключается в нравственно-философских исканиях Толстого, в особенностях складывавшейся в 60-е годы этической позиции писателя.

---

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (юб. изд.), т. 60, стр. 416. В дальнейшем все тексты Толстого цитируются нами по этому изданию. Первая цифра в скобках означает том, следующие — страницы.

Этические представления и требования Л. Толстого в 50-е годы были далеки от той защиты запросов личности, которую революционные демократы, и среди них Чернышевский, противопоставили христианской морали. Правда, некоторые исследователи пытаются доказать сходство нравственных норм молодого Толстого с теорией «разумного эгоизма», но этому явно противоречат факты. Только в высказываниях конца 40-х годов будущий писатель определяет цель жизни близко к этой теории как «стремление к сохранению и усилению жизни» (1, 129), ради которого «каждый человек, стремясь к своей индивидуальной пользе, способствует общежитию» (1, 222). Вскоре взгляды Толстого изменяются, и уже в кавказский период его жизни, соответствующий началу художественного творчества, понимание идеала добра приближается к христианскому. Именно с этим идеалом, с призывами к самоусовершенствованию в его духе, связываются надежды на оздоровление жизни. Через все произведения 50-х годов проходит образ народа как носителя высоких для Толстого черт смирения и самоотречения. Критика цивилизованных классов в этих произведениях производится на основе их отклонения от указанного идеала, гипертрофии чувства личности и эгоистических претензий как причины и следствия ненормального, паразитического образа жизни. Провозглашение «чистого альтруизма» как нормы человеческого поведения и сомнение в нравственной оправданности личных стремлений очевидно как в художественных произведениях, так и в самой прямой форме — в дневниковых и эпистолярных материалах 50-х годов<sup>2</sup>.

Очень важным моментом, отличающим этическую позицию молодого Толстого от позиции всех революционных демократов и Чернышевского в частности, является признание неограниченной нравственной свободы личности, полной возможности для нее противостоять в своем самоусовершенствовании всей силе мешающих внешних воздействий. Если для революционных демократов, по позднейшей выразительной формулировке Чернышевского, «в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств»<sup>3</sup>, то лейтмотивом дневника молодого Толстого является стремление переменить свою жизнь на такую, которая, по его выражению, была бы «не произведением обстоятельств, а произведением души» (46, 30).

Пафос трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и других произведений 50-х годов именно в утверждении возмож-

<sup>2</sup> См. об этом в нашей книге «Трилогия Л. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Изд. Сарат. ун-та, 1961.

<sup>3</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти тт., т. V. Гослитиздат, 1939—1953, стр. 165. В дальнейшем тексты Чернышевского цитируются нами по этому изданию с указанием тома и страницы.

ности и долга индивидуального сопротивлению давлению обстоятельств, для которого личность имеет от природы необходимые внутренние предпосылки. Человек должен неуклонно следовать требованиям природного нравственного чувства, формировать себя в соответствии с его повелительным голосом. Если он, отдаваясь обстоятельствам, поступает вопреки голосу нравственного чувства, то он сам чувствует себя виновным, что опять-таки для Толстого — яркое доказательство нравственной свободы. И высшим выражением нравственной свободы личности как раз является победа над собой, отречение от своих стремлений и страстей во имя любви к миру и людям. Если революционные демократы понимали свободу как невозможное в данных общественных условиях удовлетворение личных запросов человека, то для молодого Толстого свобода — в добровольном отказе от этих запросов. Он и свободу понимает в духе христианских традиций.

Всем этим молодой Толстой очень напоминает зрелого Толстого. В его мировоззрении уже в это время намечаются те самые две стороны, сильная и слабая, которые отметил применительно к позднему периоду его творчества В. И. Ленин. С одной стороны, ему свойствен острый критицизм по отношению к безобразиям жизни господствующего класса и последствиям этой жизни в собственном нравственном облике, а с другой стороны, мы уже здесь встречаемся с апелляцией к «вечным истинам религии», с идеалистическим преувеличением возможностей личности.

Однако развитие Толстого происходит сложным диалектическим путем и, в соответствии с законом диалектики, включает в себя моменты отрицания и отрицания отрицания.

## 2

Первый кризис мировоззрения писателя, наступивший в конце 50-х годов и имевший следствием временный отказ от художественного творчества, был крушением направления, найденного в 50-е годы. Нравственно-философской подоплекой этого кризиса, до сих пор не замечаемой исследователями, является то, что Толстой пришел в тупик с проповедью христианского идеала. Если в особой обстановке войны, в которой раньше находился писатель, было много возможностей самопожертвования (самопожертвованием являлась по существу вся жизнь в условиях постоянной опасности), и этим его нравственная теория могла питаться, то теперь, в новой обстановке мирной и в то же время очень сложной жизни второй половины 50-х годов, эта теория оказывалась во все более явном конфликте с действительностью. Сначала Толстой настойчиво пытается проводить ее в жизнь, противопоставляя всем общественным направлениям и даже особенно выразительно определяя добро и смысл человеческой жизни в своем прежнем

духе. «Служитель отхожих мест и палач и литератор равны, если причины их деятельности личные» (48, 7); «...единственно истинное вечное и высшее счастье дается самопожертвованием» (60, 105). «Самоотвержение не в том, что берите с меня, что хотите, а трудись, думай и хитри, чтобы отдать себя» (47, 154). «Святой дух в Евангелии есть ...сила, живущая во всех людях, действующая в каждом противно его стремлениям, но согласно общему добру и правде» (48, 74). «Обед у Шевалье С. К. тоже спор, не понимаю язычества» (48, 111). И можно было продолжать приводить подобные цитаты. Однако постепенно в сознание писателя начинают закрадываться сомнения. Он убеждается, что его истина не то, что нужно обществу. Общественная жизнь конца 50-х годов идет мимо его призывов. Критика не считает их чем-то значительным и даже не замечает, что они составляют главный пафос его творчества. Читатель идет не за ним, а за революционными демократами. Собственное, личное самоусовершенствование в соответствующем духе ему тоже мало удается: он никак не может направить свою внутреннюю жизнь по желаемому руслу и тем более добиться практических результатов в посвящении себя добру ближнего (крестьяне не хотят его благодеяний). Все моральные теории, таким образом, остаются на бумаге, а жизнь идет своим чередом. В связи с этим в дневнике и письмах Толстого начинают очень сильно звучать грустные скептические настроения. «Мне так гадко, грустно теперь в деревне. Жить незачем... Кому я делаю добро?... Главное, что я лгать не могу перед собой» (60, 294). «Опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим» (47, 152). Иногда недовольство и обвинение в неосуществлении идеала относится к себе: «Где ее взять, любви и самопожертвования, когда нет в душе ничего, кроме себялюбия и гордости? Как ни подделывайся под самоотвержение, все та же холодность и расчет на дне» (60, 257). Но в других высказываниях сомнение относится уже не только к своим душевным качествам, а к жизненности самого идеала. «Вот, бабушка, научите, что делать, когда воспоминания и мечты вместе составят такой идеал жизни, под который ничто не подходит, все становится не то... Бросить этот идеал — скажете вы — нельзя. — Этот идеал не выдумка, а самое дорогое, что есть для меня в жизни. Без него я жить не хочу. Помните вы «Мадонну» Пушкина?... Иногда приходит в голову отслужить по всему панафиду, да тогда уже и других молитв в душе не останется» (60, 260).

В конце апреля 1859 г. Толстой признается А. А. Толстой в утрате тех верований и целей жизни, которые он нашел на Кавказе и с которыми ему «хорошо было жить» (60, 294). Можно было бы привести и еще много высказываний, ясно указывающих основную причину первого кризиса мировоззрения

ния Толстого в мысли о неосуществимости христианского идеала.

Интересно проследить, как растущее недоверие к возможности самоотвержения как постоянно выполняемого принципа жизни начинает сказываться на восприятии Толстым некоторых людей, колеблющемся и изменяющемся на протяжении второй половины 50-х — начала 60-х годов. Если тетка Т. А. Ергольская в 1856—1857 годы неоднократно характеризуется как «преlestь, деятельная, самоотверженная любовь» (47, 153) и то же говорится в это же время о жене Пущина (60, 191), старой барышне Лизе Карамзиной (60, 191), тетке А. А. Толстой (60, 191), то по мере нарастания указанных сомнений Толстого в дневниках начинают звучать совсем иные впечатления. «Еще бы ничего, что Т<атьяна> А<лександровна> приторно сладко слушает вас, но вдруг она скажет такую» (47, 195). Об А. А. Толстой появляются вдруг следующие записи: «начинает мне надоедать ее сладость придворно-христианская» (48, 18). «Толстые хорошо, но немного фальшиво» (49, 36). «Толстые — фальшь большая» (49, 36). В проповедниках христианской добродетели славянофилах Толстой открывает интересную черту: «Все славянофилы не понимают музыки» (48, 18). Это указывает, считает Толстой, на глухоту к подлинно высокому, на узость и ханжество.

Интересен в русле развития соответствующих мыслей Толстого замысел неосуществленного литературного произведения: «Старик-идеалист, забитый самоотверженной женой» (47, 82).

Растущее недоверие Толстого к самоотвержению явно звучит в унисон с формирующейся в пятидесятые годы нравственной теорией Чернышевского. «Пришла в голову мысль, которая, кажется, не выйдет из нее, а сделается основанием взгляда на мир, — записывает Чернышевский после чтения работ Фурье, — что когда человек решается на благородный поступок, против страстей, которые советовали ему сделать другое, эти страсти не покидают его, а переходят и в это его состояние и прилепляются как могут к его поступку и стараются и здесь найти удовлетворение; тоже и нужды и потребности и вообще все личное, мелкое, эгоистическое» (1, 190). В этом высказывании Чернышевского впервые прозвучала та мысль о неразделимости альтруизма и эгоизма в человеке, которая потом с такой категорической отчетливостью выразилась в статье «Антропологический принцип в философии»: «При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения

большой выгоды, большего удовольствия» (7, 285). «Надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющееся бескорыстным, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом» (7, 283).

Однако если Чернышевский принимает такое положение вещей и вслед за Белинским и Герценом находит опору в разумном эгоизме<sup>4</sup>, то Толстой на данном этапе жизни приходит в отчаяние от своего недоверия к альтруистическим способностям человека. Для него трагедия в том, что лица «не хотят жертвовать, а хотят пользоваться правами» (47, 81). Он никак не может смириться с крахом христианских представлений о целях жизни, которые по-прежнему для него «дух человеческого, выше которого нет ничего» (49,36).

Сомнениям и разочарованию Толстого в его прежнем представлении о целях человеческой жизни способствовало и то, что в новой обстановке новыми сторонами поворачивается к нему и народ. В нарастающей революционной ситуации конца 50-х годов он выглядит уже совсем не таким кротким и самоотверженным, каким он представлялся писателю в кавказско-севастопольский период и каким он его противопоставлял эгоизму высших цивилизованных слоев общества в трилогии и военных рассказах.

Начало новых раздумий о народе, о его глухой враждебности по отношению даже к тем помещикам, которые искренне хотят ему добра, о том, что народ «себе на уме», ощущается в известной мере уже в «Утре помещика», хотя после этого произведения Толстой возвращается к изображению мужика в прежнем своем духе в рассказе «Три смерти».

В дневниках же и письмах второй половины 50-х годов эти раздумья звучат особенно выразительно. «Часто мужика за нечестный поступок сразу называешь мерзавцем, как будто название, присвоенное людям, поступающим дурно, объясняет их поступок» (47, 177). «Причины к злу нашего брата мы имеем средства объяснять, поставив себя на его место, тогда как нравственная жизнь мужика слишком далека от нас и неизвестна для того, чтобы мы могли подвести извинительные причины, ежели бы даже и хотели» (47, 178). Здесь очевидно, что Толстой остается защитником народа: он ищет оправдания дурным поступкам мужиков, но в то же время он теперь столк-

---

<sup>4</sup> Мы вполне согласны с исследователями, которые считают невозможным изъять это понятие из этической системы Н. Г. Чернышевского. Об этом см.: А. А. Азнауров. Этическое учение Н. Г. Чернышевского. М., «Высшая школа», 1960; В. Г. Астахов. Плеханов и Чернышевский. Сталинабад, 1961; Ю. М. Лотман. Социальный идеал, этика и эстетика Чернышевского. — В кн.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., «Наука», 1969.

нулся с такими поступками и приходит к мысли, что «нравственная жизнь мужика слишком далека от нас и неизвестна» (47, 178). Писатель начинает смотреть на народ как на загадку, тогда как раньше он весьма уверенно судил о его нравственной жизни в «Рубке леса», во всех художественных произведениях и дневниках.

Еще важнее следующие высказывания о народе в письмах и дневниках второй половины 50-х годов: «Крестьяне по своей всегдашней привычке к лжи, обману и лицемерию, внушенной многолетним попечительным управлением помещиков, говоря, что они за мной счастливы, в моих словах и предложениях видели одно желание обокрасть их... Деспотизм всегда рождает деспотизм рабства... Деспотизм помещиков породил (уже) деспотизм крестьян; когда мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда я останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинить их, так должно было быть» (60, 65—66). «Помянут мое слово, что через 2 года крестьяне поднимутся, если умно не освободят их до этого времени» (47, 109). В дневнике сочувственно приводятся слова княгини Мещерской о крестьянах: «Я вижу в них будущих убийц моих детей» (47, 109).

Таким образом, ясно, что Толстой видит во второй половине 50-х годов нехристианские настроения народа и что на фоне этой правды жизни и при понимании законности основных требований народа христианские теории должны были все более обнаруживать перед ним свою фальшь. Именно потому ему порой хочется ожесточенно спорить со славянофильской концепцией нравственной жизни народа: «Уж поговорю я со славянофилами о величии и святости сходки мира. Ерунда самая нелепая» (60, 69).

Важно отметить также, что новое восприятие народа, открытие в нем противоречащих его христианскому идеалу снижающих нравственных качеств колеблет даже позицию Толстого как противника цивилизации. Он теперь начинает сомневаться, что «дикое состояние хорошо» (47, 152), и именно это сомнение мешает ему писать «Казак» (47, 152).

Если раньше Толстой противопоставлял фальши и эгоизму цивилизованного общества безыскусственность и альтруизм простого народа, то теперь он неоднократно высказывает противоположное мнение о мужиках, особенно пораженный их способностью лгать и хитрить в своих интересах: «Мужики так хорошо притворились, что обрадовались, что я было поверил» (60, 389).

Конечно, нельзя сказать, что представления Толстого о народе изменились бесповоротно. Порой он по-прежнему говорит о его «кротости» (60, 89) и «терпимости» (47, 152). И самые отрицательные качества он склонен отнести не за счет природы мужика, а за счет условий жизни (60, 65, 89). Тем не

менее то, что теперь он часто не находит в народе не только воплощения христианского идеала жизни, но даже и стремления к нему, способствует утрате прежнего мирозерцания, является одной из существенных подонок наступавшего кризиса.

Новый взгляд Толстого на народ тоже приближается, по сравнению с прежним, к взгляду Чернышевского и его единомышленников с той, однако, опять разницей, что Толстой предпочел бы открывшейся истине справедливость своей прежней христианской концепции народа.

Вместе с указанными сомнениями и разочарованиями у Толстого появляются мысли о том, что вообще субъективными желаниями не победить неизбежных объективных законов жизни, постоянно ставящих препятствия на их пути. Ужас сознания этих непонятных законов, постоянно расходящихся с самыми высокими его намерениями, очень часто звучит в дневниках и письмах конца 50-х годов.

«Я не мог как прежде вспорхнуть над жизнью и с ужасом увидел, что эта тяжелая, нелепая и нечестная действительность — не случайность, не досадное приключение со мной одним, а необходимый закон жизни» (60, 232). «Не знаю, как передать это чувство, — совестно становится за свое человеческое достоинство и за произвол, которым так кичимся, — произвол проводить воображаемые черты и не иметь права изменить ни одной песчинки ни в чем, даже в себе самом. На все законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду» (60, 276). Можно было бы продолжать цитаты в этом же духе.

Толстой в противоположность своему прежнему взгляду приходит в конце 50-х годов к отрицанию нравственной свободы человека. Он теперь даже иронизирует над теми, кто, оставляя за человеком произвол в выборе высокого или низменного содержания жизни, говорит: «Вы сами поставили себя в это положение» (60, 358). Со всей силой убеждения он отвечает таким людям: «Поставил себя не я» (60, 358). Человек не виноват — считает он теперь. Силой довлеющих над ним законов и обстоятельств он лишен возможности сделать из своей жизни то, что он хочет.

И в этом признании ограниченности стремлений личности объективными закономерностями окружающей жизни Толстой, по сравнению со своими прежними теориями, приближается к мыслителям типа Чернышевского. Однако при этом сами закономерности жизни Толстой, в отличие от Чернышевского и его единомышленников, опять-таки понимает идеалистически, олицетворяет их теперь в злом боге, ради насмешки над человеком, поставившем человека в «самое пошлое, отвратительное и ложное состояние» (60, 358) вечного противоречия между идеалом и действительностью. Бог совершил над человеком «ужасный обман и злодеяние, для которого «мы бы не нашли слов...»

ежели бы человек поставил другого человека в это положение» (60, 358). И именно фатальная зависимость от бога, не дающего человеку изменить «ни песчинки» ни в чем, приводит Толстого в отчаяние. Он, по сравнению с Чернышевским и другими материалистами, не связывающими закономерности жизни с божественным предопределением, теперь преувеличивает несвободу человека.

Крушение прежних представлений о целях жизни и возможностях человека, понимание тщетности прежних призывов к самоусовершенствованию приводит Толстого к отказу от художественного творчества. В последних произведениях 50-х годов эти призывы звучат все более неубедительно, чисто декларативно, с полной неясностью реальной перспективы. Именно с этим связано отвращение самого писателя к «Семейному счастью». Утрачивается сознание пользы, приносимой обществу, теряется направление творчества как путь к найденной нравственной истине. Толстой не хочет писать «повести милые и приятные для чтения» (60, 436), и кладет перо.

### 3

Выход Толстого из кризиса начинается с обращения его к работе в школе. Школа становится убежищем, в котором писатель, по собственному признанию, «спасался и спасся» (60, 436) от всех своих философских «тревог» и «сомнений» (60, 456). «Одна моя вера, которая, смутно чувствуясь, привязала меня к делу воспитания. Мы ничего не знаем. Одна надежда знать — это знать всем вместе — слить все классы в знания науки. Надо чувствовать в себе Мефистофеля и не давать ему власти. Мефистофель есть сомнение в этой истине» (48, 82).

Правда, нельзя сказать, чтобы этот «Мефистофель» был задавлен. Нет, вскоре он очень явно проявляет себя в отрицании прогресса, неверии в человеческий разум, но в то же время в процессе своей школьной деятельности и общения с народом Толстой чувствует себя в жизни тверже и тверже. Уже написанное в марте 1861 г. письмо Толстого к Герцену показывает, что кризис позади. «Лед трещит и рушится под ногами — это самое доказывает, что человек идет» (60, 374), — пишет Толстой и признается, что у него самого в это время вырастает под ногами новая крепкая почва, «твердое и ясное знание моей России» (60, 374), «необходимое людям практическим» (60, 374).

Что же это за новая почва, вырастающая взамен «лопнувшего мыльного пузыря» (60, 374) его прежних взглядов на жизнь? Эта почва — новое сочувственное понимание нравственных основ жизни народа, определяющее новое мироощущение и новые нравственно-философские теории Толстого 60-х годов, во многом созвучные теориям Чернышевского.

Педагогические статьи журнала «Ясная Поляна» представ-

ляют собой очень интересный материал, показывающий происходящую в сознании писателя переоценку христианских требований к человеку.

О многом говорит уже то, что Толстой, восхищаясь своими учениками, нигде и ни разу не подчеркивает и не превозносит черты кротости и смирения в их характерах. Был в школе один очень кроткий мальчик, но о нем сказано, что главными чертами его были «тупость и кротость» (8, 37). Товарищи никогда не принимали его в игры, смеялись над ним и с удивлением рассказывали: «Какой чудной Петька. Побьешь — его маленькие и те бьют, а он встряхнется и пойдет прочь» (8, 37). «Совсем у него сердца нет», — сказал про него один мальчик» (8,37). Если в раннем творчестве Толстого самолюбивое чувство личности выступало обычно как отрицательный фактор и идеал виделся в личной непритязательности, то теперь, мы видим, отсутствие чувства личности у Петьки, о котором только что шла речь, изображается как явное отступление от нормы. Высшая христианская добродетель — смирение — выступает рядом с тупостью.

В этой же статье, где идет речь о Петьке, Толстой очень любопытно отвечает «либеральным членам благотворительных обществ», опасаясь связанного с образованием роста запросов народа: «Федька не тяготится своим оборванным кафтанишком, но нравственные запросы мучают Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека» (8, 48).

Этот Федька очень не похож на Наталью Савишну и других подобных ей героев раннего творчества Толстого, и мы видим, что Толстой высказывается за удовлетворение всех отнюдь не смиренных запросов личности Федьки и против тех, кто ханжески учит его смирению, пользуясь за его счет всеми жизненными благами.

Толстой в педагогических статьях, в унисон с Чернышевским, ясно высказывается за здоровое пользование радостями жизни. То, что теперь представляет собой для него норму, очень выразительно раскрывается в статье «Кому у кого учиться писать». В этой норме утвердило Толстого произведение Федьки. «Еще в первой главе он (т. е. Федька. — И. Ч.), — пишет Толстой, — одною чертой охарактеризовал отношения няньки к семейству: она работала в свою долю на наряды, замуж собиралась. И одна эта черта рисует уже всю девку, не могущую принимать и действительно не принимающую участия в радостях и горестях семейства. У ней свой законный интерес, своя единственная цель, поставленная ей Провидением, — будущее замужество, своя будущая семья. Наш брат сочинитель, в особенности такой, который желает поучить народ, представляя ему примеры нравственности, достойные под-

ражанию, непременно отнесся бы к няньке с вопросом о ее участии в общей нужде и горе семейства. Он сделал бы ее или постыдным примером равнодушия, или образцом любви и самопожертвования, и была бы мысль, а не было бы живого лица няньки. Только человек, глубоко изучивший и узнавший жизнь, мог бы понять, что для няньки вопрос о горе семейства и солдатстве отца есть законно второстепенный вопрос: у нее есть замужество. И это самое в простоте своей души видит художник, хотя и ребенок. Ежели бы мы описали няньку самой трогательной, самоотверженной девицей, мы бы ее вовсе не могли себе представить и не любили бы, как теперь ее любим. Теперь же мне так мила и жива эта толстощекая, румяная девочка, бегающая вечером на хороводы в купленных на заработанные деньги котах и кумачовом платье, любящая свою семью, хотя и тяготящаяся той бедностью и мрачностью, которая составляет такую противоположность ее душевному настроению. Я чувствую, что она добрая девочка, уже потому, что мать никогда на нее не жаловалась и не имела от нее горя. Я, напротив, чувствую, что она одна со своими заботами о нарядах, отрывками напеваемых песен и рассказами о деревенских сплетнях, принесенными с летней работы или зимней улицы, в грустное время одиночества солдатки служила представительницей веселья, молодости и надежды. Недаром он говорит, что только и было радости, как няньку замуж отдавали; недаром с такой любовью и подробностью описывает веселье свадьбы; недаром после свадьбы заставляет мать сказать: «Теперь мы разорились до конца». Видно, что, отдав няньку, они потеряли ту радость и веселье, которые она вносила в их дом» (8, 314).

В этом высказывании Толстого явно чувствуется полемическая направленность против собственных теорий 50-х годов. «Наш брат сочинитель» — это и сам Толстой, прежде видевший подлинную ценность человеческой жизни только в самоотвержении и утверждавший эту истину всем своим творчеством. Восхищение лицом няньки ясно говорит о признании писателем законности стремления к личным радостям и того положения, что жизнь не может строиться и держаться на одном самопожертвовании. Все живое стремится жить для себя. Человек, радующийся жизни, пользующийся земными благами, представляет собой отрадное зрелище, если он не отнимает эти блага у других. Весело смотреть на молодое, цветущее, живущее всей полнотою своих жизненных сил существо. Оно заражает своей радостью и других, вносит животворную струю в жизнь окружающих, обремененных заботами и горем. Недаром мать «няньки» ощущает, что с нею лишилась всего, что украшало ее жизнь. В будущем, вероятно, будут такие минуты, когда нянька полностью проявит, что она «добрая девочка», возможно, что от нее потребуются и жертвы, но, пока их не требуется, Толстой от души разрешает ей жить вне обращен-

ности к страданиям окружающих, цвести и радовать других этим своим цветением, копить силы для возможного нелегкого будущего. Этот взгляд на вещи воспринимается Толстым как народная мудрость, и именно это родственное Чернышевскому восприятие мировоззрения народа выводит Толстого из кризиса. Кризис наступил в результате осознания нежизненности христианского идеала, выздоровление связано с принятием здоровых форм эгоизма, которые теперь, при более глубоком знакомстве с жизнью народа, не кажутся Толстому несовместимыми с высоким нравственным существом человека.

Новая позиция Толстого явно дает себя знать и в художественных произведениях, созданных вскоре после выхода из кризиса.

В рассказе «Поликушка» впервые в творчестве писателя выдвигаются на первый план те страдания и тот нравственный вред, которые происходят от ущемления личных стремлений. Эта мысль объединяет рассказанные писателем истории Поликушки и Ильюшки. Ранее восхищавшийся личной неприязнательностью представителей народа, Толстой теперь ставит в центр внимания трагедию уязвленного чувства личности самого «незначительного и замаранного» человека из господской дворянни и справедливый протест, даже бунт, который предшествует вынужденному самоотречению солдат. Рассказ прямо приводит к выводу о том, как нужны народу материальная и нравственная независимость и право удовлетворения естественных личных стремлений.

Мысль о жестокости лишения живого создания всех радостей жизни и превращения его из существа, принадлежащего «себе», только в работника на других явно лежит и в основе рассказа «Холстомер». Видимо, не случаен тот факт, что, рисуя такое создание, совсем отрешенное от жизни для себя, Толстой избирает лошадь, беззащитное и бессловесное животное, которое только и можно было довести до такого состояния. Человека или даже животное, обладающее средствами защиты, нельзя заставить так жить.

В то же время Толстой заканчивает повесть «Казачьи», которую раньше не мог кончить потому, что никак не мог уяснить для себя главную мысль произведения о жизни такого «нехристианского» (6, 194) народа. Теперь, при новом взгляде Толстого на вещи, все становится на свои места, и главный пафос повести составляет полемика писателя с собственной теорией самоусовершенствования в духе христианского идеала. Толстой сталкивает носителя своего прежнего воззрения Оленина с жизнью казаков, строящейся на совсем иной основе. И в этом столкновении с законченной, целостной в своем совершенно земном, языческом и в то же время здоровом содержании жизнью целого народа теория самоотречения проявляет свою нежизненность и неосуществимость. Жизнь казаков

у Толстого — гармоническая, полнокровная реальность, тогда как Оленин с его высокими, но слишком абстрактными мечтами, которые он сам не может осуществить и постоянно противоречит им своим самочувствием и поведением, не имеет почвы в жизни.

Совершенно ясно, что народ в повести «Казачи» предстает совсем в иных чертах, чем в произведениях 50-х годов, где постоянно отыскивались и констатировались как норма черты кроткого смирения. Толстой явно отказывается здесь от мысли, что жизнь народа совершается и должна совершаться по законам самопожертвования.

Крепость новой нравственно-философской позиции Толстого подтверждается дневниковыми записями и письмами 60-х гг.

«Все, все, что делают люди, — делают они по требованию всей природы, — гласит запись в дневнике начала 1863 г. — ...Шахматная игра ума идет независимо от жизни, а жизнь от нее... Так называемое самоотвержение, добродетель есть только удовлетворение одной болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. И только то настоящее, которое берет себе девизом: «нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав». — Человек самоотверженный слепее и жесточе других» (48, 52—53). Здесь явно «шахматной игрой ума» называются прежние идеально-самоотверженные стремления самого Толстого и им противопоставляются здоровые требования человеческой природы, полнота жизни, удовлетворяющей все естественные потребности человека. Очень характерно, что самоотвержение связывается даже с жестокостью.

Формула «кто счастлив, тот прав», или «прав тот, кто счастлив», повторяется в одной из последних редакций «Казачков».

Явно в связи с новым взглядом на жизнь находится постоянный сочувственный интерес к жизнерадостной Татьяне Берс — родной сестре по духу «няньке» из федькиного рассказа, прототипу Наташи в романе «Война и мир». «В Таню все вглядываюсь» (48, 47), — читаем в дневнике 27 декабря 1862 г. И вскоре (15 января 1863 г.) Таня характеризуется как «прелесть наивности эгоизма и чутья» (48, 50).

Правда, дело обстоит не без противоречий. Иногда Толстой и в это время остро переживает моменты «раскаяния в эгоизме» (48, 47, 48). Однако характерно, что и эти моменты не являются возвращением к прежней нравственной норме жизни только для других. «Одного часто мне недостает (все это время) — сознания, что я сделал все, что должен был (выделено Толстым. — И. Ч.) для того, чтобы вполне насладиться тем, что мне дано, и отдать другим, *всему* (выделено Толстым. — И. Ч.) своим трудом за то, что они мне дали». Как видим, Толстой и в минуты недовольства эгоистической жизнью не требует в это время самопожертвования. Человек должен

только отдать свой долг жизни и людям за то, что он получил от них, и сделать это для того, чтобы «вполне наслаждаться тем, что дано». Цель полагается все-таки в собственном счастье в противоположность прежним призывам в христианском духе сделать свою жизнь лишь «средством» (46, 129) для счастья других. То же самое является подтекстом другой записи. «Мне хотелось чувствовать, что счастье это не случай, а мое». То есть Толстому хочется, чтобы счастье его было заслуженным, полученным им по справедливости, а не по слепому капризу судьбы. Но если мы вспомним, что раньше справедливость казалась ему «крайней» (46, 130), низшей мерой добродетели и удовлетворяющие «ступени совершенства» виделись в отказе от своей доли во имя других, то мы и здесь отметим сдвиг. Все эти формулировки, если вдуматься в их содержание, скорей напоминают юношеские, докавказские определения Толстым целей жизни в духе передовой морали сороковых годов (мы их приводили в начале настоящей статьи), чем те нравственные теории, которые сформировались у писателя на Кавказе и определили направление творчества 50-х годов.

И надо сказать, что вообще все настроения недовольства собой и своей жизнью в конце концов побеждаются в это время. Преобладающее настроение Толстого в 60-е годы — любовное приятие жизни.

Именно с этим настроением связано определение в 1865 г. цели художника: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных ее проявлениях» (61, 100). Это определение имеет прямое отношение к создающемуся в это время самому жизнерадостному произведению Толстого — роману «Война и мир». Исследователями творчества писателя уже давно отмечен особенно ярко выраженный в этом романе пафос любви к жизни со всеми ее земными и личными наслаждениями и радостями. Но долго это объяснялось противоречием языческого галанта Толстого его христианскому мышлению. А В. Ермилов в книге «Толстой-романист» воздвиг на этом основании китайскую стену между Толстым и христианской этикой на все времена, уверяя, что писатель всегда сознательно ненавидел самоотречение.

В действительности же здесь дело в особенностях нравственно-философской позиции Толстого именно в 60-е годы.

Взгляд Толстого 60-х годов и в художественных произведениях, и в повседневном быте постоянно радостно обращен ко всему, в чем он видит полноту жизни, ее цветение: «Кроме многих радостей жизни, которыми я пользуюсь, есть еще большая радость следить за расположением и улучшением растений и животных моих... для меня это чрезвычайно интересно и привлекательно. Все это живое, все это растет и множится. За-

будешь как-нибудь на неделю за писанием, или приедешь из Никольского, пройдешь по дворам и садам, смотришь: там выросло, там расплодилось...» (60, 109—110). Именно такая полнота жизни всего живого для самого себя кажется Толстому естественной и законной, в противоположность усилиям самоотречения.

Очень интересным в смысле отношения к таким усилиям является письмо А. А. Толстой, в котором писатель реагирует на известие о браке двух проповедников христианской морали А. Тютчевой и И. Аксакова:

«Во-первых, брак (не брак, а это надо назвать как-нибудь иначе, надо приискать или придумать слово), пока — брак А. Тютчевой с Аксаковым поразил меня, как одно из самых странных психологических явлений. Я думаю, что ежели от них родится плод мужского рода, то это будет тропарь или кондак, а ежели женского рода, то российская мысль, а может быть, родится существо среднего рода, — воззвание или т. п.

...Нет без шуток, что-то неприятное, противуестественное и жалкое представляется для меня в этом сочетании. Я люблю Аксакова. Его порок и несчастье — гордость, гордость (как и всегда), основанная на *отрешении от жизни* (выделено нами. — И. Ч.), на умственных спекуляциях. Но он еще был живой человек. Я помню, прошлого года он пришел ко мне и неожиданно застал нас за чайным столом с моим *belles soeurs*. Он покраснел. Я очень был рад этому. Человек, который краснеет, может любить, а человек, который может любить, — все может. После этого, я разговорился с ним с глазу на глаз. Он жаловался на сознание тщеты и пустоты своего газетного труда. Я ему сказал: «Женитесь. Не в обиду будь сказано, я опытом убедился, что человек неженатый до конца дней мальчишка. Новый свет открывается женатому». Вот он и женился. Теперь я готов бежать за ним и кричать: я не то, совсем не то говорил. Для счастья и для нравственности нужна *плоть и кровь* (выделено нами. — И. Ч.). Ум хорошо, а два лучше, говорит пословица: а я говорю: одна душа в кринолине нехорошо, а две души, одна в кринолине, а другая в панталонах, еще хуже. Посмотрите, что какая-нибудь страшная нравственная пошлость выйдет из этого брака.

...Если бы в самом деле могла быть душа или скорее разум в кринолине, тогда бы все было прекрасно; но, к несчастью, в душе этой было настолько земного лимона (*limons*), что она пошла за Аксакова» (61, 120—122).

Свое признание законности и права жизни для себя писатель связывает в этом письме с женитьбой. Однако в действительности дело обстояло сложнее. Толстой, как мы видели, был подведен к соответствующим выводам всей логикой и атмосферой жизни конца 50-х—60-х годов и принял диктуемый ею взгляд на вещи еще до женитьбы, в результате общения с на-

родом. Женитьба явилась только еще одним толчком к утверждению в найденной истине.

Можно привести еще некоторые записи в дневнике, свидетельствующие о том, что в это время последовательное осуществление самоотверженных стремлений связывается Толстым с неполноценностью, недостатком жизненных сил, неумением ценить то, что дает жизнь. «Мысль ленивого, скучающего самоотвержения в драме» (48, 65), — записывает он новый, родившийся у него замысел. «Совпадение личных с общим» (48, 89) — гласит другая запись, видимо, имеющая в виду представление о желательной здоровой норме человеческих отношений.

Порой, правда, опять и опять мы слышим нотки грусти Толстого при констатации того факта, что «все на свете эгоисты» (61, 73). Однако эти нотки грусти побеждаются трезвым, близким Чернышевскому сознанием естественности эгоистических побуждений, их необходимости, невозможности без них существования самой жизни. «Совершенное возможно в воображении, — пишет Толстой в записной книжке, — как вечное движение возможно без трения и тяготения. — Самое увлечение красотой и истиной мешает осуществлению красоты и истины» (48, 106). Воображение увлекает к прекрасному, нравственно совершенному, однако «человек, который жил бы одним воображением — слишком хорошо знал бы, что хорошо и что дурно, но не имел бы ни силы, ни умения сделать то, что хорошо» (48, 106). Чтобы жить, он обязан считаться «с деятельностью всех своих других способностей» (48, 106), т. е. в переводе, с законами своей материальной природы. Вспомним здесь же формулировку Чернышевского «Жизнь умственная и нравственная развивается надлежащим образом тогда, когда здоров организм, т. е. материальная сторона человеческой жизни идет удовлетворительно» (II, 117).

Итак, весь приведенный материал свидетельствует о большем, чем когда-либо раньше или позже, приближении Толстого 60-х годов к самым передовым этическим теориям эпохи, в частности, к теориям Чернышевского. Родство раньше не понимаемого, а теперь понятного и сознательно принятого Толстым язычества с нравственными требованиями Чернышевского в это время представляется совершенно несомненным.

Правда, мы далеки от мысли отождествлять Толстого и Чернышевского. Как уже было видно из приведенных высказываний Толстого, его отношение к самоотвержению и в это время несколько другое, чем у Чернышевского. Если последний в статье «Антропологический принцип в философии» и романе «Что делать?» доходит до полного отрицания жертвы («жертва — сапоги всмятку») и объясняет все поступки человека «расчетом» (7, 285) больших и меньших личных интересов, то Толстой, признавая негодность для жизни христианских норм

постоянного самоотречения, и теперь считает *чисто* самоотверженные порывы высшими проявлениями человеческого духа, возможными в особые моменты жизни. В этом он ближе к Герцену, чем к Чернышевскому. «А позвольте спросить, возможно ли хроническое самоотвержение? Разом пожертвовать собой не важность. Курций бросается в пропасть, да и поминай как звали — это понятно, а беспрестанно, целые годы, каждый день приносить себя в жертву — да где же взять столько геройства или столько ослиного терпения»<sup>5</sup>. Отношение Толстого к самопожертвованию не только в дневниках, но и в романе «Война и мир» очень напоминает эту известную формулировку Герцена. Он неизменно, с одной стороны, восхищается моментами самозабвения в Наташе, выражением глаз княжны Марьи, «когда она не думала о себе» (9, 110), умением Кутузова в ответственные минуты «отречься от своей личной воли» (11, 174), самопожертвованием народа в Бородине, а с другой стороны, считает невозможным, негуманным и неестественным требование подобной настроенности как повседневного самочувствия и единственной сознательно поставленной жизненной цели.

Другое отличие Толстого 60-х годов уже не только от Чернышевского, но и от других революционных демократов относится к области представления о границах нравственной свободы человека.

Мы видели, что Толстой уже в конце 50-х годов шел к теории фатализма. Уже тогда ему, в противоположность прежнему утверждению неограниченности нравственной свободы, стало казаться, что человек не может изменить «ни одной песчинки ни в чем и даже в себе самом» (60, 265). В 60-е годы Толстой приходит к окончательному убеждению в этой истине. «Необходимо отказаться от сознаваемой свободы и признать неощущаемую нами зависимость» — этими словами не случайно кончается роман «Война и мир». Это мысль, доказательству которой подчиняется художественный материал романа как в части военных событий, так и в развитии и решении личных судеб героев романа, все сознательные усилия воли которых в несущем их куда-то и независимом от них потоке событий и чувств «поражаются бесплодностью» (12, 14).

Эта же мысль является и лейтмотивом дневниковых записей и писем 60-х годов. «Живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то высшему непреодолимому закону» (48, 342). «Ничего не сделаешь против сложившегося» (48, 54). «Чему быть, того не миновать. Жизнь устраивает все по-своему, а не по-нашему...» (61, 36). «Замечательно, как силен невысказываемый заговор людей о том, чтобы сокрыть сознание

<sup>5</sup> А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. 2. М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 79.

своей несвободе» (48, 129). И можно было бы еще и еще приводить высказывания Толстого, клонящиеся к тому, что свобода есть только иллюзия человеческого сознания.

Ново в решении вопроса о границах свободы, по сравнению с временем кризиса конца 50-х годов, теперь только то, что если тогда, увидев человека связанным, Толстой пришел в отчаяние, то новый взгляд на вещи, обретенный после кризиса, включает в себя принятие несвободы человека. Писателю кажется теперь, что в жизни есть какая-то высшая целесообразность, не всегда доступная сознанию человека, и что ходом событий руководит все-таки не злая и тупая, а благая и мудрая высшая сила, устраивающая все лучше, чем это могут понять и желать люди. «В чем кажется слабость, в том может быть источник силы» (48, 54). «Иногда думаешь, что жизнь устраивает противно твоим желаниям, а выходит, что она делает то же самое, только по-своему» (61, 36).

Толстой в 60-е годы постоянно настойчиво ищет и находит целесообразность в явлениях жизни. «Показать, что люди, подчиняясь зоологическим законам, никогда не познают этих законов и, стремясь к своим личным целям, невольно выполняют цели общие. И показать, каким образом это происходит. В особенности заметно при переворотах (разврат, останавливающий размножение людей там, где избыток населения). Спасительный клапан везде» (48, 107—108). Даже такие низменные побуждения, как разврат, и то, как мы видим, теперь кажутся Толстому в итоге служащими благим целям провидения и, значит, имеющими право на существование. В связи с этим и еще многими высказываниями Толстого в этом же духе период его развития в 60-е годы ясно выделяется как особый период, отличающийся от предыдущего именно принятием *всей* природы человека, со всем высоким и низким, что в ней есть, и общего хода жизни, от которого человек не может и от которого ему не нужно освобождаться.

Характерно, что писатель сам называет свои «мысли о границах свободы и зависимости» (71, 195) нераздельной частью мирозерцания, давшего ему спокойствие и счастье. Об этом он пишет в марте 1868 г. М. П. Погодину: «Мысли эти плод всей умственной работы моей жизни и составляют нераздельную часть того мирозерцания, которое, один бог знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье» (61, 195).

Это спокойствие и счастье Толстого объясняется тем, что мысль о несвободе человека, о подчиненности его неизвестным законам высшей силы, оправдала для него жизнь, которую вел он сам и множество других людей, не могущих отказаться от личного счастья и осуществить принцип самоотвержения. Раз на пути самоусовершенствования в том духе, в каком он его раньше мыслил, стоят требования самой зачем-то именно

так созданной богом человеческой природы и раз даже низменные страсти могут играть роль «спасительного клапана в паровике» (это выражение много раз повторяется Толстым), то значит можно не огорчаться неудачей подобного самоусовершенствования.

Таким образом, в нравственно-философских теориях Толстого 60-х годов опять сложно сплетаются сильные и слабые стороны. Защита личных стремлений очень своеобразно связывается у него с фатализмом. Если когда-то, в 50-е годы его отличало от революционных демократов преувеличение нравственной свободы человека, то теперь, наоборот, он отличается от них крайностями ее отрицания и теми выводами, которые он делает в связи с этим из защиты права личности. У революционных демократов защита личного прямо ведет к требованиям социального переустройства, а у Толстого 60-х годов она сочетается с положением о том, что сознательная воля человека не может изменить жизнь и потому ведет к оправданию личного счастья в существующих обстоятельствах, к фаталистической покорности сложившемуся ходу вещей.

Однако слабые стороны мировоззрения Толстого никогда не должны затмевать для нас сильные. Применительно к развитию писателя в 60-е годы важно еще и еще раз подчеркнуть то, что сближает его в это время с наиболее передовыми мыслителями времени и, в частности, с Чернышевским, — раскрепощение от христианских нравственных норм.

И, на наш взгляд, именно интенсивно происходящий в 1862 г. в Толстом процесс этого раскрепощения мог сыграть очень большую роль в появлении на свет упомянутого письма Чернышевскому. Родство признанного теперь Толстым права человека на всю полноту земной радости с этическими требованиями Чернышевского, новое, близкое Чернышевскому восприятие нравственных основ жизни народа должно было способствовать, может быть даже не вполне осознанно, возникновению особой симпатии Толстого к Чернышевскому, ощущения внутренней близости с ним и важности именно его «искреннего и серьезного» мнения о своем самом задушевном и волнующем деле.

Эта симпатия не удержалась надолго. Ее угасанию способствовало и несходство очень многого в воззрениях писателей, и связанный с этим несходством резкий тон рецензии Чернышевского о журнале «Ясная Поляна». Однако все это уже другая сторона дела, несколько подрывающая и не опровергающая того, что доказывается в настоящей статье.

## ОБЩИННАЯ ТЕОРИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ПУБЛИЦИСТИКА «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

## 1

Теперь даже упорствующий консерватор едва ли осмелится гальванизировать ставшие достоянием истории суждения о полярной противоположности идеологии революционеров-демократов и народников. Оживившееся в советском литературоведении с середины 50-х годов изучение разночинского этапа освободительного движения привело и философов, и историков, и литературоведов к пересмотру бытовавших длительное время концепций народничества (его источников, социально-политической, философской и эстетической сущности, эволюции и т. п.). Обрела «второе рождение» методологически чрезвычайно перспективная ленинская мысль о том, что «родоначальниками» народничества следует считать Герцена и Чернышевского. Работы последнего десятилетия, дискуссии в исторических и филологических журналах помогли устранить искусственные барьеры, которыми народническая мысль отделялась от революционно-демократического наследия, и одновременно уточнить ее специфику.

Однако идейные традиции Чернышевского в русской общественной мысли 70—80-х годов рассматриваются пока довольно суммарно, а работы сопоставительного характера весьма малочисленны. Материалы нелегальной и легальной демократической журналистики (в том числе народнической) в этом плане также изучены слабо. Между тем именно журналистика выступала «оформителем» и пропагандистом народнической идеологии, популяризируя социально-политические и философские доктрины «Современника» Чернышевского или полемизируя с ними. И, конечно же, в центре внимания народничества оказался общинный вопрос — основа основ народнического вероисповедания и один из краеугольных камней экономической теории Чернышевского<sup>1</sup>. В поисках промосто-

<sup>1</sup> См.: В. Н. Замятин и др. Экономические взгляды Н. Г. Чернышевского. Госполитиздат, 1951.

да от надвигающейся и уже закрывшей половину российского небосвода капиталистической грозы народники ухватились за общинную теорию Герцена и Чернышевского. Причем работы последнего пользовались особенной популярностью<sup>2</sup>. «Одним из самых распространенных изданий среди революционной интеллигенции первой половины 70-х годов» был обнаруженный при арестах у широкого круга народников сборник статей Чернышевского под заглавием «Статьи об общинном владении землею», изданный в Женеве (1872) М. Элпидиным<sup>3</sup>.

Изучение отношения публицистики «Отечественных записок» к общинной теории Чернышевского должно конкретизировать наши представления о социально-политической направленности журнала и уточнить обусловленную временем трансформацию экономических идей Чернышевского в журнале, наиболее последовательно отстаивавшем теоретические заветы шестидесятников. Такой двойной аспект рассмотрения темы представляется методологически целесообразным, поскольку он позволяет одновременно исследовать два сложных идейных феномена<sup>4</sup>.

Следует уточнить, что понимается под публицистикой «Отечественных записок», поскольку общеизвестно, что беллетристика журнала весьма публицистична, а публицистика отличается высокими художественными достоинствами, своеобразной «беллетристичностью». Учитывая спорность термина «публицистика» и не претендуя на теоретические определения, укажем, что в статье не рассматривается творчество крупнейших беллетристов журнала (Щедрин, Гл. Успенский, Златовратский, Каронин и др.), а преимущественное внимание обращено на социально-экономические статьи тех, кого историко-журнальная традиция давно причислила к «лику» публицистов. Это — Михайловский, Елисеев, Кривенко, Воронцов и прочие социологи, экономисты и обозреватели «Отечественных записок».

## 2

Идеи «общинного социализма» Чернышевского и их взаимосвязь с народническим толкованием общины довольно осно-

<sup>2</sup> См.: М. Т. Пинаев. Наследие Н. Г. Чернышевского в жизни и борьбе революционных народников 70-х годов. — В сб.: Проблемы русской и зарубежной литературы. Изд. Сарат. ун-та, 1965.

<sup>3</sup> Б. И. Итенберг. Движение революционного народничества. М., «Наука», 1965, стр. 72. О большой работе М. Элпидина по пропаганде наследия Чернышевского см.: М. Т. Пинаев. М. К. Элпидин — революционер, издатель и пропагандист наследия Чернышевского. Учен. зап. Волгоградского пед. ин-та, 1967, в. 21.

<sup>4</sup> Разумеется, особенно эффективным было бы сопоставить интерпретацию общинных идей Чернышевского в публицистике «Отечественных записок» с публицистикой других народнических изданий («Неделя», «Русское богатство», «Устой», «Слово» и др.). Но это — дело дальнейшего изучения идейных взаимосвязей Чернышевского с народнической журналистикой.

вательно выяснены в монографических исследованиях жизни и творчества писателя, а также в специальных работах. Остановившись на них обстоятельно нет необходимости. Однако основной круг вопросов, волновавших Чернышевского и доставшихся по «наследству» демократической журналистике 70—80-х годов, следует напомнить.

Вопрос об общинном землевладении был поднят Чернышевским в конце первой революционной ситуации не случайно. Для Чернышевского он всегда связывался с вопросом о крестьянской революции. Именно поэтому оценка общины у него всегда исторически конкретна и лишена односторонней славянофильской (а позднее народнической) восторженности. «Защита общины, — справедливо отмечает В. Н. Замятин, — вытекала из стремления воспользоваться революционной ликвидацией феодализма для перехода к социалистической форме хозяйства в целях избавления трудящихся масс крестьянства от мучительного пути капиталистического развития»<sup>5</sup>. Однако едва ли можно согласиться с тем, что, «поднимая вопрос об общине», Чернышевский хотел лишь «пропагандистски указать на социалистический идеал и на то, что общинное владение постольку есть «высшая гарантия благосостояния людей», поскольку оно ведет к осуществлению этого идеала»<sup>6</sup>. Подобные утверждения вольно или невольно «поднимают» Чернышевского над эпохой и его собственными воззрениями.

Дело в том, что для Чернышевского община была не социалистической утопией, не теоретическим идеалом, а реальной практикой крестьянской жизни. И трезвый практик Чернышевский не был бы им, если бы в погоне за журавлем в небе выпускал синицу из рук. Отнюдь не теряя из виду радужных социалистических перспектив общины в условиях грядущей революции (и действительно пропагандируя их), Чернышевский не сомневается в необходимости сохранения (при условии наделения крестьянства землей) и дальнейшего развития — но без административного вмешательства — общинных начал. Революционер-демократ верил сам в общинный принцип, который предохраняет (а точнее — временно сдерживает) крестьянство от пролетаризации и дает возможность мало-мальски человеческого существования. В 50—60-е годы и даже в первой половине 70-х<sup>7</sup>, когда разложение деревни было еще мало за-

<sup>5</sup> В. Н. Замятин. Экономические взгляды Н. Г. Чернышевского. стр. 165.

<sup>6</sup> См.: Е. И. Покусаев. Николай Гаврилович Чернышевский. Очерк жизни и деятельности. М., Учпедгиз, 1960, стр. 72. Интерпретацию строк Чернышевского, выражающих его скептицизм в отношении споров об общинном владении, см. также и в статье В. Е. Иллерицкого «Н. Г. Чернышевский о русской общине». — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Саратов, 1939.

<sup>7</sup> По сведениям, которые приводит Б. С. Итенберг, из 128 крестьянских волнений в начале 70-х годов только три выступления связаны с социальной борьбой внутри крестьянства. «Антагонизм внутри крестьянства,

метно, подобные иллюзии, по выражению Ленина, были «позволительны». В доказательство необходимости «праобщины», из которой впоследствии разовьется община социалистическая («государственная поземельная собственность с общинным владением»<sup>8</sup>), Чернышевский обращается к гегелевской триаде (на этом основании, но отнюдь не из «манчестерских» соображений, он допускает наряду с общинным и частное владение землей). В отличие от народнических самобытников Чернышевский заявляет о том, что общину нельзя считать «особенною прирожденною чертою нашей национальности, а надобно смотреть на нее как на общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа. Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего, как вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития» (V, 362). Именно в этом пункте и намечаются основные расхождения народников-экономистов с Чернышевским.

Исходя из своего диалектического понимания общины, Чернышевский ратует не за консервацию «остатков первобытной древности», а за интенсификацию экономического развития России, отчетливо понимая, что она должна привести к эпохе капитализма («эта будущность от нас не за горами» — V, 153), связанной с распространением частной поземельной собственности («фермеров-капиталистов»). По логике Чернышевского, тормозить ход исторического развития едва ли целесообразно, так как фермерство — вторая ступень философской триады, на смену которой должна прийти «высшая степень развития» общинного владения, связанная с его социалистическим идеалом. Понимая, что капитализм не принесет крестьянству ничего, кроме новых бедствий, революционер-демократ не становится на путь противодействия ему, дабы избежать западноевропейских зол. Он, напротив, стремится к тому, чтобы в русской общественной жизни было как можно больше сходства с Западом, но оно «пока еще незаметно ни в чем, если хорошенько вникнуть в сущность дела» (III, 353). Для такой позиции необходимо было большое личное мужество, которого зачастую не хватало изломанным и рефлектирующим натурам народнических публицистов. Оценка капитализма Чернышевским, — аргументированно пишет Н. В. Хессин, — «возвышает

---

несмотря на развитие капиталистических отношений в деревне, проявлял себя еще очень незначительно, в целом крестьянство выступало главным образом против помещиков» (Б. С. Итенберг. Движение революционного народничества. М., «Наука», 1965, стр. 63).

<sup>8</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. V, М., 1939—1950, стр. 784. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

его и над Герценом, и тем более над народниками»<sup>9</sup>. Чернышевский «был весьма далек от народнических иллюзий, будто современная ему крестьянская община уже является социалистической формой производства. Напротив, он был глубоко убежден, что лишь в будущем община станет социалистической формой»<sup>10</sup>. Разумеется, когда Н. В. Хессин категорически заявляет о том, что «взгляды Чернышевского на общину резко (курсив мой. — В. С.) отличны от народнических», то этим он отдает дань предшествующей научной традиции. Но не замечать отличий во взглядах Чернышевского и народников на общину, конечно, нельзя.

Общественно-политический контекст эпохи 70—80-х годов по-новому «озвучивал» суждения Чернышевского об общине, наполнял их новым содержанием. И «прибавка» народников к наследству шестидесятников зачастую рождалась не от субъективного истолкования первыми вторых, а от того, что повторять сказанное двумя десятилетиями ранее не всегда значит говорить истину.

Не избежали этого и публицисты «Отечественных записок».

### 3

В письме К. Марксу от 16 февраля 1881 года Вера Засулич сообщала, что «наша передовая литература, как, например, «Отечественные записки», продолжает развивать идеи Чернышевского в общинном вопросе»<sup>11</sup>. Это свидетельство интересно во многих отношениях. Оно фиксирует и отношение революционного народничества к «Отечественным запискам», и характерное для эпохи 70—80-х годов понимание идейной преемственности в освободительном движении, в котором еще отсутствует исторический опыт и зрелость, помогающие нам корректировать подлинное отношение «Отечественных записок» к общинной теории Чернышевского. Суждение В. Засулич показательны и по характерной для народничества уверенности, что «идеи Чернышевского в общинном вопросе» не потеряли своей социальной актуальности и спустя два десятилетия, в которые Россия довольно интенсивно двигалась по капиталистическому пути. И все-таки, если подходить исторически, не привнося в оценку высказывания В. Засулич почти вековой опыт исторического развития (мы всегда оказываемся «мудрее» своих предшественников), оно целиком справедливо и добавляет лишний аргумент в пользу того, что сами народ-

---

<sup>9</sup> Н. В. Хессин. Н. Г. Чернышевский о путях экономического развития России. Учен. зап. Моск. ун-та, 1956, в. 179, стр. 84.

<sup>10</sup> Там же, стр. 97.

<sup>11</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Госполитиздат. Изд. 2-ое, 1951, стр. 229.

ники считали своим «духовным отцом» Чернышевского<sup>12</sup>.

Общинный вопрос пришел на страницы «Отечественных записок» не сразу. И решался он в течение пятнадцатилетней истории журнала отнюдь не единообразно. В первые годы существования «обновленного» журнала внимание публицистики «Отечественных записок» было обращено на экономическое положение крестьянства в связи с реформой. Это был тот «исходный пункт», к которому, — по замечанию В. И. Ленина, — «неизбежно должен восходить и по сию пору каждый, желающий изложить свои общие воззрения по экономическим и публицистическим вопросам»<sup>13</sup>. Он разрабатывался и в беллетристике журнала («Письма о провинции» Щедрина, «Разоренье» Гл. Успенского и др.) и в публицистических произведениях Н. Демерта<sup>14</sup>, Скалдина, в целом ряде анонимных экономических статей, которые зачастую перекликались в оценке крестьянской реформы с программным в этом плане для журнала щедринским циклом «Письма о провинции». Отсутствие специального интереса к общине в «Отечественных записках» конца 60-х годов можно объяснить тем, что ни Некрасов, ни Щедрин не связывали с ней каких-либо надежд в радикальном преобразовании общества. Как убедительно доказал М. Гин, для Некрасова «узкий вопрос — является ли сельская община ячейкой будущего социалистического общества — ...был не только сугубо теоретическим, но и отнюдь не самым актуальным... никаких надежд на общину Некрасов не возлагал»<sup>15</sup>. По верному замечанию Е. И. Покусаева, другой редактор «Отечественных записок», Щедрин, тоже «отвергал народнические взгляды на современную общину как на возможную ячейку новых социалистических отношений»<sup>16</sup>. С другой сторо-

---

<sup>12</sup> Полемизуя с обозревателем «Вестника Европы» и подчеркивая преемственность освободительных традиций, «Земля и воля» (1879, № 4) писала: «Уж не намерен ли г. Хроникер обвинить нас в недостатке уважения к памяти тех лиц, которых совершенно справедливо считают нашими духовными отцами, в забвении их заслуг перед русским обществом? Тогда пусть яснее формулирует свои обвинения. Оставались ли мы равнодушными к их судьбе, прятали ли их произведения под спудом, жгли ли мы их рукописи или каким-нибудь другим образом отрекались от них? Если так — ставьте обвинительные пункты, а мы ответим и выставим свои». — Цит. по кн.: Революционная журналистика 70-х годов. Под ред. В. Базилевского, стр. 163.

<sup>13</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 509.

<sup>14</sup> Подробно см.: В. Н. Азбукин. Публицистика Н. А. Демерта периода сотрудничества в «Отечественных записках». — В сб.: Писатель и история русского общества. Волгоград, 1968.

<sup>15</sup> М. Гин. Об отношении Некрасова с народничеством 70-х годов. — «Вопросы литературы», 1960, № 9, стр. 122.

<sup>16</sup> Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд. Саратов. ун-та, в. 3, 1962, стр. 160. См. также по этому вопросу: В. Н. Лукин. Социологические воззрения М. Е. Салтыкова-Щедрина. Учен. зап. Щербаковского пед. ин-та, 1956, в. 1, ч. 2; Б. З. Мушин. Социологические взгля-

ны — народнические публицисты еще только осваивались в журнале.

Разумеется, говоря о положении русского крестьянства, невозможно было обойти молчанием его общинные формы жизни. Однако определенной концепции русской общины в журнальной публицистике в эти годы еще не сложилось. Наряду с утверждениями, что община гарантирует крестьянство «от всяких невзгод» и защищает от пролетариата<sup>17</sup>, характерных для родоначальников народничества, община подвергается резкой критике «с чисто буржуазной точки зрения»<sup>18</sup> в очерках Скалдина (Ф. П. Еленева) «В захолустье и столице».

Десятилетие крестьянской реформы, совпавшее с активизацией народнической мысли, послужило толчком к более оживленному обсуждению общинных проблем. Этому способствовал также выход книги В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России» (1869), обращавшего внимание на необходимость сохранения общины с переделами<sup>19</sup>, и работы А. Гакстгаузена<sup>20</sup>, в которой Герцен, по замечанию Ленина, и открыл-то русскую общину. Подлило масла в огонь и издание в русском переводе первого тома «Капитала» К. Маркса (1872)<sup>21</sup>.

В анонимной статье «По поводу русского издания книги Карла Маркса» («Отечественные записки», 1872, № 4) Михайловский уже начинает формулировать ту экономическую доктрину, которая получит поддержку других публицистов-народников. Он не отрицает развития промышленности и поэтому считает своевременной книгу К. Маркса, которая должна насторожить русскую общественность по отношению к европейской цивилизации. Продвижение ее в Россию должно разрушить общину. Для «предотвращения неправильностей европейской цивилизации»<sup>22</sup> Михайловский предлагает обратиться к нашему прошлому, к славянофильской экономической программе, которой «предстоит довольно завидная будущность». Суть же этой программы — «сохранение русской общины и

---

ды М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Учен. зап. Удмурдского пед. ин-та, 1958, в. 14; Р. Левит. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Калуга, 1961.

<sup>17</sup> Новое поземельное устройство государственных крестьян в великорусских губерниях. — «Отечественные записки», 1870, № 11, отд. 2, стр. 15—16.

<sup>18</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т 2, стр. 514.

<sup>19</sup> См. оценку ее в статье «Отчего трудно поправляться нашему рабочему?» — «Отечественные записки», 1870, № 2.

<sup>20</sup> А. Гакстгаузен. Исследования внутренних отношений народной жизни и, в особенности, сельских учреждений России. М., 1870.

<sup>21</sup> Об истории перевода и полемике вокруг него (в частности, об оценке «Капитала» на страницах «Отечественных записок») см.: А. Л. Реуэль. Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX века и марксизм. Госполитиздат, 1956.

<sup>22</sup> «Отечественные записки», 1872, № 4, отд. 2, стр. 183.

покровительство русской промышленности, причем разумеются русские фабриканты»<sup>23</sup>. Программа, в которой уже очевидны нотки национальной исключительности, характерные для народничества.

Может показаться, что Михайловский выступает здесь верным хранителем «наследства» шестидесятников. Он неоднократно обращается к работам «одного из талантливейших и умнейших русских людей» (не называя по цензурным соображениям фамилии Чернышевского), и, в частности, к «Критике философских предубеждений против общинного землевладения»<sup>24</sup>. Приведенные суждения созвучны тому, что писал Чернышевский в статье, посвященной книге А. Гакстгаузена: «Экономическое движение в Западной Европе породило страдания пролетариата. Мы нимало не сомневаемся в том, что эти страдания будут исцелены, что эта болезнь «не к смерти, а к здоровью», но переносить настоящие свои страдания для Западной Европы все-таки тяжело, и врачевание этих страданий требует долгого времени и великих усилий. У нас, принимающих ныне участие в экономическом движении Европы, сохранилось противоядие от болезни, соединенной с этим движением на Западе, и мы поступили бы очень нерасчетливо, если бы по нелюбви к патриархальности вздумали отступить от него в такое время, когда оно оказывается чрезвычайно пригодным для предохранения нас от страданий, видимых нами на Западе» (IV, 341). Однако, несмотря на известный утопизм, суждения Чернышевского лишены экономического волюнтаризма, который был характерен для Михайловского, веры в таинственный общинный дух (что неоднократно утверждали славянофилы, к поддержке которых обратился Михайловский), того «исторического пессимизма» (Ленин), который стал характерной чертой народнических размышлений об экономических путях развития России.

Михайловскому чужда позиция «счастливых органистов», тех, кто говорит об исторической неизбежности капиталистического развития и связанной с этим пролетаризации крестьянства. «Отсутствие социологического реализма», «бюрократическое мышление»<sup>25</sup>, по выражению Ленина, приводит Михайловского к субъективно социологическим утверждениям о свободе выбора для России различных путей экономического развития: или буквальное повторение истории Европы, или «поступательное развитие тех самых экономических начал, какие и теперь имеют место на громадном пространстве империи (речь идет об общинном землевладении. — В. С.). Это будет,

<sup>23</sup> «Отечественные записки», 1872, № 4, отд. 2, стр. 181.

<sup>24</sup> См.: Н. Михайловский, Идеализм, идолопоклонство и реализм.— «Отечественные записки», 1873, № 12, отд. 2, стр. 272.

<sup>25</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 539.

разумеется, опыт небывалый, но ведь мы и находимся в небывалом положении»<sup>26</sup>. «Небывалое положение», в котором оказалась капитализирующаяся и цивилизующаяся (эти понятия рассматривались в народнической публицистике как равнозначные) Россия, Михайловский видит в поздней и мало развитой русской цивилизации: Россия обладает прекрасным типом общественного устройства (общинным), но степень его развития незначительна. Исходя из своей теории типов и степеней общественного развития, теоретик народничества и ратует за сохранение общины, вплоть до закрепления ее государственными мерами<sup>27</sup>. «Бюрократическое мышление» представлено здесь во всей своей наготе.

Обоснование типов и степеней развития, связанное с теорией прогресса Михайловского, соприкасается с мыслями Чернышевского о том, что высшая общинная фаза воплощает в себе низшую, но уже в иной форме и, как отмечается исследователями, «созвучно рассуждениям Маркса об архаичности первобытной общинной собственности»<sup>28</sup>. Маркс указывал, что тенденция общественного развития связана с «возвращением современных обществ к высшей форме «архаического» типа коллективной собственности и коллективного производства»<sup>29</sup>. И сам Михайловский подчеркивал, говоря о теории типов и степеней развития, что он развивает «наиболее жизненные стороны старой литературы»<sup>30</sup>, которая, к сожалению, не всегда учитывала национальное своеобразие цивилизации. Община содержит в себе такие формы труда и собственности, которых нет на Западе и от которых можно, минуя среднюю (буржуазную) стадию европейского развития, непосредственно перейти к высшей социальной форме. Но, опираясь на свою теорию прогресса, сформулированную на страницах «Отечественных записок», Михайловский пошел и еще дальше, заявив и об особых этических принципах, сложившихся в общине (у Чернышевского по этому поводу были лишь незначительные оговорки), и ввергнув этим самым народническую мысль в лабиринт морально-этических искажений и противоречий.

#### 4

Эти выступления Михайловского (неизмеримо более сложные по своей философской и социологической наполненности,

<sup>26</sup> Н. М (ихайловский). Литературные и журнальные заметки. — «Отечественные записки», 1872, № 12, отд. 2, стр. 392.

<sup>27</sup> Там же, № 8, отд. 2, стр. 395—396. Подробнее о типах и степенях развития Михайловский говорит в «Записках профана» («Отечественные записки», 1875, № 6).

<sup>28</sup> А. П. Казаков. Теория прогресса в русской социологии конца XIX века. Изд. Ленингр. ун-та, 1969, стр. 96.

<sup>29</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 406.

<sup>30</sup> Н. М (ихайловский). Записки профана. — «Отечественные записки», 1876, № 5, отд. 2, стр. 137.

нежели у других публицистов-народников) определили направление публицистики «Отечественных записок» в обсуждении общинного вопроса. К ним присоединяется во «Внутренних обозрениях» Г. З. Елисеев<sup>31</sup>.

Резкой критике с народнических позиций подвергся капитализм и в его статьях «Плутократия и ее основы» («Отечественные записки», 1872, № 2), «Крестьянская реформа» («Отечественные записки», 1874, № 1). Развитому капиталистическому хозяйству Елисеев противопоставляет общинное хозяйство, которое, по традиции, идущей еще от Герцена и Чернышевского, представляется ему спасающим народ от «ужасов нищеты»<sup>32</sup>. Вместе с этим, в соответствии с аграрной программой Чернышевского, обозреватель «Отечественных записок» подчеркивает выгоду «преобразования современной крестьянской общины в земледельческую артель»<sup>33</sup>.

Народническое «поклонение» общине, несмотря на «беспощадное вскрывание всех отрицательных качеств, «устоев» вообще и крестьянства в частности»<sup>34</sup>, сказывается в деревенской публицистике А. Н. Энгельгардта, в течение ряда лет публиковавшегося в «Отечественных записках»<sup>35</sup>. В поддержку артелей, как основы народного благосостояния, выступает С. Н. Кривенко<sup>36</sup>. Страстного защитника нашла община в лице В. В. Берви-Флеровского. В статьях «Рабочее семейство» («Отечественные записки», 1875, № 12), «Оглянемся назад» (1876, № 5; 1877, № 3, 12), «Сохранится ли общинное владение?» (1877, № 1), отнюдь не закрывая глаза на индивидуализм современных общинников, Берви-Флеровский настаивает на сохранении общинного владения и «упражнении» и развитии внутри общины «общественных интересов». «Когда в народе, как у нас теперь, — пишет Берви-Флеровский, — начинает развиваться промышленность, тогда чрезвычайно важно, чтобы масса его населения была обеспечена землею, потому что только тогда он будет переходить в положение живущего одним своим трудом пролетария не иначе, как за достаточно обеспечивающую заработную плату»<sup>37</sup>.

<sup>31</sup> См.: В. Н. Азбукин. «Внутренние обозрения» Г. З. Елисеева как один из образцов социальной публицистики «Отечественных записок». — Учен. зап. Астраханского пед. ин-та, т. 27, 1969. Вопросы литературы и журналистики.

<sup>32</sup> (Г. З. Елисеев). Внутреннее обозрение. — «Отечественные записки», 1875, № 6.

<sup>33</sup> Там же, № 11, отд. 2, стр. 156.

<sup>34</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 522.

<sup>35</sup> Об идейной направленности «Писем из деревни» Энгельгардта см.: В. В. Тюрин. Г. Успенский и Энгельгардт. (Творческие связи). — Учен. зап. Новгородского пед. ин-та, т. VIII, 1966, Литературоведение.

<sup>36</sup> См. (С. Н. Кривенко). Русские народные артели. — «Отечественные записки», 1874, № 1.

<sup>37</sup> (В. В. Берви-Флеровский). Сохранится ли общинное владение? — «Отечественные записки», 1877, № 1, стр. 237.

Общинные идеи подкреплялись и другими публицистами «Отечественных записок». Теория Михайловского о типах и степенях развития вызвала сочувствие со стороны Н. С. Кутейникова. Сопоставляя жизнь русского и западноевропейского крестьянства в статье «Вопросы из современного русского крестьянского устройства», Н. С. Кутейников, выступавший под псевдонимом Н. Поповский, заявлял, что и на Западе приходят к мысли «согласить древний строй с новейшими понятиями»<sup>38</sup>. Естественно, для России предоставляется прекрасная возможность «удержать старый строй». Важные социальные функции общинного владения Кутейников подчеркивает и в статье «Русская жизнь с английской точки зрения» («Отечественные записки», 1877, №№ 7, 8, 10).

Следует отметить, что общинные идеи находили отражение (в позитивном плане) и в литературно-критическом разделе «Отечественных записок», в рецензиях на экономическую литературу<sup>39</sup>.

Однако к концу 70-х годов наряду с восторгами по поводу якобы остающегося патриархальным экономического устройства России в некоторых публицистических выступлениях «Отечественных записок» раздаются осторожные, а порою и весьма скептические голоса. Статьи Б. П. Онгирского, Л. Котелянского, В. Чаславского, П. Костычева<sup>40</sup> вносят отрезвляющие ноты в неумеренные славословия по поводу общинного духа и социальной благодетельности общинного владения. В развернувшейся в это время полемике вокруг «Капитала», в которой приняли участие и «Отечественные записки», сторонником Маркса на страницах журнала выступил видный русский экономист Н. И. Зибер<sup>41</sup>. Хотя Зибер и не понял сути

<sup>38</sup> «Отечественные записки», 1876, № 8, отд. 2, стр. 126.

<sup>39</sup> См., например, рецензии на следующие книги: П. А. Соколовский. Очерки истории сельской общины на севере России. СПб., 1877 («О. З.», 1877, № 6); А. Васильчиков. Землевладение и земледелие. СПб., 1876 («О. З.», 1877, № 8, а в следующем номере помещена специальная статья об этой книге А. Головачева); В. В. Ярмошкин. Дух наживы. (Экономическо-нравственный этюд). СПб., 1877 («О. З.», 1877, № 12); А. Посников. Общинное землевладение. Одесса, 1877, и др.

<sup>40</sup> См.: Б. Ленский. (Б. П. Онгирский). Отхожие неземлевладельческие промыслы в России. — «Отечественные записки», 1877, № 12; Л. Котелянский. Очерки подворной России. — «Отечественные записки», 1878, № 2, 3; П. Костычев. Крестьянские наделы и крестьянское хозяйство. Несколько замечаний на книгу князя Васильчикова «Землевладение и земледелие». — «Отечественные записки», 1878, № 4; В. Чаславский. Вопросы русского аграрного устройства. — «Отечественные записки», 1878, № 8; 1879, № 1.

<sup>41</sup> См.: Н. Зибер. Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале». — «Отечественные записки», 1877, № 11; О Зибере см. главу «Н. И. Зибер как научный и общественный деятель в России 70-х — начала 80-х годов XIX века» в кн.: А. Л. Рзуэль. Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX века и марксизм. М., Госполитиздат, 1956.

материалистической диалектики Маркса, «не придавал значения растущему классовому антагонизму в России, не предвидел исторической миссии российского пролетариата как будущего освободителя страны от ига самодержавия и буржуазии, полагая, что капитализм упразднится на определенной стадии сам»<sup>42</sup>, тем не менее его мысль о необходимости прохождения России через капиталистическую стадию и критика народнических иллюзий об исключительной (поистине мистической) роли русской общины вели к более трезвой оценке экономического сегодня и завтра России.

И все-таки ведущей тенденцией публицистики «Отечественных записок» в решении общинного вопроса была, конечно, народническая. С еще большей силой проявилась она в период второй революционной ситуации и позднее, когда в журнале упрочивают свои позиции «унылые элементы» (по выражению Щедрина) — Воронцов, Южак и некоторые другие публицисты.

## 5

К концу 70-х годов вопрос о судьбах капитализма, а вместе с этим и общинного землевладения, встал особенно остро. «Отечественные записки» представляют в это время своеобразный дискуссионный клуб, занятый одной проблемой, которая стояла и перед журналистикой, и перед освободительным движением. Это не значит, что публицистика «Отечественных записок» не замечала других актуальных общественных явлений. Журнал по-прежнему уделял много внимания тем задачам, которые стояли перед русскими просветителями, и в первую очередь, конечно, — борьбе с пережитками крепостничества. Повысился «удельный вес» материалов, касавшихся политической проблематики<sup>43</sup>. Но все это рассматривалось в тесной связи с состоянием общины и судьбами русского революционного движения.

В журнале продолжалось печатание публицистических очерков А. Н. Энгельгардта «Из деревни», которые, правда, шли «по ведомству» Щедрина, редактировавшего беллетристическую часть. Подчеркивая крайне тяжелое экономическое положение крестьянства (безземелье, налоги и т. д.), Энгельгардт ратует за необходимость артельного хозяйства и выдвигает утопический лозунг «интеллигентских деревень». С защитой общинного принципа вновь выступают Михайловский, Кривенко<sup>44</sup>,

<sup>42</sup> С. С. Волк. Карл Маркс и русские общественные деятели. Л., «Наука», 1969, стр. 131.

<sup>43</sup> См.: Н. П. Емельянов. Журнал «Отечественные записки» в годы революционной ситуации 1879—1880 гг. — Вестник Ленинградского ун-та. Серия истории, языка и литературы, 1957, в. 1, № 2.

<sup>44</sup> (С. Н. Кривенко). Новые всходы на народной ниве. — «Отечественные записки», 1879, № 2.

В. Тригоров<sup>45</sup>, С. Я. Капустин, вступивший в полемику с Гл. Успенским<sup>46</sup>, целый ряд других, менее значительных исследователей крестьянского хозяйства<sup>47</sup>. Обилие статей по крестьянскому вопросу редакция расценивала положительно. В анонимной рецензии на книгу М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» (М., 1879) «Отечественные записки» указывали: объясняется это тем, что община — «самый загадочный, самый проблематичный элемент современной русской жизни (...), сфинкс, задающий загадки под своим традиционным условием: отгадай или я тебя сожру. Все согласны в том, что вопрос о форме крестьянского землевладения есть вопрос первейшей важности, что от того или иного его решения существенным образом зависит весь дальнейший ход русской истории. Но как он решится, как решается в текущей действительности и как должен решаться? Вопросы страшные, ибо одни сулят неисчислимыя беды от сохранения общины, другие ждут того же от ее распушения. Вот почему мы не боимся наскучить читателям статьями по общинному землевладению...»<sup>48</sup>. Сейчас наступает «решительный момент для вопроса об общине, для ее будущего: быть или не быть? — вторил рецензенту внутренний обозреватель «Отечественных записок» Г. З. Елисеев<sup>49</sup>. Единственным защитником общины Елисеев считал литературу и также оправдывал широкую публикацию материалов по этому вопросу.

Надо сказать, что и в 80-е годы публицистика «Отечественных записок» продолжала отстаивать идею общинного владения, хотя оценка современного состояния и перспектив развития общины не были едиными. Пожалуй, наибольшей реалистичностью воззрений отличались Михайловский и Зибер, опубликовавший в эти годы в «Отечественных записках» ряд материалов<sup>50</sup>, хотя они и вступали между собою в полемику. Привлеченные же к участию в журнале Михайловским и Ели-

---

<sup>45</sup> В. Тригоров. Душа в народном хозяйстве. — «Отечественные записки», 1879, № 2; Наши общины. Записки исследователя. — Там же, № 3; Кабала в народном хозяйстве. — Там же, № 5; Община — тип и ее податные основания. (Экономический опыт). — Там же, № 9; Домохозяин в земельной общине. — Там же, № 12; Наши общины. — Там же, 1880, № 1.

<sup>46</sup> С. К... Н(С. Я. Капустин). Ходячие предрассудки относительно крестьян. — «Отечественные записки», 1879, № 3.

<sup>47</sup> См., например, Ф. Щербина. Сольвыгодская земельная община. — «Отечественные записки», 1879, № 7; А. Скворцов. Новые проекты земельного устройства крестьян. — «Отечественные записки», 1879, № 11.

<sup>48</sup> «Отечественные записки», 1879, № 9, отд. 2, стр. 59.

<sup>49</sup> (Г. З. Елисеев). Внутреннее обозрение. — Там же, № 12, отд. 2, стр. 218.

<sup>50</sup> См.: Земледелие в Соединенных Штатах Северной Америки (1880, № 11); Экономические эскизы (1880—1882); Община и государство в Нидерландской Индии (1881, № 3).

сеевым публицисты-народники В. Воронцов и С. Южаков, а также — в значительной мере — и сам Елисеев<sup>51</sup>, не обладали остротой и гибкостью мышления, выражая ультра-оптимистические настроения по поводу того, что капитализм не привьется на русской почве. В то время как журнальная беллетристика и наиболее трезво мыслящие публицисты «Отечественных записок» констатировали факт проникновения капитализма в деревню, разложения крестьянства, экономическую и нравственную тиранию кулачества<sup>52</sup>, Воронцов в работе «Развитие капитализма в России», публиковавшейся в последние годы существования журнала, уныло твердил о том, что никакого капитализма нет, а есть лишь «игра в капитализм, нежели проявление его действительных отношений»<sup>53</sup>, что капитализм нам «вовсе не к лицу»<sup>54</sup>. Публицист «Отечественных записок» делал шаг назад от Чернышевского, отрицая вообще (даже в качестве социалистического идеала) крупное земледельческое хозяйство, которое, как и капитализм, не имеет будущности. Либерально-народнические тенденции Воронцова сказались в пропаганде мелкого крестьянского хозяйства: «крупное хозяйство постепенно, но верно идет к окончательной гибели, губя в то же время и мелкое. Последнее, в конце концов, восторжествует, но сколько напрасных страданий вынес уже и будет еще выносить русский крестьянин, сколько катастроф предстоит пережить обществу!»<sup>55</sup>. Либерально-народническими тенденциями пронизаны и экономические выступления Южакова, в

<sup>51</sup> Вот с какой утопической программой, характерной уже для нового — либерального — народничества, выступает Елисеев во «Внутреннем обозрении» декабрьского номера «Отечественных записок» за 1879 год: «<...> У нас все-таки не потеряны еще ни время, ни надежда реставрировать общину там, где она есть, в ее настоящем виде, помочь подворному крестьянскому владению там, где оно под влиянием неблагоприятных внешних условий выродилось из общинного, преобразоваться снова в общинное, наконец, приобретает мало-помалу, постоянно и неуклонно земли, продаваемые разными местными владельцами и утверждать на них общинное землевладение. Все труды и расходы на это государства окупятся бы впоследствии сторицею» (отд. 2, стр. 217—218).

<sup>52</sup> Отчетливо говорит об этом, например, рецензент (возможно, Н. Зибер) «Сборника материалов для изучения сельской поземельной общины». СПб., 1880, т. 1. В рецензии, опубликованной в январской книжке, он отмечает в деревне «хаос, брожение, выделение новых общественных слоев» (отд. 2, стр. 89); существование двух противоположных лагерей, раздирающих крестьянский мир непрерывной борьбой» (отд. 2, стр. 91); влияние «богатых мужиков», отбросивших старую мирскую традицию» (отд. 2, стр. 92), «зарождение экономического неравенства» (отд. 2, стр. 93).

<sup>53</sup> В. В. (В. П. Воронцов). К вопросу о развитии капитализма в России. — «Отечественные записки», 1880, № 9, отд. 2, стр. 12.

<sup>54</sup> В. В. (В. П. Воронцов). Капиталистическое обращение России. — Там же, 1881, № 4, отд. 2, стр. 169.

<sup>55</sup> В. В. (В. П. Воронцов). Наши владельческие хозяйства и капитал. — Там же, № 2, отд. 2, стр. 177. Об этом же Воронцов говорит и в статье «Фантазии и действительность русского капитализма». — Там же, № 3.

унисон с Воронцовым заявлявшего о необходимости противопоставить капитализму мелкособственническое «народное производство»<sup>56</sup>.

К чести журнала эти очевидно оппортунистические выступления подверглись критике на страницах самих «Отечественных записок». Антисоциалистическую роль теории Воронцова вскрыл в «Экономических эскизах» Н. Зибер. Он поставил на первый план развитие именно крупного хозяйства, так как только оно может помочь, как об этом говорил неоднократно и Чернышевский, в «осуществлении иного общественного состояния»<sup>57</sup>. Так эзоповски выразил экономист мысль о социалистическом переустройстве действительности: «В подобном состоянии не существовало бы более борьбы и различий между классами, никаких забот об индивидуальном существовании и впервые могла бы идти речь о действительной человеческой свободе, о существовании в гармонии с познанными естественными законами»<sup>58</sup>.

Наличие различных точек зрения по общинному вопросу, отражавших неоднородность идейных позиций публицистов-народников, создавало весьма сложную внутриредакционную атмосферу. Разумеется, вопрос об идейных взаимоотношениях публицистов «Отечественных записок» нуждается в специальном исследовании, в равной мере как и о взаимосвязях публицистики и беллетристики журнала. Важно лишь подчеркнуть сложность самого идейного облика публицистики «Отечественных записок». Отталкиваясь от отдельных замечаний Чернышевского по общинному вопросу и абсолютизируя их, публицисты журнала пришли к созданию сугубо народнической теории общинной самобытности России (как в социальном, так и в этическом аспектах), к отрицанию на этой основе капиталистического пути развития, а зачастую и отрицанию на почве патриархально-народных идеалов европеизации России. Налицо отступления от просветительского наследия шестидесятников и «проклюнувшиеся» — в 80-е годы — элементы либерально-народнической идеологии.

Но наряду с этим публицистика «Отечественных записок» была одушевлена горячей просветительской «враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области»<sup>59</sup>, горячей защитой интересов крестьянских масс. И «поскольку «Отечественные Записки», чувствуя антагонистичность русского общества, воевали с буржуазным либерализмом и демократизмом, — постольку

<sup>56</sup> См., в частности, работу Южакова «Формы земледельческого производства в России». — Там же, 1882, № 7.

<sup>57</sup> Н. З. (Н. Зибер). Экономические эскизы. — Там же, 1881, № 3, отд. 2, стр. 47.

<sup>58</sup> Там же, № 3.

<sup>59</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 519.

они делали дело, общее всем нашим первым социалистам, которые хотя и не умели понять этой антагонистичности, но создавали ее и хотели бороться против самой организации общества, порождавшей антагонистичность; — постольку «Отечественные Записки» были прогрессивны (разумеется, с точки зрения пролетариата)»<sup>60</sup>. Эти прогрессивные тенденции сближали публицистику «Отечественных записок» с наследием одного из родоначальников народничества — Чернышевского.

---

<sup>60</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 293.

## ТРАДИЦИИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ М. К. ЦЕБРИКОВОЙ

Вопрос о «новом человеке», герое-борце, поставленный еще в годы первой революционной ситуации Добролюбовым и блестяще решенный в романе «Что делать?» Чернышевским, с новой остротой был поднят демократической критикой на рубеже 60—70-х годов. В «Отечественных записках», «Деле», «Неделе» появляются статьи М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Шелгунова, М. К. Цебриковой, П. Н. Ткачева, А. М. Скабичевского и др., посвященные этому вопросу. Бурное обсуждение проблемы «нового героя» было вызвано общественным оживлением, поисками новых форм и методов борьбы с самодержавием, формированием ранних народнических идей.

М. К. Цебрикова включается в ее обсуждение не только как свидетель начинающегося в стране общественно-политического подъема, но и как лицо, близко знавшее героев-борцов, и как участник народнического движения.

Первая русская женщина критик-публицист, сотрудница некрасовских «Отечественных записок», «Дела», «Слова» и других прогрессивных журналов, фактический редактор «Воспитания и обучения», писательница и известная переводчица произведений английской и немецкой литературы, Мария Константиновна Цебрикова (1835—1917) последовательно боролась против самодержавно-бюрократического деспотизма и произвола. В начале 70-х годов она часто выезжает за границу. Знакомится там с русскими революционерами-эмигрантами (М. Бакуниным, П. Лавровым, В. Смирновым), сближается с привлекавшейся по «нечаевскому процессу» В. Александровой, с будущими героями «процесса 50-ти» — С. Бардиной, Б. Каминской, О. Любатович, сестрами Субботинными. «Я близко знала пруппу, из которой вышли участники политического дела, известного под именем дела С. Бардиной и рабочего

Алексеева»<sup>1</sup>, — писала она впоследствии. За Цебриковой как за личностью, «высказавшею сочувствие нигилистическим учениям», установлен по распоряжению Трепова негласный надзор, и одно за другим поступают в Департамент полиции донесения, указывающие на то, что она поддерживает знакомства с участниками революционных народнических организаций и даже выполняет их поручения<sup>2</sup>.

Цебрикова находится именно в таких отношениях к «новому герою», каких требовал Щедрин от человека, берущего на себя ответственность разобраться в принципах и характере его, — «стоять, по малой мере, на одном уровне с изображаемым лицом», «дойти до этого уровня путем личной, серьезной подготовки» («Напрасные опасения»). Такая позиция позволила Цебриковой передать то представление о герое, которое начинало складываться в среде революционного народничества, и с этой меркой подойти к оценке образа «нового героя», созданного художественной литературой. Усвоив принципы «реальной критики», она не ограничивается материалом, который дает художник, а широко привлекает факты действительности, включает публицистические рассуждения, анализ произведения строит на сопоставлении текста с явлениями реальной жизни.

Романы И. Гончарова, Ф. Решетникова, И. Кушневского, С. Смирновой, П. Боборыкина, Ф. Шпильгагена и других писателей, русских и зарубежных, крупных, талантливых и менее крупных, получивших название «беллетристов-фотографов», не только получают оценку в статьях Цебриковой, но и служат для нее поводом, чтобы высказать свое представление о «новом герое», его борьбе, его взглядах, его нравственных и этических принципах.

## 1

Прежде всего в статьях Цебриковой читатель находил обоснование правомерности самой постановки проблемы «нового героя», революционера-борца.

После крушения революционной ситуации, а особенно после выстрела Каракозова наступила пора разгула реакции. В лагере передовой молодежи — растерянность; самые сильные и убежденные в условиях «трудного времени» начинают поиски новых методов борьбы, но появляются и отступники, потерявшие веру в победу. Реакционные писатели, воспользовавшись временным спадом революционной борьбы, спешат объявить пору революционного подъема пройденным этапом, а «но-

<sup>1</sup> ИРЛИ. Рукоп. отд. Архив журнала «Русская старина», № 5692, ф. 265, оп. 2, № 4824, лист 40.

<sup>2</sup> ЦГАОР. Департамент полиции, 3 экспед., ед. хр. 111/1872, лист 4, 9 (об), 51, 56; ед. хр. 319/1873, лист 110—111.

вого героя» похороненным. Подобные заявления вызвали отпор со стороны прогрессивной критики. Так, для Щедрина озлобленность «положительного нигилиста — беллетриста» против «нового героя», старание забросать его грязью уже есть яркое свидетельство существования «нового человека», как живой личности («Напрасные опасения»). «Вы говорите, что «поветрие» кончилось в 1863 году. Превосходно! Зачем же вы пишете о нем книгу в 450 страниц в 1867 году?» — спрашивает Н. В. Шелгунов В. П. Авенариуса и заявляет, что борьба, начатая революционными демократами в 60-е годы, никогда не прекращалась и «новый человек никогда не исчезал и энергия его никогда не упадала»<sup>3</sup>.

Особенно подробно по вопросу о том, что «новый герой» — факт реальный, лицо живое и действующее, пишет М. К. Цебрикова. В статье «Псевдоновая героиня»<sup>4</sup> она напоминает читателю о героях-борцах, отдавших жизнь за дело народа. Имен их в силу цензурного запрета нельзя было назвать, но в памяти современников они были живы. Достаточно было упомянуть о гонениях, каторге, ссылке, чтобы вспомнились и Чернышевский, заживо погребенный на каторге, и трагически погибшие М. Михайлов, Н. А. Серно-Соловьевич и многие другие. В статье «Герои молодой Германии», помещенной в трех следующих номерах журнала, она замечает, что такие сильные, даровитые, самоотверженные личности становятся известны всем в эпохи бурь, переворотов, подъема. «Неужели они созданы внезапно, необходимостью минуты?» И критик доказывает, что они существовали и ранее, но были скрыты от глаз толпы. Так и в настоящее время «новый герой» жив и готовится к бою. Связанная с народниками-эмигрантами и петербургскими революционными народническими кружками, Цебрикова знает этого героя, поэтому особенно убежденно звучат ее слова о том, что сила, призванная преобразовать общество, скрытая от глаз непосвященных, «ждет только случая, чтобы проявиться в полном блеске на службу миру»<sup>5</sup>.

«Новые люди» есть, живы, реально существуют, утверждает критик, но, преследуемые правительством, они вынуждены скрываться, и молодежь часто знает о них только понаслышке, а необходимо, чтобы она знала о них всю правду. Вот почему создание правдивого и высокохудожественного образа «нового человека» Цебрикова считает первоочередной задачей русских писателей. С огорчением отмечает она, что «по странному велению судьбы наши художники (имеются в виду Тургенев и Гончаров. — Ж. К.) или молчат или пишут жалкие ка-

<sup>3</sup> Н. В. Шелгунов. Типы русского бессилия. — «Дело», 1868, № 3, стр. 29.

<sup>4</sup> «Отечественные записки», 1870, № 5.

<sup>5</sup> Там же, № 7, стр. 34.

рикации, ... ни один из них не дал ясного и рельефного типа»<sup>6</sup>.

Писателям, искажившим представление о «новом герое», она напоминает о романе Чернышевского «Что делать?». В статье «Из огня да в полымя» несколько раз обращается к имени Чернышевского<sup>7</sup>, его «здоровый и естественный взгляд на жизнь»<sup>8</sup> в романе «Что делать?» противопоставляет опошленному пониманию личных взаимоотношений «новых людей» в повестях М. В. Авдеева. В статье «Псевдоновая героиня» Ворошиловым, Полояровым, Волоховым, Цебрикова противопоставляет «тех людей будущего, ту силу, которую должна осолиться наша земля»<sup>9</sup>. Само выражение «должна осолиться наша земля» вызывало в сознании читателя ассоциацию с известным героем, «особенным человеком» Рахметовым, которого Чернышевский называл «солью соли земли».

Герои Чернышевского давали своеобразную программу действий революционно настроенной молодежи. Созданию и объяснению образа героя-борца нового десятилетия Цебрикова тоже придает значение не только литературное, но и практическое. Задачу создания этого образа она связывает с ответом на вопрос «что делать?»

## 2

В разгар вспыхнувшей борьбы программа действий героя ясна. «В этот страшный час суда, — пишет Цебрикова в статье «Женские типы Шпильгагена», — велика заслуга тех, которые, став во главе новой силы, поведут ее на бой и доставят ей победу»<sup>10</sup>. Она восхищается героизмом и тех, которые понимают, что восстание не подготовлено, вспыхнуло случайно и его ожидает крах, но все-таки не бросили народ в прагическую для него минуту и вместе с ним мужественно гибли на баррикадах. Гибель их она не считает напрасной, в них видит образец для молодых сил. Возглавивших обреченное на поражение движение народа, Дагенфельда и Мюнцера (роман «Семейство Гогенштейн» Шпильгагена), несмотря на присущие им ошибки и слабости, Цебрикова называет «лучшими людьми своего века», «нравственной силой своего времени, которая не пропала даром». Они «были предтечами... работников, которые dokonчат

<sup>6</sup> «Отечественные записки», 1873, № 12, стр. 240.

<sup>7</sup> Имя Чернышевского названо открыто, потому что статья помещена в «Вестнике Европы», где иногда можно было встретить вещи, грозившие большими неприятностями «Отечественным запискам». Любопытно свидетельство самой Цебриковой — письмо ее к М. М. Стасюлевичу, где говорится: «...быть может вашему журналу не страшна гроза, поднятая против «Отечественных записок» за тень «Современника», которая чудится цензуре за ними». — М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913, т. 5, стр. 153.

<sup>8</sup> «Вестник Европы», 1871, № 6, стр. 631.

<sup>9</sup> «Отечественные записки», 1870, № 5, стр. 25.

<sup>10</sup> Там же, 1869, № 12, стр. 188.

начатое ими дело, и все, что есть теперь талантливое и честное в Германии, все лучшие молодые силы ее идут по их следам»<sup>11</sup>. И для себя Цебрикова считала обязательным участие в революции, хотя и не верила в благоприятный исход ее. «...Если бы нашим красным удалось каким-нибудь чудом вызвать революцию, я пошла и умерла бы в их рядах»<sup>12</sup>, — писала она Дж. Кеннану. Долг честного борца — быть с народом, если народ, доведенный до отчаяния, решился на безумный шаг и удержать его нет возможности.

Значительно труднее решить вопрос, рассуждает Цебрикова, о деятельности героя в период спада общественного движения.

Разгром революционного авангарда в 1862 году, польского восстания в 1863 году, расправа над «ишутинцами» в 1866 году, систематическое беспощадное подавление разрозненных крестьянских волнений — все это заставляет серьезно задуматься над тем, возможна ли немедленная революция в России, не преждевременны ли призывы к ней.

Главной силой в революции Цебрикова считает народ. В данный момент он к великому испытанию не готов. В статье «Летописец темного люда» Цебрикова, опираясь на анализ народной жизни в произведениях Решетникова, пытается определить характер протеста народа: «сознательно ли он борется, потому ли что не хочет дать жизни сломить себя, или бессознательно, как борется дикий зверь за свою добычу, как борется растение за право жизни, пробиваясь в глубине земли». И приходит к выводу, что борьба народа носит бессознательный характер, что рождена она невыносимостью мук и является выражением страшного отчаяния. Правда, Решетников, превосходство которого над другими беллетристами Цебрикова видит в верном и непредвзятом описании народа, показал и ростки сознания — «народ понял, что ему нужно «согласие», солидарность, ... что он плох отсутствием «согласия»<sup>13</sup>. В этом понимании залог будущего возрождения народа, но пока что протест его стихлен.

«Стихийная сила не выведет темный люд на свет человеческой жизни»<sup>14</sup>, — заявляет критик. Слова эти воспринимаются как прямое возражение М. Бакунину, теориями которого са-

---

<sup>11</sup> «Отечественные записки», 1869, № 12, стр. 194.

<sup>12</sup> Письмо императору Александру III М. Цебриковой, 3 изд., Лондон, 1894, стр. 45.

<sup>13</sup> Русские общественные вопросы. Сб. изд. М. А. Гайдебурова и Е. И. Конради. СПб., 1872, стр. 119, 123.

<sup>14</sup> Русские общественные вопросы. Сб. изд. М. А. Гайдебурова и Е. И. Конради. СПб., 1872, стр. 120.

мозаично увлекалась русская молодежь на рубеже 60—70-х годов. Цебрикова против ориентации на деклассированные элементы общества, против идеи «разбойничьего бунта». «Разбойник в России — настоящий и единственный революционер», — писал в одном из воззваний М. Бакунин. «...Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России»<sup>15</sup>, — призывал «Революционный катехизис». Цебрикова же, коснувшись вопроса о преступном мире в связи с образом Георга Гартвига из романа Шпильгагена «Молот и наковальня», замечает: «Массу ...преступников доставляет голодный, задавленный, невежественный бедняга Конц, выючный скот общества..., от выючного скота нельзя требовать человеческого развития... Пожалуй, можно признать преступления этой массы протестом против гнетущих ее условий жизни, но протестом бессознательным»<sup>16</sup>.

М. Бакунин видел начало широкого бунта «озлобленных, ничего не щадящих народных сил» в деяниях товарищей Шиллера Карла Моора, с исключением только того идеализма, который «мешал действовать, как следует»<sup>17</sup>. Цебрикова поэтизацию разбойничества характеризует как незнание жизни и путей борьбы. Она пишет: «Романтическая школа, эта дочь идеализма, с легкой руки Шиллера стала выставлять преступников, как титанических Карлов Мооров, которые призваны быть спасителями общества и, озлобившись несправедливостью, объявляли ему беспощадную борьбу»<sup>18</sup>.

Только осознанная борьба, глубокое понимание целей ее всей массой народа может привести к победе. Причину счастливого исхода американской войны за независимость Цебрикова видит «в общем одушевлении идеями независимости всей массы народа»<sup>19</sup>. Зерна сознательности в русском народе уже есть, но их очень мало, и нужно продолжительное время, чтобы они проросли и дали плоды. «Велико безумие тех, — считает она, — которые поднимут в бой еще не окрепшие силы»<sup>20</sup>.

В оценке ситуации конца 60-х начала 70-х годов Цебрикова близка к Щедрину, который с горечью констатировал факт бедности мужика сознанием своей бедности («Письма о про-

<sup>15</sup> М. А. Бакунин. Речи и воззвания. Изд. И. Балашова, 1906, стр. 240, 267—268.

<sup>16</sup> М. Цебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 8, стр. 187.

<sup>17</sup> Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С приложением его биографии, введением и объяснительным примечанием М. Драгоманова. Женева, 1896, стр. 479.

<sup>18</sup> М. Цебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 8, стр. 186.

<sup>19</sup> М. Цебрикова. Женщины американской революции. — «Вестник Европы», 1870, № 6, стр. 511.

<sup>20</sup> М. Цебрикова. Женские типы Шпильгагена. — «Отечественные записки», 1869, № 12, стр. 188.

винции. Письмо шестое»). Однако выводы из этой оценки политической ситуации делаются разные. Щедрина, обладавшему, по справедливому определению Е. И. Покусаева, «трезвым и суровым реализмом», было ясно, что «народные массы к революции еще не готовы, в ближайшем будущем ее ожидать нельзя»<sup>21</sup>. Необходимо, по мнению Щедрина, длительный период «разъяснительной» деятельности, направленной на пробуждение сознания народных масс.

Щебрикова не отвергала просветительной деятельности, но в рассматриваемый период ей кажутся возможными, несмотря на отсутствие революционности в массах, и иные формы борьбы. Связанная со средой народников-практиков, с оппозиционно настроенной, рвущейся немедленно в бой молодежью, она ищет конкретный ответ на вопрос, что делать герою-борцу в данный момент.

Анализ популярного в среде русской молодежи романа Шпильгагена «Один в поле не воин» она начинает указанием на два пути борьбы. «Революция снизу оказалась путем неверным и опасным... — пишет она. — Остался еще путь — революция сверху»<sup>22</sup>. П. Ткачев считал революцию делом «героев» и предлагал тактику заговора, захвата власти отдельными лицами. Бакунин предпочитал «средство героическое», т. е. стихийный бунт народа, но одновременно считал возможным и другой путь — овладеть симпатией людей, стоящих или могущих стоять во главе государства, и их руками дать все необходимое народу<sup>23</sup>. Так именно поступает Лео — герой романа Шпильгагена «Один в поле не воин», и Щебриковой кажется, что он мог добиться успеха на этом пути, что ему не хватало только верных союзников. Если бы они были, король оказался бы в его руках «мягкой глиной», «из которой можно было бы вылепить статую преобразователя, вдохнув в нее свою душу»<sup>24</sup>.

Однако уже в статье «Беллетристы-фотографы» (1873) она заявляет, что бессмысленно «насиленно вызывать» подвиг, «чтобы душа разгулялась в азартной игре напрасной борьбы»<sup>25</sup>. В первое время после разгрома «нечаевской организации» она, как большинство участников народнического движения, увлеклась программой «лавристов»: пропагандистская работа, развитие «книжного дела» во имя скорейшего приближения «великой исторической минуты» (П. Л. Лавров «Исторические

<sup>21</sup> Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации. — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы. Вып. 3. Изд. Саратов. ун-та, 1962, стр. 170.

<sup>22</sup> М. Щебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 6, стр. 210—211.

<sup>23</sup> М. Бакунин. Избр. соч., т. 1, Пг, 1919, стр. 298—299.

<sup>24</sup> М. Щебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 7, стр. 45.

<sup>25</sup> «Отечественные записки», 1873, № 11, стр. 23.

письма», письмо шестое «Муравьиные интересы»). В это время она в гуще событий. Ей поручена организация нелегальной библиотеки во Владикавказе<sup>26</sup>, она принимает участие в революционной пропаганде<sup>27</sup>.

С этих позиций подошла Цебрикова к анализу образа героя романа Боборыкина «Солидные добродетели». Крутицын, пережив в 60-е годы горечь обманутых надежд, решает, что теперь не время служить мировым задачам. Цебрикова не иронизирует, как П. Ткачев, над решением Крутицына «скромным труженичеством» приносить пользу народу. Это лучше, чем устраивать свое благополучие, закрыв глаза на беды народа. Но попытка Боборыкина провозгласить крутицыных «новыми людьми» вызывает у нее серьезные возражения.

«Примирение грозит опасностью», «примирение — спокойствие, оно втягивает людей», «путь примирения — скользкий путь», — настойчиво повторяет критик. Герои Боборыкина, поглощенные «скромным труженичеством», настолько погружаются в «муравьиные интересы», что, когда настанет «великая историческая минута», «когда жизнь запросит труда пошире муравьиного, не откликнутся на призыв ее»<sup>28</sup>. Она пишет: «Но раз человек втянется в примирение до того, что увидит в лямке не задачу дня, а задачу века, он забудет великое общее, которое одно может придать смысл лямке и силу тянуть ее». Это приведет к тому, что «вместо общего дела, которое дружно подготовляли разные терпеливо вытягиваемые лямки, окажется неисчислимое множество мелких частных дел»<sup>29</sup>. Цебрикова учит дерзать и мечтать, горячо защищает мечтателей, борющихся за прекрасное будущее, и саму мечту, побуждающую к борьбе. В статье «Женские типы Шпильгагена» она подхватывает и развивает мысли Писарева о мечте как большой действительной силе. Крутицын тем и плох, что утратил способность мечтать о великом.

Негероическая деятельность в пору «трудного времени» может быть оправдана только в том случае, если она подготовляет решение «задач века».

Путь дельца, который добивается некоторых преобразований «в своем углу», тоже неприемлем; Цебрикова восстает против попытки некоторых писателей выдать дельца за «нового героя».

Шпильгагеновский герой Георг Гартвиг из романа «Молот и наковальня» реформировал фабрику, сделал рабочих участниками дохода, добился «торжества справедливости». Все это прекрасно, признает Цебрикова. Но сколько случайностей по-

<sup>26</sup> ЦГАОР. Департамент полиции, 3 экспед., ед. хр. 319/1873, листы 99—100, 111—112.

<sup>27</sup> ЦГАОР. Департамент полиции, 3 экспед., ед. хр. 111/1872, лист 78.

<sup>28</sup> «Отечественные записки», 1873, № 11, стр. 25.

<sup>29</sup> Там же, стр. 26.

надобилось, чтобы планы Георга осуществились. «Счастливая случайность не разрешение вопроса». Пропагандировать путь борьбы, выбранный Георгом, «как единственное средство освобождения народа — значит осуждать его безвыходно на положение наковальни»<sup>30</sup>.

Тушин, герой романа Гончарова «Обрыв», развивает благосостояние зависимых от него людей. Но стоит умереть Тушину и другие «поубавят жалование и поприбавят работы», и дело его «лопнет мыльным пузырем»<sup>31</sup>.

Так Цебриковой был дан отпор сторонникам преобразований в рамках существующего строя. Только революционное преобразование жизни может привести к «торжеству справедливости». Ее размышления над вопросом, «что делать» «новому герою» в годы затишья, отразили всю сложность мучительных поисков путей борьбы ранним революционным народничеством.

### 3

Представление Цебриковой о характере «нового человека» тоже очень близко к тому, которое складывалось в народнической среде на рубеже 60-х—70-х годов. Преданность делу борьбы, способность всю свою жизнь подчинить служению идее — вот что восхищает Цебрикову. Объяснению именно этих черт «нового человека» посвящены самые горячие и волнующие страницы ее статьи «Герои молодой Германии». Она прослеживает все этапы жизненного пути Лео и приходит к выводу, что ни один его поступок не был продиктован личными соображениями. Он выгодно отличается от умеренных республиканцев, у которых «рядом со страстью к идее уживается множество мелких ощущений и крошечных чувствований»<sup>32</sup>. Лео весь поглощен мыслью о том, как сократить сумму страданий человечества до минимума, как помочь обездоленным.

Из русских писателей начала 70-х годов один И. Кушчевский, по мнению Цебриковой, сумел уловить и передать подобный характер в образе Сергея Оверина. Правда, Оверин — «дитя по практическому смыслу», но ненависть к господствующему укладу жизни, упорный фанатизм и самоотвержение в борьбе позволяют считать его «героем по нравственной силе»<sup>33</sup>.

В Лео, Мюнцере, Дагенфельде, Оверине Цебрикова подчеркивает и находит достойными подражания те качества, которые особенно рельефно представлены в рахметовском типе.

<sup>30</sup> «Отечественные записки», 1870, № 8, стр. 202—203.

<sup>31</sup> Там же, № 5, стр. 53.

<sup>32</sup> Там же, № 6, стр. 224.

<sup>33</sup> М. Цебрикова. Беллетристы-фотографы. — «Отечественные записки», 1873, № III, стр. 16.

«Фанатики», «титанические натуры», «нравственная сила своего времени», «свет своего века» — так называет критик героя-борца, который учит «обдуманно и неутомимо работать для осуществления лучшего будущего»<sup>34</sup>.

«Новый человек» сознательно отказывается от карьеры, богатства, любви — от всего, что составляет счастье обыкновенного человека. С точки зрения сторонников «прописной морали» все это выглядит странным, дает повод к упреку в аскетизме, жертвенности. Цебрикова возобновляет поднятый в свое время Чернышевским разговор о понимании счастья героем-революционером. «Неужели Лео, отказавшись от мечтаний об узко личном счастье, несчастнее других людей?»<sup>35</sup> — ставится вопрос и доказывается, что он неизмеримо счастливее всех тех, кто добивается благополучия только для себя. Для таких героев романа, как тетушка Сара, Эва, Эмма, Шарлотта, ее брат, король и другие, вопросы карьеры, расчета, мести, любви приобрели степень мировых проблем. Их жизнь — «резвое кружение комаров», настолько она пуста и ничтожна.

Цебрикову возмущает стремление некоторых современных писателей навязать публике узкое понимание счастья, она упрекает благонамеренных английских романистов в том, что «ни один из них, показав, как герой его добился безмятежного благополучия с избранницей сердца, вместо эпилога не бросил читателю эти слова: «Скучно, поспода!»<sup>36</sup>.

Счастье героя-борца — в сознании, что он заявил о своей идее. Погибая, он «и своими ошибками указал путь другим, которые дойдут до указанной им цели и которые не дошли бы, если бы он не шел впереди»<sup>37</sup>. Цебрикова очень верно передала настроение раннего революционного народничества, заявив: «...люди, центром своего существования поставившие бессмертную идею, найдут счастье и на Голгофе... Для них нет другого счастья»<sup>38</sup>. Она полностью солидарна с П. Ткачевым, который о героях типа шпильгагенского Лео писал: «Эти люди не скрывают, а совсем не испытывают тех чувств и мыслей, которые обуревают бедное сердце и убогую голову филистера», «стремление к осуществлению их идеала составляет самую сильную, неодолимую, так сказать, органическую потребность их природы»<sup>39</sup>.

<sup>34</sup> М. Цебрикова. Женские типы Шпильгагена. — «Отечественные записки», 1869, № 12, стр. 195.

<sup>35</sup> М. Цебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 7, стр. 42.

<sup>36</sup> М. Цебрикова. Англичанки-романистки. — «Отечественные записки», 1871, № 8, стр. 407.

<sup>37</sup> М. Цебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 7, стр. 43.

<sup>38</sup> Там же, стр. 42.

<sup>39</sup> П. Ткачев. Люди будущего и герои мещанства. — «Дело», 1868, № 4, стр. 83—84.

И Цебрикова, и П. Ткачев не случайно так подробно говорили о различном понимании счастья филистером и героем-борцом. Официальная печать усиленно навязывала обществу идеалы «домашние», узко личные, уводила от «мировых проблем». Счастье рассматривала как понятие, тождественное благополучию.

Строки Цебриковой о преданности «нового героя» идее, о высоком понимании им счастья можно считать самой значимой, ценной и наиболее близкой к традициям шестидесятников частью ее критических разборов.

4

Однако в представлении Цебриковой о герое, данном ею на основе анализа образа Лео, были утверждения, которые вызвали возражение.

Цебрикова считает цель героя настолько высокой, что для достижения ее герой имел право пользоваться любыми средствами. «Вся деятельность Лео, — заявляет критик, — цель мошеннических проделок и беззастенчивых поступков»<sup>40</sup>. Оправданием героя служит продажность и бесчестность самого общества. Защитники «прописной морали» постоянно нарушают эти нормы, но не во имя великой цели, как это делает Лео, а во имя своекорыстных интересов.

В отношении к революционеру само государство не стыдится никакой подлости. Преследуя революционера, оно прибегает и к штату шпионов, и к нарушению тайны исповеди, и к поощрению доносчиков. Оно травит его, заключает в тюрьмы, заковывает в цепи, не останавливается и перед физической расправой.

Цебрикова не может сдерживать боли, когда говорит о преследуемом революционере, и негодования, когда пишет о «защитниках закона», которых, по ее убеждению, правильней называть пиявицами, подлецами, ловкими мошенниками. Речь критика эмоциональна, пересыпана гневными восклицаниями, риторическими вопросами. Она отвлекается от литературы и обращается к живой действительности. Описание травли революционера так точно воспроизводило обстановку в России, что читатель легко угадывал, против кого направлены стрелы автора. Угадывала и цензура. Член Совета Главного управления по делам печати Толстой заявлял, что Цебрикова, подобно Писареву, не столько занимается разбором литературного произведения, сколько «развитием собственных философских воззрений и теорий»<sup>41</sup>, и цитирует целую страницу, где обвиняет государство, преследующее революционера, в нарушении им же установленных норм нравственности.

<sup>40</sup> «Отечественные записки», 1870, № 6, стр. 220.

<sup>41</sup> ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 5, № 38а, 1871, лист. 103.

По мнению Цебриковой, в борьбе с темными силами «человек, который хочет служить народу и свободе», должен выработать определенную программу действий. «Да, меч против меча, коварство против коварства, грязь против грязи, собачий лай против собачьего лая»<sup>42</sup>, — вот слова Берне, которые могут стать девизом героя-борца. Учение — «цель оправдывает средства» — она называет исполненным «глубокой и практической мудрости»<sup>43</sup>.

Ошибочная позиция Цебриковой является следствием влияния народничества, с которым она некоторое время была связана организационно<sup>44</sup>.

Бакунин и Нечаев выступили с пропагандой иезуитского принципа «цель оправдывает средства». Все пункты составленного ими «Революционного катехизиса» опирались на этот принцип. «Катехизис» звал революционера разорвать «всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общественными условиями и нравственностью этого мира», учил презирать общественное мнение, ненавидеть «нынешнюю общественную нравственность», обманывать, лицемерить и, если понадобится, подавить «чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести»<sup>45</sup>. Составители первого номера «Народной расправы» за 1869 год называли себя людьми, не имеющими понятий о нравственных обязанностях и чести по отношению к тому миру, который ненавидят и от которого не ждут ничего, кроме зла.

Подобные заявления звучали дерзко, импонировали настроению исполненной чувства ненависти к самодержавию, рвущейся в бой молодежи. «...С какой радостью приветствовали мы программу Бакунина», — писал один из «бакунистов»<sup>46</sup>.

Для редакции «Отечественных записок», придерживавшейся традиций шестидесятников, подобная программа была неприемлема, увлечение ею молодежи вызывало тревогу. Вот почему, ценя статью Цебриковой за боевой дух, за горячую защиту героя-борца, за прославление революционного подви-

---

<sup>42</sup> М. Цебрикова. Герои молодой Германии. — «Отечественные записки», 1870, № 6, стр. 220.

<sup>43</sup> Там же, стр. 217.

<sup>44</sup> В донесениях агента, ведущего наблюдение за Цебриковой, говорится, что она состоит «в основанном в Цюрихе М. Бакуниным революционном обществе», что она «особенно отличалась своею энергиею и деятельностью в устройстве общества», что «независимо от прежде существовавшего русского женского общества М. Бакунин основал другое, но с более революционной программой, во главе этого общества находится Цебрикова — женщина уже пожилая, лет около 40, ...» — ЦГАОР, Архив департамента полиции, 3 экспед., ед. хр. 111/1872, лист 4, 51, 9.

<sup>45</sup> М. А. Бакунин. Речи и воззвания. Изд. И. Балашова, 1906, стр. 262—263.

<sup>46</sup> М. А. Бакунин. Избр. соч., т. I, Пг, 1919, стр. 33.

га, редакция возразила против пропаганды принципа «цель освящает средства» и против оправдания ею не совместимых с представлениями о нравственности поступков Лео. «С абсолютными похвалами автора иезуитизму мы никак не можем согласиться, — говорилось в примечании, — иезуитская мораль как система разрушает в корне нравственные основы общества и всякой человеческой ассоциации»<sup>47</sup>.

Революционные демократы, отрицая лицемерную мораль господствующих классов, ратовали за создание новой демократической морали. «Новый герой» рахметовского типа отличался «безукоризненной честностью», принципиальностью, презирал ложь и лицемерие. Чернышевский рекомендовал Рахметова как «человека, заслуживающего безусловного доверия», о «новых людях» говорил, что на них можно положиться «во всем безусловно». Бакунин, Ткачев и вслед за ними Цебрикова защищали право «нового человека» поступать соответственно «фарисейской морали», попирая любые принципы во имя достижения цели. Это было шагом назад в развитии проблемы «нового героя». Щедрин полагал, что поведение подобного героя можно объяснить «порочной обстановкой», окружающей его, но был против возведения «преувеличений» в норму («Дневник провинциала в Петербурге»).

Редакция «Отечественных записок» допускала исключение. «Иезуитская мораль» может быть оправдана, но только «в самых крайних случаях, и притом, когда необходимость ее признается решением целой партии или целого союза лиц, действующих для известной цели, а никак не отдельной, единичной личностью»<sup>48</sup>. Опасение, что неограниченное право «единичной личности» прибегать к любым средствам для достижения цели может принести много зла, было ненапрасно. Оно звучало как предостережение. «Нечаевщина» дала повод реакции осуждать революционеров и в известной степени нанесла ущерб освободительному движению.

Разгром нечаевской организации и осуждение авантюристических методов борьбы самими участниками революционной борьбы убедили Цебрикову в правоте редакции. В статье «Беллетристы-фотографы» 1873 года она, почти дословно повторяя редакционное примечание к статье «Герои молодой Германии», заявляет, что иезуитский принцип возводить в «основной закон жизни» опасно. Черника, героя романа С. Смирновой «Соль земли», критик отказывается считать «новым человеком», потому что он из энтузиаста перерождается в «расчетливого иезуита», в борца, не разбирающего средств<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> «Отечественные записки», 1870, № 6, стр. 217.

<sup>48</sup> Там же.

<sup>49</sup> Там же, 1873, № 12, стр. 211.

Не могла встретить одобрения редакция позиция Цебриковой в оценке взаимоотношений героя и толпы, опять-таки близкая к анархистско-народнической.

Лео в своих замыслах против короля собирается воспользоваться невежеством народа, но во имя интересов самого народа. Народ в глазах Лео — инертная масса, неспособная самостоятельно постоять за себя, Лео относится к нему откровенно пренебрежительно. Цебрикова не находит ничего предосудительного в подобном отношении героя к массе.

Это было явным нарушением рахметовских традиций в литературе. «Особенный человек» Чернышевского дорожит расположением народа («...это дает уважение и любовь простых людей»). Он не скрывает удовольствия и гордости, когда его называют Никитушкой Ломовым («улыбался широко и сладко») <sup>50</sup>. Среди простых людей он — «свой человек».

Оправдание критикой недоверчивого отношения «нового героя» к народу объяснимо. Оно — от разочарования в тех больших ожиданиях, которые возлагались на крестьянство в период революционной ситуации.

Чернышевского тоже постигло разочарование, оно выразилось в горьких словах о «нации рабов», которые В. И. Ленин назвал «словами настоящей любви к родине», любви, «тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения» <sup>51</sup>. Но в отличие от народников, решивших, что теперь судьбу пассивного, невежественного народа будут определять героические личности, Чернышевский по-прежнему убежден, что только «сами массы» совершат революцию. Ему тяжело сознавать, что сейчас на революцию нет никакой надежды. Совет Волгина в «Прологе» — «ждать». Однако борец-революционер Чернышевского и в «трудное время» не утрачивает любви и уважения к народу. Соколовский считает: русский народ — «это хороший народ, добрый, справедливый». Левицкий убежден: «масса людей — люди честные и добрые», ему больно от сознания, что «народу не так легко терпеть, как нам». Радостное волнение от слов Волгина о том, что он может понадобиться народу, не дает Левицкому уснуть до утра («Слышать от него, что я могу понадобиться народу, — можно опьянеть»). «Холодные рассуждения» Волгина заставляют Левицкого усомниться в любви Волгина к народу, но, проанализировав свою беседу с ним, он делает вывод: «Это человек преданный народу» <sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. 11, М., Госполитиздат, 1939, стр. 200, 199.

<sup>51</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 107.

<sup>52</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 117, 216, 244, 246.

Нужно отметить, что Цебрикова не так категорична, как П. Т. Ткачев, который находит, что Лео, «...увлеченный идеями Туски, жертвует собою, своей жизнью и карьерою ради совершенно, по-видимому, чуждых ему интересов тулгеймских рабочих»<sup>53</sup>. Она не считает, что интересы народа чужды Лео. Больше того, оправдывая право героя пользоваться невежеством народа в целях его освобождения, она часто противоречит себе. В «Героях молодой Германии» и в статьях, предшествующих ей («Женские типы Шпильгагена»), и последующих («Летописец темного люда», «Женщины американской революции»), она заявляет, что без сознательного участия народа в борьбе нельзя добиться победы. Тем не менее, нотка недоверия к массе в критических выступлениях ощутима и звучала диссонансом с общим тоном «Отечественных записок». «Те люди, которых мы, не без основания называем лучшими, — писал Щедрин, — всегда с особенною любовью обращались к толпе»<sup>54</sup>. Толпа же должна знать, куда ведет ее герой. «Человек, который не знает, куда он идет, весь, со всеми своими мыслительными способностями, подавлен этою неизвестностью»<sup>55</sup>. Г. Е. Благодетель, редактор журнала «Дело», тоже требовал уважительного отношения к народу, а попытку «совершить великое народное дело без народа»<sup>56</sup> считал большой ошибкой героической личности. Он предостерегал молодое поколение от совершения подобной ошибки, стоившей жизни многим горячим головам; возмущался противопоставлением народу героя, позволяющего себе свысока смотреть на народ, и Шелгунов<sup>57</sup>.

## 6

Несмотря на ошибки, допущенные Цебриковой в трактовке проблемы положительного героя, статьи ее о Шпильгагене были признаны редакцией полезными. Разговор о «новом герое», «человеке будущего» был нужен. Лео был той фигурой, которая позволяла начать этот разговор. Щедрин считал Лео «действительным представителем новых стремлений», видел в нем отражение поисков путей борьбы лучшей части молодежи того времени.

Реакционная печать вынуждена была согласиться, что Лео не каприз Шпильгагена, а «представитель известных идей и воззрений, существующих в современном обществе, что это

<sup>53</sup> П. Ткачев. Люди будущего и герои мещанства. — «Дело», 1868, № 8, стр. 18.

<sup>54</sup> «Отечественные записки», 1868, № 10, стр. 286.

<sup>55</sup> Там же, 1870, № 10, стр. 458.

<sup>56</sup> Г. Е. Благодетель. Предисловие ко II изд. русского перевода романа Ф. Шпильгагена «Один в поле не воин», СПб., 1867.

<sup>57</sup> Н. В. Шелгунов. Русские идеалы, герои и толпа. — «Дело», 1868, № 6, 7.

«новый герой нашего времени». Но в отличие от прогрессивной печати, которая видела в подобных героях «людей будущего», рецензент «Русского Вестника» торопится объявить Лео «последним Могиканом культуры, отодвинувшейся на второй план»<sup>58</sup>. Истинного героя, которому принадлежит будущее, он советует искать в юнкерской Германии. Выражая удовлетворение подавлением Парижской Коммуны и «беспримерным возвышением Германии», он заявляет: «Она же (Германия. — Ж. К.) и выработает тип ожидаемого «нового человека»<sup>59</sup>.

Статья Цебриковой, содержащая апофеоз Лео, героя-революционера, близка к представлениям о герое, начинавшим складываться в среде раннего революционного народничества, оказалась политически острой, злободневной и своевременной.

---

<sup>58</sup> «Русский вестник», 1871, № 12, стр. 555.

<sup>59</sup> Там же, стр. 555.

ПУБЛИКАЦИИ  
И МАТЕРИАЛЫ

К ВОПРОСУ ОБ АВТОРЕ ПРОКЛАМАЦИИ  
«БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ»

## 1

В пятом выпуске настоящего серийного издания помещена статья Н. А. Алексеева «Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? В ней опровергается имеющее «прочность предрассудка» мнение, что прокламация была написана Чернышевским. Первые отклики на вышеназванное выступление говорят о том, что некоторые исследователи не прочь раз и навсегда отмахнуться от «кощунственного» предположения и больше никогда к нему не возвращаться<sup>1</sup>. При этом они в основном оперируют все теми же мемуарными свидетельствами Н. В. Шелгунова и А. А. Слепцова, которые указывают на принадлежность прокламации Чернышевскому.

Такой подход не может быть принят при изучении какой-либо исследовательской концепции. Заметим, что неточности в воспоминаниях Шелгунова и Слепцова отмечают и те исследователи, кто твердо отстаивает авторство Чернышевского. На них, в частности, указывает С. А. Рейсер<sup>2</sup>. Сильно сомневалась одно время в достоверности свидетельств Шелгунова и М. В. Нечкина<sup>3</sup>.

Н. А. Алексееву удалось обнаружить новые несоответствия в воспоминаниях Шелгунова и Слепцова. Это дало основание

<sup>1</sup> Автор имел возможность ознакомиться до опубликования со статьями А. А. Демченко, А. М. Гаркави и Х. С. Гуревича (см. настоящий сборник).

<sup>2</sup> С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...» (историография и текстология). — В сб.: «Книга. Исследования и материалы». М., «Книга», 1967, стр. 219—221.

<sup>3</sup> «...Предположение об авторстве Чернышевского по-прежнему с трудом цепляется за шаткие утверждения Шелгунова» (М. В. Нечкина. Юбилейная литература об Н. Г. Чернышевском. — «Историк-марксист», 1928, т. 10, стр. 221).

подвергнуть сомнению и то утверждение Шелгунова, которое всегда ревностно оберегалось сторонниками господствующего мнения, так как оно было их опорным доводом в пользу авторства Чернышевского<sup>4</sup>. Уместно будет привести этот отрывок из воспоминаний Шелгунова.

«В ту же зиму, то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком, и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал ее Костомарову <...>

В ту же зиму я написал прокламацию «К молодому поколению», но мы решили печатать ее в Лондоне, в «русской печатне». Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня. Содержание прокламаций «К народу», «К солдатам» я забыл, но «К молодому поколению» — помню<sup>5</sup>.

Как видим, Шелгунов говорит здесь о прокламации «К народу». По этому поводу в свое время были споры: можно ли названную Шелгуновым прокламацию «К народу» отождествлять с прокламацией «Барским крестьянам...»?<sup>6</sup>

А. М. Гаркави замечает, что Шелгунов в своих мемуарах называет прокламацию по-разному: и «К народу», и «К крестьянам». Это действительно так. Но сама путаница в названиях настораживает. Шелгунов мог забыть, как он сам говорит, содержание прокламации. Но первую фразу ее запомнить не так уж трудно, она легко укладывается в памяти: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Между тем о *барских* крестьянах мемуарист нигде не упоминает.

С. А. Рейсер обращает внимание на следующую неточность в приводимом отрывке из воспоминаний Шелгунова<sup>7</sup>. Последний говорит, что прокламация была передана Костомарову им. На самом деле между Шелгуновым и Костомаровым есть еще

---

<sup>4</sup> С. А. Рейсер, отметив неточности в мемуарах Шелгунова, впадает в противоречие с самим собой, когда пишет: «Мы рассмотрели все дошедшие до нас источники. Лишь один из них — воспоминания Шелгунова — позволяет утверждать, что Чернышевский написал прокламацию «Барским крестьянам...» и что текст ее был направлен в Москву для печатания. Сообщение близкого к Чернышевскому и революционному подполью Петербурга конца 1850 — начала 1860 гг. очень точно Шелгунова признается достоверным» (С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...», стр. 221).

<sup>5</sup> Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1967, стр. 243.

<sup>6</sup> См. примечания Н. А. Алексеева в кн.: Процесс Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1939, стр. 283; М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. — «Исторические записки», 1941, т. 10, стр. 8.

<sup>7</sup> С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...», стр. 221.

три человека, через руки которых прошла прокламация, прежде чем попасть к Костомарову. Это М. Л. Михайлов, И. К. Сококо и Я. Сулин.

Не слишком ли много неточностей для такого эпизода? И Н. А. Алексеев совершенно прав, на наш взгляд, когда упрекает исследователей в некритическом подходе к мемуарам, описывающим давно прошедшие события.

С. А. Рейсер в цитированной статье убедительно доказал, что дошедшая до нас рукопись прокламации не является автографом Михайлова. Исследователь отвергает как совершенно бесосновательное утверждение Николая Костомарова (сделанное им во втором доносе на своего брата Всеволода) о том, что прокламация «Барским крестьянам» была якобы написана рукой Михайлова. При этом указывается на такой в известной мере поучительный факт.

«Предатель и агент III отделения Всеволод Костомаров и его брат Николай вкупе с жандармским подполковником Житковым — авторы басни, оказавшей подлинно гипнотическое влияние на поколения исследователей»<sup>8</sup>.

Так пишет С. А. Рейсер. Но, как известно, первое указание на то, что прокламация «Барским крестьянам...» принадлежит перу Чернышевского, также исходит... от Всеволода Костомарова. Именно он заявил об этом в своем изощренном письменно-доносе на имя некоего вымышленного им Соколова<sup>9</sup>.

Еще 18 января 1863 года Костомаров в своих показаниях называл автором прокламации Михайлова<sup>10</sup>. Время сохранило документ, который не оставляет никаких сомнений в том, что на Чернышевского как автора прокламации «Барским крестьянам...» Костомарову было указано управляющим III отделением генералом Потаповым. Это сопроводительная записка, приложенная провокатором к письму-доносу, когда он отправлял его на просмотр к Потапову.

«Посылаю вам черновой проект моего письма к неизвестному другу, — пишет Костомаров. — Тысячу раз извиняюсь, что письмо вышло черновое в полном смысле этого слова <...> я до девяти часов вечера все ждал обещанных вами бумаг (дневник Чернышевского и прошение матери Костомарова. — В. А.) и не дождался <...>. Что же касается до того, что в письме моем больше болтовни, чем дела, — в этом вините уж не меня, а скудость самих фактов. Впрочем, я полагаю, что при той обстановке, которая имеется в виду, совершенно достаточно и этого... Все это черновое и может измениться

<sup>8</sup> С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...», стр. 213—214.

<sup>9</sup> См.: Письмо Костомарова Соколову. — Дело Чернышевского. (Подгот. текста, вводная статья, комментарии И. В. Пороха. Под общ. ред. Н. М. Чернышевской. (Саратов, Приволж. кн. изд., 1968, стр. 190).

<sup>10</sup> См.: Показания В. Костомарова. — Дело Чернышевского, стр. 161.

хоть сто раз...»<sup>11</sup>. Перед нами, по существу, своеобразный «отчет» о проделанной работе. Многие указывает здесь на того, кто «заказывал музыку».

Во-первых, Костомаров, признавая «скудость» приводимых им в письме фактов, вероятно, кое-что хотел почерпнуть из дневника Чернышевского, а дневник этот (что очень важно) должен был быть передан ему Потаповым. Значит, план фальшивки обсуждался Потаповым и Костомаровым заранее.

Костомарова выдает, во-вторых, его лакейская боязнь чем-то не угодить «заказчику». Да и как было не волноваться даже такому испытанному провокатору! Ведь надо было приписать прокламацию Чернышевскому, не имея на то даже каких-либо косвенных фактов. Можно не сомневаться в том, что если бы таковые у Костомарова были, — он заговорил бы совсем по-другому. Уж что-что, а набивать себе цену он умел.

В. Костомарову в это время было абсолютно безразлично, кто истинный автор прокламации. Он мог «хоть сто раз» изменить свои показания, следуя за указующим перстом управляющего III отделением. Потапову юрочно требовался обвинительный материал против Чернышевского, и Костомаров с готовностью сфабриковал ряд фальшивок, из которых главная «указывала» на принадлежность Чернышевскому крамольной прокламации. Она-то и стала, по выражению И. Пороха, «лейт-мотивом процесса».

Почему же мы должны верить Потапову и Костомарову? Не оказывает ли Костомаров и на этот раз то же самое «гипнотическое действие» на исследователей, как это уже было в случае с «автографом» Михайлова? И вполне возможно допустить, что гнусный навет предателя, получивший, вследствие скрытости вызвавших его к жизни причин, видимость достоверного факта, оказал давление и на Шелгунова, и на Слепцова.

Хорошо известно: на суде и следствии Чернышевский решительно отрицал, что он автор прокламации. Такую позицию объяснить не трудно. Однако Н. А. Алексеев в упомянутой статье приводит отрывок воспоминаний Н. Тюрина<sup>12</sup>, из которого явствует, что Чернышевский и после суда, на каторге продолжал утверждать то же самое. Это новый серьезный аргумент против авторства Чернышевского. Вот авторизованный текст вышеназванного отрывка, приводимый А. А. Демченко в своей статье.

«Из рассказов каракозовцев мне припоминается интересная подробность. Будучи на каторге, Н. Г. всегда уклонялся от разговоров о практических путях революционной деятель-

<sup>11</sup> См.: Письма В. Костомарова — А. Л. Потапову. — Дело Чернышевского, стр. 180—181.

<sup>12</sup> Как установил А. А. Демченко, действительный автор этих воспоминаний Н. С. Тютчев — известный земледелец и народоволец 1870-х гг.

ности в России, но все же разговоры об этом неизбежно возникали, и вот какое впечатление вынесли из его отрывочных замечаний, брошенных вскользь, Шаганов и Николаев (последний с Н. Г. особенно близок). <...>

Эта неразговорчивость Н. Г. может быть объяснена его разумной конспиративностью. Сужу об этом потому, что все каракозовцы в один голос утверждали, что Н. Гавр. был сослан на каторгу только благодаря подложному письму; он не являлся, следовательно, по их мнению, автором прокламации «Барским крестьянам...» И это они утверждали после нескольких лет совместной жизни в Александровском заводе и лучших отношений с Н. Г., т. е., очевидно, передавали слышанное от самого Н. Гавр., который продолжал даже и в дружеских отношениях с товарищами-каторжанам стоять на версии, которой придерживался на следствии и суде. Теперь, после опубликования подлинных документов по делу Чернышевского (в «Былом»), едва ли можно сомневаться, что Н. Г. был автором прокламации «К барским крестьянам...»<sup>13</sup>.

Вряд ли есть основание предполагать, подобно А. М. Гаркави, что Чернышевский не раскрывал свое авторство потому, что «он не мог не надеяться на отмену приговора». Пережив проведенный с вопиющим нарушением всех юридических норм процесс, Чернышевский, конечно, был далек от того, чтобы ждать какой-то милости от самодержавия, да притом еще в пору жесточайшей реакции, последовавшей за выстрелом Каракозова.

До самого последнего времени вся полемика, связанная с установлением автора прокламации «Барским крестьянам», шла вокруг имени Чернышевского<sup>14</sup>. Между тем как недостаточная уверенность в свидетельствах, подтверждающих его авторство, должна была бы подсказать исследователям необходимость выхода из этого круга, что и было сделано Н. А. Алексеевым. Он задался вопросом: если не Чернышевский, то кто другой мог написать прокламацию? Нельзя признать достаточной аргументацию Н. А. Алексеева относительно авторства Всеволода Костомарова<sup>15</sup>, но сам подход к проблеме заслуживает, на наш взгляд, самого серьезного внимания.

<sup>13</sup> Цит. по статье А. А. Демченко.

<sup>14</sup> Не вполне понятна позиция составителей сборника «Дело Чернышевского», которые обошли стороной эту полемику. Как очевидно, вопрос об авторе прокламации «Барским крестьянам...» считать окончательно решенным никак нельзя.

<sup>15</sup> Н. А. Алексеев приводит, в частности, следующий отрывок из сообщения председателя следственной комиссии по делу о печатании в Москве недозволенных сочинений И. Ф. Собещанского министру внутренних дел П. А. Валуеву от 27 октября 1861 г.: «...По показанию Сулина воззвание к барским крестьянам изготовлялось им, Сулиным, и Костомаровым, который назвал себя автором». (Н. Г. Чернышевский. Статьи, сообщения и материалы. Вып. 5, стр. 189—199). А. А. Демченко обнаружена копия этого

Н. А. Алексеев все усилия употребил на то, чтобы найти какие-либо документальные указания на предполагаемое им авторство Кюстомарова. Разумеется, при нахождении таковых догадка исследователя получила бы прочное обоснование. Но в данном случае мы поставлены как раз перед таким фактом, когда нет бесспорных документальных свидетельств, которые прямо указывали бы нам на того или иного человека. Сравнительный стилистический анализ тоже мало что дает, так как прокламация стилизована под народную речь и в силу этого представляет собой отклонение от обычной манеры письма ее автора.

Думается, что наиболее плодотворен следующий путь: сравнить идеи прокламации со взглядами предполагаемого автора. Особенно важно уловить *общую логику мысли*, ведущую к тому или иному ключевому положению. До сих пор исследователи сравнительно мало занимались выявлением в прокламации «Барским крестьянам...» особенностей мировоззрения ее автора. Например, те, кто приписывают авторство Чернышевскому, указывают на общий революционный дух прокламации, критическое ее отношение к Положению 19 февраля, довольно подробный план восстания. Но разве Чернышевский был единственным выразителем революционных взглядов в то время? Подобные взгляды мог высказывать и Шелгунов, и Михайлов, и Зайчневский, и даже В. Кюстомаров. Сходство надо искать в индивидуальных подходах к той или иной проблеме.

## 2

Но где та «зацепка», которая позволила бы для начала выделить хотя бы группу людей, внутри которой можно уже было бы предположить автора прокламации? Ведь в последней говорится именно о какой-то определенной группе, даже организации. «Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ<sup>16</sup>», — сказано в прокламации. Следовательно, прежде всего надо попытаться установить, что это была за организация, представителем которой выступает автор прокламации.

По документальным данным, опубликованным лишь недавно Э. Виленской и Л. Ройтберг, прокламация «Барским

---

документа в деле Аргиропуло—Зайчневского. «Выяснилось, — пишет А. А. Демченко, — что Н. А. Алексеевым приведена лишь часть текста, в результате чего смысл рапорта Собещанского оказался измененным». В рапорте речь идет вовсе не о прокламации «Барским крестьянам...», а об анонимной записке, посланной по просьбе Сулина В. Кюстомарову художником Ильинским (см. статью А. А. Демченко в настоящем сборнике).

<sup>16</sup> Здесь и далее выдержки из прокламации «Барским крестьянам...» даются по уточненному С. А. Рейсером тексту, приведенному в упомянутом сборнике «Дело Чернышевского» (стр. 365—374), страницы указываются в тексте.

крестьянам...» писалась в феврале 1861 года и подверглась некоторым поправкам в марте месяце этого же года<sup>17</sup>.

В это время в России существовало только одно более или менее цельное объединение революционно настроенных лиц. Мы имеем в виду кружок Аргиропуло — Зайчневского, возникший в самом начале 1861 года<sup>18</sup>.

В. Алексеев, который ознакомился с делом кружка Аргиропуло—Зайчневского (оно хранится в Московском архиве министерства юстиции, в отделе сенатских документов), сообщает о нем следующее:

«Кружок Аргиропуло состоял из 40—50 членов (к суду было привлечено 49 лиц, в их числе несколько не членов кружка), московских и иногородних. Большинство их находилось в Москве и состояло из студентов Московского университета. Кроме студентов, в кружок входили, между прочим, вольнослушатели Л. Яценко, И. Федосеев, дворяне Я. Сулин, И. Сороко, Сваричевский (в Петербурге), Дороган, Северин-Смоленский, Николай Зайчневский (брат Петра), отставной корнет Всеволод Костомаров, обер-офицерский сын Петров-Ильенко, учитель Черниговской гимназии И. Дорошенко. Руководителями кружка были Перикл Аргиропуло, сын греческого консула в Константинополе, и Петр Зайчневский, рязанский дворянин, — оба студенты.

Несомненное отношение к кружку имели также известный литератор и деятель М. Л. Михайлов и Н. Г. Чернышевский»<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> «Прокламация «Русским солдатам» и первоначальный текст «Барским крестьянам...», — делают вывод Э. Виленская и Л. Ройтберг на основании соответствующих данных, — писались до обнародования документов о крестьянской реформе, но в момент напряженного ожидания их публикации, а переделывались в течение марта, после оглашения манифеста 19 февраля, происходившего в Петербурге 5 марта». (См.: примечания Э. Виленской и Л. Ройтберг в кн.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания. Т. 1, М., 1967, стр. 481).

<sup>18</sup> М. В. Нечкина, которая, как известно, придерживается мнения, что автором прокламации был Чернышевский, пишет: «Поскольку прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» написана Чернышевским до 19 февраля 1861 г., то и революционная организация, решения которой сообщаются в прокламации, существовала до 19 февраля 1861 г. Можно предположить, что существовала она и в 1860 г. Значит, первой «Земле и воле», образованной в 1862 г., предшествовала какая-то другая революционная организация». («Исторические записки», т. 10, М., 1941, стр. 27). М. В. Нечкина считает основателем и руководителем этой предполагаемой организации Чернышевского. Но все это пока только лишь предположения. Никаких документальных сведений на этот счет мы не имеем.

<sup>19</sup> В. Алексеев. Студенческий кружок Аргиропуло и Зайчневского. — «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 102. Большинство из называемых В. Алексеевым лиц Б. П. Козьмин не признает членами кружка Аргиропуло—Зайчневского. Находя в ряде случаев аргументы Б. П. Козьмина достаточно убедительными, мы в то же время (о чем еще будет говориться ниже) не разделяем его точки зрения в отношении некоторых приводимых здесь имен.

Разумеется, каждый из них на следствии старался представить свои связи с другими членами кружка чисто случайными, основанными только лишь на «коммерческом интересе», который якобы извлекался ими от продажи нелегальных изданий. И, надо сказать, это им полностью удалось. В рапорте комиссии Собещанского поворилось, что «подготовка к напечатанию весьма возмутительного воззвания к барским крестьянам, равно литографирование вообще запрещенных и злоумышленных сочинений, не были делом одних и тех же лиц и не связывались между собой общим интересом, указывающим на одну какую-либо цель, а всего менее — политическую»<sup>20</sup>.

Однако дошедшие до нас факты говорят об обратном. Деятельность кружка далеко не ограничивалась распространением запрещенных сочинений.

«Кружок несомненно готовился использовать лето 1861 г. в целях агитации, — пишет В. Алексеев. — В переписке между Аргиропуло и выехавшими в провинцию членами все время идет речь о «летней работе». В Туле у них предполагался съезд. Указание на летнюю агитацию, между прочим, находим в следующих словах неизвестного корреспондента Аргиропуло.

«Здесь, — говорится в письме, — я встретил из дворовых человека, у которого вкус развит и жадность к чтению душеспасительных вещей сильная. Я был счастлив, что мог его поздравить с нашим Новым годом». Под «душеспасительными вещами» автор письма, конечно, понимает агитационную литературу, а заглавие «Новый год» имела распространяемая им брошюра Огарева»<sup>21</sup>.

Ниже будет сказано о той активной деятельности, которую развернул в лето 1861 года П. Г. Зайчневский.

Нельзя не согласиться с выводом В. Алексеева, так оценивающего деятельность кружка Аргиропуло—Зайчневского: «В деле революционизирования русского общества за нашим кружком должен быть признан известный актив. Члены кружка положили начало пропаганды в деревне в целях поднятия народных масс против правительства, и первые пошли для этого в народ»<sup>22</sup>.

Наконец, есть еще один «общий интерес», которым было охвачено слишком значительное число членов кружка, чтобы не придавать ему значения. Это прокламация «Барским крестьянам...»

Может возникнуть вопрос: если прокламация возникла в кружке Аргиропуло—Зайчневского, почему она не была напечатана?

<sup>20</sup> М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. Изд. 2-е. М.-Пг., Госиздат, 1923, стр. 41.

<sup>21</sup> «Голос минувшего», стр. 113.

<sup>22</sup> Там же, стр. 122.

Как известно, деревянный типографский станок, на котором Сулин, Сороко и Петровский-Ильенко отпечатали книгу Огарева «Разбор книги барона Корфа», в феврале 1861 года пришел в негодность и был разрушен<sup>23</sup>. Затем при содействии В. Костомарова был приобретен металлический станок. На нем и должна была печататься прокламация. Но набрана была лишь часть текста. Получив записку от художника Ильинского, написанную последним по просьбе Сулина, Костомаров прекратил набор. Станок был приобретен у Сулина Аргиропуло. Но 22 июля 1861 года Аргиропуло был арестован. Таким образом, этим станком кружок воспользоваться не успел.

Б. П. Козьмин утверждает, что ни Сороко, ни Сулин, ни В. Костомаров никакого отношения к кружку Аргиропуло и Зайчневского не имели. «Поводом для привлечения этих лиц к делу Аргиропуло и Зайчневского, — пишет он, — явилось то, что незадолго до своего ареста Аргиропуло приобрел у них типографский станок. Этого одного достаточно, чтобы убедиться, что перечисленные лица (т. е. Сороко, Сулин и Петровский-Ильенко. — В. А.) членами кружка Аргиропуло не были»<sup>24</sup>.

О том, что Аргиропуло купил у Сулина типографский станок, властям стало известно уже в процессе следствия. Первое упоминание о станке встречается в обнаруженном среди бумаг Аргиропуло письме члена кружка А. П. Кистера, где тот просит Аргиропуло взять у своего брата какую-то «машину»<sup>25</sup>. Однако Аргиропуло не только не назвал ни одной фамилии, но даже попытался запутать следствие, указав на некоего Кири-Денжана как на покупателя «машин»<sup>26</sup>. Лишь при допросе Я. Сулина, И. Сороко и В. Костомарова была выяснена подоплека всей этой истории. Что же послужило непосредственной причиной для ареста последних?

15 августа 1861 года III отделением был получен донос Николая Костомарова, где он сообщал о «страшном заговоре», возникшем среди «большой партии людей значительных». В качестве доказательства Н. Костомаров прилагал две прокламации: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». 18 августа Н. Костомаров посылает в III отделение второй донос, называя в нем «имена заговорщиков». В этом перечне среди других мы видим Я. Сулина, И. Сороко, В. Костомарова и... Зайчневского<sup>27</sup>. Следует подчеркнуть, что в этом, как и в предыдущем доносе, речь идет исключительно о делах, связанных с пе-

<sup>23</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 30.

<sup>24</sup> Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М., изд. АН СССР, 1961, стр. 131.

<sup>25</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 23.

<sup>26</sup> Там же, стр. 27.

<sup>27</sup> Там же, стр. 10.

чатанием «писем к войску и к крестьянам». Н. Костомаров надеется с помощью жандармов захватить «в самом корне» это «злое дело». Следовательно, не только Сулин, В. Костомаров и Сороко (что подтвердилось на следствии), но также и Зайчневский, по мнению Н. Костомарова, имел отношение к направленным им в III отделение прокламациям. Доносчика поддержал и присланный в Москву для расследования подполковник Житков. После встречи с Н. Костомаровым он телеграфировал, что «все на ходу, но дело, по существу, входит в уже начатое против Зайчневского и Аргиропуло»<sup>28</sup>. 25 августа ночью был произведен арест В. Костомарова, а 28-го Житков доносил, что «первая мысль печатания» принадлежит Сороко и Сулину<sup>29</sup>.

В поведении В. Костомарова привлекает внимание одна деталь. Еще при его аресте подполковник Житков отметил, что Костомаров «чрезвычайный трус; он высказывал давно уже мысль, когда еще только арестовали Зайчневского, что он серьезно думает отправиться в Петербург и во всем сознаться»<sup>30</sup>.

Можно истолковать эти слова как стремление В. Костомарова задним числом приписать себе чувство раскаяния. Но можно усмотреть в этом и нечто другое. Из всех участников процесса Костомаров подвергся наиболее суровой каре (четыре года крепости) «за напечатание воззвания «К барским крестьянам». И он с самого начала хорошо себе представлял размеры грозившей ему опасности. Арест Зайчневского был, очевидно, поставлен им в связь с печатанием прокламации. Этим можно объяснить ту трусость и полнейшую растерянность, которые охватили его при этом известии. Ведь, как мы увидим ниже, В. Костомаров был одним из главных «двигателей» «злого» дела.

Б. П. Козьмин считает факт покупки станка «сто процентным алиби» для Сороко, Сулина и Петровского-Ильенко. Непонятно, почему этот факт должен непременно приводить к данному выводу, а не свидетельствовать, к примеру, о разногласиях внутри одного кружка.

«Как там идет типография? — обеспокоенно спрашивал Зайчневский у Аргиропуло после того, как тот заполучил типографский станок. — Мне сдается, и я в этом даже уверен, что, если ты уедешь из Москвы, печатать ничего не будут»<sup>31</sup>.

Тот же Б. П. Козьмин признает, что «состав кружка был неопределенным, текучим»<sup>32</sup>. Внутри него могли возникать и относительно самостоятельные группировки. Вспомним, что пе-

<sup>28</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 9.

<sup>29</sup> Там же, стр. 12.

<sup>30</sup> Там же, стр. 12.

<sup>31</sup> «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 276.

<sup>32</sup> Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России, стр. 130.

реходу станка из одних рук в другие предшествовал ряд бурных событий: резкость тона прокламации первым заставила капитулировать Сулина, пославшего анонимную записку В. Костомарову, который, конечно, поспешил избавиться от станка. Тем самым и Сулин, и Сороко, и В. Костомаров обнаружили свою неспособность к осуществлению того направления, которое стала принимать практическая деятельность кружка. Вполне возможно, что именно это обстоятельство побудило Аргиропуло взять на себя все дела, связанные с печатанием нелегальной литературы.

Итак, к «Барским крестьянам...» неоспоримо причастны четыре человека: М. Л. Михайлов, И. К. Сороко, Я. Сулин и В. Костомаров. Сороко выполнял роль связного. Приехав в Петербург для распространения отпечатанной в кружке брошюры Огарева «Разбор книги барона Корфа», он от имени Костомарова явился к Михайлову. Как говорил сам Сороко на следствии (он остался при своем показании и на очной ставке с Костомаровым), был он у Михайлова «по просьбе Костомарова за получением письма»<sup>33</sup>. Михайлов на допросе подтвердил, что на этой встрече он вручил Сороко пакет, в котором находился текст прокламации «Барским крестьянам...»<sup>34</sup>. Следовательно, Костомаров ждал от Михайлова именно эту прокламацию. Вполне возможно, что она до этого уже побывала в руках Костомарова или еще у кого-нибудь из членов кружка. Прокламация вовсе не пришла к Костомарову откуда-то извне. Михайлов просто-напросто вернул ее туда, откуда получил и где, по всей вероятности, она возникла, т. е. кружок Аргиропуло — Зайчневского. Можно предположить, что написанная кем-то из кружковцев прокламация посылалась к Михайлову на просмотр. Он, видимо, не ограничился одним лишь одобрением, но и сделал какие-то замечания, а возможно, и поправки. Потому впоследствии ему для окончательного уточнения текста Костомаровым была передана набранная часть корректуры<sup>35</sup>.

А может быть те, кто замыслил издание прокламации «Барским крестьянам...», обращались к авторитетному мнению тесно связанного с Михайловым Н. Г. Чернышевского? Ведь именно так несколько позднее поступил Зайчневский, когда была отпечатана написанная им в тюрьме прокламация «Молодая Россия». Как известно, она была набрана на том самом типографском станке, который члены кружка раздобыли незадолго до ареста Зайчневского. Так как доступ к последнему был совершенно свободен, ему удалось передать текст «Молодой России» избежавшим ареста товарищам по кружку. Они-то и организовали печатание прокламации в име-

<sup>33</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 34.

<sup>34</sup> Там же, стр. 3.

<sup>35</sup> Там же, стр. 32, 33.

нии бывшего студента Павла Коробьина в Рязанской губернии<sup>36</sup>.

Вот что сообщает Л. Ф. Пантелеев, посетивший Зайчневско-ско в Тверской части, когда тот после объявления приговора ждал конфирмации по своему делу.

«— Вот вам новинка, — сказал он (Зайчневский. — В. А.), вручая мне довольно большой полулист, отлично отпечатанный <...> с заголовком «от русского революционного комитета». <...>

— Наш посланный, — продолжал Зайчневский, — теперь уже в Петербурге, он должен прямо явиться к Чернышевскому; конечно, повидает кого-нибудь из ваших, имеет адрес Утина»<sup>37</sup>.

М. В. Нечкина обращает внимание на «дополнительное показание», сделанное Чернышевским 1 июня 1861 года, т. е. до того, как ему был предъявлен текст прокламации «Барским крестьянам...».

«По словам г. Костомарова, — говорит Чернышевский в этом дополнительном показании, — оно (воззвание. — В. А.) было написано до весны. В словах г. Костомарова столько неточностей, что ни на одно из них невозможно опереться. Но, если воззвание действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе»<sup>38</sup>.

«В этом показании, говорящем о датировке еще формально «неизвестного» ему текста, — пишет М. В. Нечкина, — завеса, наброшенная Чернышевским, становится наиболее тонкой. Кажется, еще одно слово, еще один добавочный штрих — и следователи с основанием спросят его: откуда он так много знает о еще неизвестной ему прокламации»<sup>39</sup>.

Можно ли признать это обстоятельство аргументом в пользу авторства Чернышевского? Думается, что нет. Оно говорит лишь о том, что ему было знакомо содержание прокламации. И, видимо, не только из показаний Костомарова. По всей вероятности, Чернышевский был посвящен Михайловым и во все дела, связанные с печатанием прокламации.

Кто же был автором интересующего нас возвания? Скорее всего один из признанных руководителей кружка — Перикл Аргиропуло или Петр Зайчневский.

В первую очередь необходимо по дошедшим источникам выяснить, как представлял каждый из них конкретные практические задачи кружка.

Обратимся к письму Зайчневского от 27 июля 1861 года,

<sup>36</sup> См. об этом: Б. П. Козьмин. П. Г. Зайчневский и «Молодая Россия». М., 1932, стр. 88.

<sup>37</sup> Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1958, стр. 300.

<sup>38</sup> Дело Чернышевского, стр. 333.

<sup>39</sup> «Исторические записки», т. 10, стр. 24—25.

которое раскрывает нам смысл разногласий, существовавших между ним и Аргиропуло.

«Ты говоришь, Грек, что мы «обязаны проповедовать», а я прибавлю, что мы обязаны везде и всегда — и перед дворянами в клубах, на дому у них, и перед мужиками, и вообще везде, где есть общество (не тайное, а обыкновенное). Я не стану спорить наедине с человеком, которого я не уважаю, но когда кто-нибудь начинает возражать против истин, составляющих мое достоинство, при собрании нескольких зрителей, то я начну спорить, потому что знаю, что эти-то посторонние зрители симпатизируют ему, что они считают свое мнение непогрешительным, а на прочих людей, *увлекающихся различными теориями*, смотрят, как на погибших и ослепленных. Пора! Настало время показать этим господам, что истина не на их стороне, что скоро рухнет окончательно (строй), к которому они принадлежат»<sup>40</sup>.

Тон письма явно полемический. И хотя до нас не дошло письмо Аргиропуло, на которое отвечает Зайчневский, не трудно понять, против чего возражает последний. В отличие от Аргиропуло, Зайчневский не желает проповедовать «вообще», он ясно видит цель своей пропаганды. Это ниспровержение существующего строя. Ибо такое время, по его мнению, настало. Из последующего содержания письма становится ясно, что Аргиропуло вообще не допускал мысли о каком-либо восстании и ограничивал задачи кружка «проповедью».

«Проповедовать не значит бунтовать, — повторяет в этом же письме Зайчневский слова Аргиропуло и продолжает, — это весьма верно, но в отношении к каким проповедям. Ученым»<sup>41</sup>.

Предлагаются различные толкования этого письма<sup>42</sup>. Более правомерна, на наш взгляд, точка зрения Б. П. Козьмина.

«Переписка Аргиропуло с Зайчневским <...>, — пишет он, — представляет большой интерес, так как показывает, какие глубокие и серьезные разногласия разделяли авторов писем, несмотря на то, что они руководили одним и тем же кружком и работали рука об руку»<sup>43</sup>.

Это мнение подтверждается и воспоминаниями А. М. о

---

<sup>40</sup> «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 278 (выделено П. Г. Зайчневским.— В. А.).

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> Так, существует мнение, что «в переписке двух друзей речь шла не о пропаганде в народе (в этом пункте оба были солидарны), а о политических спорах Зайчневского с орловскими помещиками (?)». — Ю. В. Куликов. Вопросы революционной программы и тактики в прокламации «Молодая Россия». — В сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., изд. АН СССР, 1962, стр. 246.

<sup>43</sup> Б. П. Козьмин. П. Г. Зайчневский и «Молодая Россия», стр. 69.

П. Г. Зайчневском, которые писались по ее дневнику 1862 года<sup>44</sup>.

«Потом пришел его сотоварищ по заключению—Александр Эммануилович Аргиропуло<sup>45</sup>, — описывает мемуаристка свое посещение Зайчневского в Тверской части. — «Легкомысленный идеалист» — так отрекомендовал П. Г. своего друга <...>.

Аргиропуло был сын греческого консула и оканчивал юридический факультет в Московском университете. Он был полная противоположность Зайчневского. П. Г. всегда смотрел орлом, победителем. В своей крохотной камере он чуть не доставал головой потолка; могучий голос, всегда красивая речь, острый ум, часто беспощадная критика не давали никоим образом окружить его, заключенного, ореолом мученичества. В нем чувствовался сильный борец-гигант, с которым врагам трудно не считаться и который ни в чем им не уступит.

Аргиропуло, наоборот, — скромный, молчаливый, небольшого роста, с лицом Христа, обрамленным вьющимися волосами до плеч, с кудрявой бородкой. Мягкий, деликатный, необыкновенно сердечный, он очаровывал, когда говорил, и детская улыбка освещала все его красивое лицо. Прекрасные печальные глаза, тихий голос, вся его нежная фигура так шли к представлению о вольном сыне чудной Греции, лишенном свободы в холодной дикой стране, где он медленно угасал в неволе»<sup>46</sup>.

Но различие между Аргиропуло и Зайчневским далеко не ограничивалось несходством их характеров.

«Аргиропуло в спорах с ним, — пишет А. М., — старался доказать, что реформы ведут к ломке существующего порядка, но у Петра Григорьевича всегда были наготове факты.

«Какие именно реформы? — гремел он, — просветительные? А закрытие петербургского университета? Это лишь жалкие слова — «просветительная реформа», не имеющие никакого значения без народных школ и университетов. Вы указываете на отмену телесных наказаний. Но еще 1/2 года назад провозглашены «права свободной личности», а теперь оставлены розги, вероятно, для возвышения чести и нравственности «свободной личности» граждан? Суд присяжных, гласное судопроизводство? И вы верите в их силу, когда военный суд расстреливает и вешает? Вам известно, что Муравьев делает в Польше? Не забывайте еще, что губернаторы просматривают списки присяжных. Где же свободный суд? И зачем дела полити-

<sup>44</sup> А. М. Воспоминания о П. Г. Зайчневском. — В сб.: «О минувшем», 1909. Б. П. Козьмин, установивший, что под инициалами А. М. скрывается А. Можарова, не сообщает, однако, о ней никаких сведений (см.: П. Г. Зайчневский и «Молодая Россия», стр. 70).

<sup>45</sup> А. М. неправильно называет Перикла Аргиропуло Александром.

<sup>46</sup> О минувшем, стр. 181.

ческие изъятия из суда присяжных, и вашего покорнейшего слугу скоро отправят изучать нравы моржей и их собратий...»<sup>47</sup>.

В отличие от Аргиропуло, находившегося во власти либеральных иллюзий<sup>48</sup>, Зайчневский был человеком действия, сторонником самых решительных выступлений против правительства. «Он крайне недоверчиво и даже злобно относился ко всему, что исходило от правительства, — отмечала А. М., — не верил в самые широкие реформы сверху, утверждая, что прочно лишь то, что народ сам возьмет, завоюет себе»<sup>49</sup>.

Если задаться вопросом: чьи взгляды наиболее полно отвечают духу прокламации «Барским крестьянам...», то предпочтение надо явно отдать Петру Григорьевичу Зайчневскому.

### 3

Композиционно прокламация «Барским крестьянам...» распадается на три части. В первой дается ответ на вопрос, что должен ждать крестьянин от «нонешних порядков», т. е. от Положения 19 февраля, и делается вывод: дело идет не к «воле», а к новой кабале. Во второй части рассказывается о том, какая воля бывает «в исправду-то». Оказывается, такая воля есть у французов и англичан. Нетрудно заметить, что в этой части прокламация предлагает своего рода образец общественного и государственного устройства. И, наконец, третья часть дает совет, как «в исправду вольными людьми стать», т. е. призывает народ к восстанию. При этом излагается довольно подробный план будущего вооруженного выступления.

В письмах Зайчневского и в его показаниях на суде отсутствует сколько-нибудь подробный анализ Положения. Однако кое-какие сведения о его личном отношении к «царскому указу» найти можно.

Особенно интересно в этом отношении письмо Зайчневского к брату Николаю<sup>50</sup>, где он пересказывает содержание своей речи к крестьянам по поводу Положения. «Как только он (мировой посредник. — В. А.) кончил, вышел я и стал говорить про волю. Мужики окружили меня с радостью и слушали. Я говорил им о том, что земля их и что если помещики не согласятся, то они могут принудить их к этому силой, что все пойдет хорошо, если они только перестанут надеяться на государя, давшего им такую гадкую волю, и тут же рассказал им об Антоне Петрове»<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> О минувшем, стр. 185 (курсив автора).

<sup>48</sup> Как мы увидим ниже, взгляды Аргиропуло являют собой прямую противоположность идеям прокламации «Барским крестьянам...».

<sup>49</sup> О минувшем, стр. 185.

<sup>50</sup> Письмо это не датировано, но время его написания можно установить довольно точно. Это промежуток между концом мая, когда Зайчневский выехал на родину, в Орловскую губернию, и 22 июля 1861 года, когда он был арестован.

<sup>51</sup> «Красный архив», т. 1, стр. 278—279.

Сравним последнюю фразу с началом прокламации: «Ждали вы, что царь даст вам волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую вам дал царь, сами вы теперь знаете» (стр. 365). «У них (у крестьян. — В. А.), — пишет П. Г. Зайчневский П. Э. Аргиропуло 27 июня 1861 года, — господствует полная уверенность, что земля их...»<sup>52</sup>.

К этим высказываниям не так уже сложно найти соответствия в прокламации «Барским крестьянам...» Лейтмотивом ее первой части является мысль о том, что главная беда для крестьян — это фактическое оставление земли в руках барина. Между тем как она принадлежит только им. Вот несколько характерных фраз: «Ну а покуда он придет, что с вашей землей будет...»; «...Потому, вишь ты, что земля, которая была тебе отмежевана, все же не твоя была, а барская...; «Ну а как мужику обойтись половиной земли? Значит должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили».

Ирония возникает из того же противоречия: мужик вынужден просить у барина свою же землю.

В цитированном выше письме к брату Николаю Зайчневский очень кратко излагает суть своей речи. Но даже в этом максимально сжатом изложении одна фраза почти совпадает с предложением из прокламации не только по смыслу, но частично и по внешнему оформлению.

#### Письмо Зайчневского

«Я говорил им о том, что земля их... что все пройдет хорошо, если они только перестанут надеяться на государя...»

#### Прокламация «Барским крестьянам»

«А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит знал. Ну и рассуждайте, чего надеяться вам на него...»

Зайчневский видел, по словам А. М., в реформе «много оплошностей». Он «рассказывал об экзекуциях, о расстрелах толпы, об арестах крестьян-«бунтовщиков», о наказании их шпицрутенами и ссылке в каторжную работу. Он читал нам письма из провинции, как крестьяне просили начальство разъяснить им высочайший манифест, написанный непонятным для них языком. А начальство в ответ на их просьбу — перепоролось розгами этих любопытных крестьян»<sup>53</sup>.

Чтение приведенных выше строк невольно заставляет снова обратиться к началу прокламации, где недвусмысленно говорится о каре, которая ждет крестьян-жалобщиков. «Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от

<sup>52</sup> «Красный архив», т. 1, стр. 277.

<sup>53</sup> О минувшем, стр. 184.

жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, иных, которые смелость имели, еще и в солдаты забреют, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют» (стр. 365).

Заметим, что Зайчневский умел находить «общий» язык с крестьянами. Вот как он сам описывает свое выступление перед ними.

«На другой день по приезде в деревню Надежда выходила замуж, и меня пригласили на свадьбу. Мужики встретили меня с удовольствием. Я выпил за здоровье новобрачных, за здоровье хозяйки, поднял рюмку за волю и произнес речь. Мужики окружили меня и, когда я кончил, старики стали обнимать и все наперерыв звать к себе. Целые послеобеда я принужден был переходить из дома в дом, где мужики пили за мое здоровье и мой приезд. Наконец, в заключение спектакля, они сказали, что готовы отдать мне последнюю курицу»<sup>54</sup>.

Не случайно в созданном вместе с Аргиропуло кружке Зайчневский был своего рода специалистом по крестьянскому вопросу. В его задачу входило ведение агитационной работы прежде всего среди крестьян. Интересно, что об этом знала и московская полиция. В рапорте московского обер-полицмейстера генерал-губернатору от 25 мая 1861 года говорилось:

«Получено мною сведение, что выехавший на днях отсюда Орловской губернии Орловского уезда, в имение своего отца помещика Зайчневского студент здешнего университета Петр Григорьев Зайчневский намерен распространять мнение в народе, и первое всего в имении своего отца, что вся земля помещиков принадлежит бывшим их крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости»<sup>55</sup>.

«Все они (члены кружка. — В. А.) вносили свой вклад в общее дело, — пишет В. Алексеев. — Одни занимались обучением грамоте (Покровский, Н. Зайчневский). Другие распространяли издания кружка (Гольц-Миллер, Сваричевский, Дорошенко). Третьи вели пропаганду среди крестьян (главным образом П. Зайчневский)»<sup>56</sup>.

В прокламации явно идеализированы порядки в западных странах. За образец в ней берется общественное и государственное устройство в Англии и Франции. Объяснить эту несколько странную идеализацию можно двояким образом: либо автор грешил неосведомленностью, либо мы имеем дело с умышленным приемом. Первое маловероятно. Прокламации в то время писались людьми, относившимися к наиболее просвещенной части общества: журналистами, писателями, студен-

<sup>54</sup> «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 279.

<sup>55</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 22—23.

<sup>56</sup> В. Алексеев. Студенческий кружок Аргиропуло и Зайчневского, стр. 125.

тами и т. п. Скорее всего это намеренное описание, имеющее целью что-то противопоставить российской действительности.

Между тем в показаниях Зайчневского есть мысль, могущая несколько приоткрыть завесу над замыслом автора прокламации:

«Я говорил крестьянам о самой идее государя, об идее правительства и сравнивал настоящее правительство с тем, которое произошло бы при общинном порядке»<sup>57</sup>.

А не заставляет ли автор прокламации французов и англичан «образовать» у себя это самое правительство, «которое произошло бы при общинном порядке?» Для такого предположения есть все основания. В числе возможных причин, подтолкнувших его к этому, можно назвать хотя бы конкретность мышления крестьянина, с доверием относящегося лишь к тому, что уже прошло проверку опытом. Вспомним одно из характерных выражений прокламации. «Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них (французов и англичан. — В. А.) стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя сумели» (стр. 371).

#### Из показаний Зайчневского 26 июля 1861 года

Признавая, что владеть землею может только община, мир, я проводил это мнение крестьянам. В сущности самого этого мнения лежит и мысль о неповиновении воле государя и причина к восстановлению против помещиков <...> Повторяю, что высказывал только свои мнения о превосходстве общинного землевладения с общинным же управлением над личным.

Это превосходство состоит в зависимости управляющих лиц от всего общества, в их ответственности перед ним. Это превосходство утвердилось в народе начало, дозволив миру назначать старосту, сотского, волостного голову и проч. должностных лиц. Оно признало ответственность начальников перед обществом, дозволив последнему судить первых. Если правительство признало общинное управление лучшим для одних крестьян, то я признавал его наилучшим для всего общества...»<sup>58</sup>.

#### Прокламация «Барским крестьянам...»

«А вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окромя мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а вместо всего староста, который без миру ничего поделать не может, и во всем миру должен давать ответ. А мир над старостой во всем властен, а кроме мира никто над старостой не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру страх имеет.

<...> У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ, значит, над этим старостой, над царем-то начальствует» (стр. 371).

<sup>57</sup> М. Лемке. Политические процессы., стр. 20.

<sup>58</sup> Там же, стр. 17.

Так или иначе, но французы и англичане являются здесь лишь вывеской, за которой автор скрывает свой идеал государственного устройства. Рассмотрим подробнее (см. стр. 190), как представлял последнее Зайчневский, и проведем сравнение его взглядов с теми, что излагаются в прокламации.

В сравниваемых источниках ход доказательств весьма сходен: от выборности в общине к выборности в самом государстве. Из «сущности самого этого мнения» и следует убеждение, что не народ должен повиноваться царю, а царь народу<sup>59</sup>.

Жандармский подполковник Житков, арестовавший Зайчневского, докладывал в своем рапорте, что последний «был весьма откровенен и показал себя молодым человеком, хотя и увлекающимся по своему легкомыслию преступными идеями, но доверчивым и вообще правил весьма благородных». Он откровенно говорил ему, что они имеют в виду произвести переворот в России и рассчитывают в этом на содействие всех студентов, которых в России до 8000, на войско, в котором полагают найти людей, сочувствующих им, достаточно для составления, по крайней мере, трех полков...»<sup>60</sup>. Все это пересказано со слов Зайчневского в рапорте жандармского офицера. Но, как известно, первый даже на следствии прямо высказывал свои взгляды<sup>61</sup>. «Разумеется всем, кто занимается изучением политических движений, в частности — эпохой 1860-х годов, — пишет М. Лемке, — надо постоянно помнить, что каждый привлеченный старался всякими способами убедить власть в своей невиновности, что и совершенно понятно. Только Зайчневские — а таких немного — видели необходимость, наоборот, го-

<sup>59</sup> В рукописи «Идеалы» Н. П. Огарев так обосновывает необходимость общинного землевладения: «Цель общества — положить начало социальному миру на основании общинного землевладения.

Следственно, главный принцип самоуправления общины. Самоуправление общины исключает вмешательство правительственной администрации, казенного судопроизводства и даже законодательства в дела общины». — Пять революционно-конспиративных документов из бумаг Огарева (публикация М. В. Нечкиной). — Литературное наследство. Герцен и Огарев. Т. 62, М., изд. АН СССР, 1953, стр. 494.

Если сравнить эту цитату с приведенными отрывками из прокламации «Барским крестьянам...» и показаний П. Г. Зайчневского, а также другими идеями прокламации, о которых будет сказано дальше, то можно заметить, что при общности некоторых положений (самоуправление общины, независимость ее от царского суда, администрации и т. д.), посылка здесь совершенно другая: «положить начало социальному миру», в то время как прокламация прямо призывает к восстанию.

<sup>60</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 5.

<sup>61</sup> Автор некролога о П. Г. Зайчневском передает такую любопытную деталь: «Помню со слов его сестры или брата, что один из сенаторов сказал конфиденциально его родным, что стоит Петру Григорьевичу не признать себя виновным в возводимых на него преступлениях, и он будет оправдан. Петр Григорьевич не только на это не согласился, но произнес перед Сенатом такую революционную речь, что все сенаторы пришли в ужас» («Современник», 1913, кн. 2, стр. 233).

ворить правду, да и то только «почти»<sup>62</sup>. Житкову оставалось поточнее изложить в своем рапорте политическую программу Зайчневского, отметив при этом, что арестованный был на редкость откровенен.

Привлекают внимание слова Зайчневского о том, что он и его товарищи рассчитывают привлечь к участию в восстании войско, где думают найти «сочувствующим им» людей. Поражительно их сходство с соответствующей частью прокламации, прямо обращенной к солдатам. Вот это место.

«А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть такие офицеры, и не мало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть» (стр. 373).

«Никаких советов и наставлений я им (крестьянам. — В. А.) не давал, — говорил Зайчневский на следствии, — а только при рассказе об Антоне Петрове я им указывал на безрассудство выступления без оружия и говорил, что, как бы ни многочисленна была толпа безоружных, ее всегда разгонят несколько десятков солдат, что для успеха оружия нужно оружие, а оно — в городах»<sup>63</sup>.

Разумеется, обо всех «советах и наставлениях» Зайчневскому говорить было вовсе не обязательно, да и об Антоне Петрове он упоминает, видимо, потому, что о последнем писалось в изъятом у него жандармами письме. Важен признаваемый Зайчневским факт, что в его речи содержался совет крестьянам вооружаться в случае таких крупных столкновений с правительственными войсками, какие имели место в апреле 1861 года в селе Бездна. Подобный призыв есть и в прокламации «Барским крестьянам...»: «А, кроме того, ружьями запасайтесь кто может, да всяким оружием» (стр. 373).

Сожаление по поводу того, что крестьяне выступают пока еще без оружия мелькает у Зайчневского и в письме к П. Э. Аргиропуло: «Вот оно, красное знамя, начинает развеваться и у нас и осенять собой толпы собравшихся, *хотя и не вооруженных*, но все-таки на защиту великого дела социализма — общинного владения землей»<sup>64</sup>.

Все это дает основание предполагать, что в 1861 году Зайчневский всерьез думал о вооруженном восстании. Прокламация же «Барским крестьянам...» успех вооруженного выступления крестьян прямо ставит в зависимость от помощи со стороны солдат.

<sup>62</sup> М. Лемке. Политические процессы., стр. 43—44.

<sup>63</sup> Там же, стр. 17.

<sup>64</sup> «Красный архив», стр. 277 (курсив наш. — В. А.).

4

Есть еще один агитационный документ, который, как бесспорно установлено, был написан Зайчневским<sup>65</sup>. Это прогремевшая в свое время на всю страну прокламация «Молодая Россия».

Рассмотрим в ней прежде всего те места, где определяется отношение к народу как движущей силе революции, к восстанию и к царю.

Б. П. Козьмин, которому принадлежит обстоятельный анализ названной прокламации, не совсем прав, на наш взгляд, когда говорит о пассивной роли, якобы отводимой народу ее авторами. «...Революционной молодежи и руководимой ею революционной организации авторами «Молодой России» отводится первенствующая роль в революции, — пишет он, — от них исходит инициатива восстания, из их среды выдвигаются вожаки народа, они возглавляют движение и руководят им. Напротив, народ в перевороте играет главным образом пассивную роль. Для победы революции важно не столько непосредственное участие в ней народных масс, сколько их сочувствие революционеров»<sup>66</sup>.

Известное давление на исследователя оказывают, видимо, факты более позднего периода жизни Зайчневского. Однако не следует забывать, что в 1861—1862 годах последний еще не был таким непреклонным якобинцем, каким его знали в 70—80-е годы<sup>67</sup>.

Перечисляя опорные силы будущей революции, авторы «Молодой России» в первую очередь называют народ: «Забитый и ограбленный крестьянин станет вместе с нами за свои права, он решит дело, но не ему будет принадлежать инициатива его, а войску и нашей молодежи»<sup>68</sup> (стр. 169). Все-таки именно в крестьянине прокламация видит силу, которая «решит дело». Но «инициатива» восстания принадлежит войску и молодежи.

Как же решается вопрос об управляющих силах восстания в прокламации «Барским крестьянам...»? В ней говорится, что для успеха выступления крестьяне должны иметь «единоду-

---

<sup>65</sup> См.: Б. П. Козьмин. П. Г. Зайчневский и «Молодая Россия», стр. 87—88.

<sup>66</sup> Там же, стр. 104. Впоследствии Б. П. Козьмин несколько смягчил формулировки, но в основном остался на прежней точке зрения (см.: Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России, стр. 255—256).

<sup>67</sup> Бланкистский характер «Молодой России» опровергнут убедительными аргументами Ю. В. Куликовым (см. его статью «Вопросы революционной программы и тактики в прокламации «Молодая Россия», стр. 250—253).

<sup>68</sup> Цитаты из прокламации «Молодая Россия» даны здесь и далее по тексту, приведенному в книге Б. П. Козьмина «П. Г. Зайчневский и «Молодая Россия» (стр. 157—170) с указанием соответствующей страницы в скобках. (Курсив наш. — В. А.).

шие», «сноровку» «да силой запасться». Прокламация советует обратиться за помощью к солдатам, так как на последних держатся «все нынешние порядки». Солдаты в свою очередь должны высматривать «добрых офицеров» и учиться у них, «как волю добыть». Фактически они берут на себя военное руководство восстанием, наставляя крестьян, как «в военном деле порядок держать» «да команды слушаться». Чем же, по мысли автора прокламации, крестьяне привлекают солдат на свою сторону? Оказывается, обещанием прибавить им жалование и ликвидировать установленный срок службы: «А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованья пятьдесят рублей серебром. А и принуждения никакого нет, хочешь — оставайся, хочешь — в отставку иди» (стр. 373).

Нечто подобное обещали солдатам и авторы «Молодой России»: «Мы требуем увеличения в больших размерах жалованья войску и уменьшения солдату срока службы» (стр. 167). Далее проводится даже мысль, что со временем войско должно быть заменено национальной гвардией. Таким образом, здесь реализуется намеченный в прокламации «Барским крестьянам...» принцип добровольности в несении военной службы.

Итак, одну из управляющих сил будущего восстания прокламация «Барским крестьянам...» видит, как и «Молодая Россия», в войске. Наряду с этим обе прокламации обращаются к народу от имени революционной организации (в «Молодой России» — это «центральный революционный комитет»; в прокламации «Барским крестьянам...» эта организация не называется, но все время имеется в виду), которая в будущем и призвана осуществлять руководство восстанием. Эта организация оценивает обстановку, «приготовленность» народа и в решающий момент дает сигнал к восстанию: «Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем» (стр. 374).

Следовательно, и в прокламации «Барским крестьянам...» «инициатива дела» принадлежит не народу. Она настойчиво рекомендует крестьянам воздерживаться от прямых выступлений, пока не выйдет это «объявление». Прокламация ни единым намеком не дает понять, что за люди скрываются под именем «доброжелателей». Но предположить, что это все те же представители молодежи, студенчества — вполне возможно.

Теперь об отношении к царю. В прокламации «Барским крестьянам...» дискредитация царской особы достигается совмещением ее с ненавистной каждому крестьянину фигурой помещика-крепостника. Этот же прием употреблен и в «Молодой России». И там и тут есть небольшой экскурс в «родословную», где раскрывается неблагоприятная роль царей в закреплении крестьян.

«Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик. Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали, иных давно, так что вам уже и не памятно; а других не больно давно так, что деды помнят, прабабка нынешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что ее матушку Екатерину величают. Хороша матушка, детей в кабалу отдала.

Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете собака собаку не ест. Ну царь и держит барскую сторону» (стр. 370).

Несколько слов об аграрных программах исследуемых прокламаций. Для утверждения их сходства, конечно, явно недостаточно констатировать совпадения в каких-либо общих идеях, которые могли быть достоянием очень большого круга лиц (к примеру, что в основу устройства сельской жизни должна быть положена крестьянская община). Важнее отметить единомыслие в двух частных вопросах.

Во-первых, это возможность отдачи земли в наем.

## «Барским крестьянам...»

«Вот у французов есть воля. У них нет разницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать...» (стр. 370).

## «Молодая Россия»

«Всякий человек должен непременно приписаться к той или другой из общин: на его долю, по распоряжению мира, назначается известное количество земли, от которой он, впрочем, может отказаться или отдать в наем» (стр. 165).

Во-вторых, право каждого выйти из общины.

«А вот еще в чем у них воля. Пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешения на то ему не надо» (стр. 371).

«Ему (крестьянину. — В. А.) предоставляется также полная свобода жить вне общины и заниматься каким угодно ремеслом» (стр. 165).

Значительную часть нелегальной литературы, конфискованной жандармами у членов кружка при аресте, составляли

произведения А. И. Герцена и Н. П. Огарева<sup>69</sup>. Больше всего было найдено литографированных листов 71 номера «Колокола» за 1860 год. Только у одного Аргиропуло было изъято 173 экземпляра<sup>70</sup>. В этом номере «Колокола» обращает на себя внимание приводимый в статье «Провинция и резиденция» адрес Владимирского дворянства на имя Александра II. Основной пафос этого обращения в защите крестьян от произвола судей и других должностных лиц. Очевидно, владимирские дворяне, подобно гверским, примыкали к оппозиционно-либеральному крылу русского дворянства, возникшему в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Адрес содержит ряд предложений, отдельные из которых перекликаются с требованиями прокламации «Барским крестьянам...»

#### Адрес Владимирского дворянства

«...Управление общее для всех сословий. Хозяйственно-распорядительное управление выборное от всех сословий и ответственное только перед судом и обществом, — при чем выборные лица утверждаются не административной властью, но единственно правительством избрания»<sup>71</sup>.

Много соответствий с идеями прокламации имеется и в статье Огарева «На новый год». Как уже было сказано, эта статья была отлитографирована в кружке Аргиропуло—Зайчневского и деятельно распространялась в провинции. Заметим, что Н. П. Огарев в своей статье указывает, в частности, на огромную роль нелегальной литературы в подготовке восстания:

«Попробуй запретить печатать, — пишет он, — станут говорить в рукописях; а оно почти также быстро как печать, но зато действует вдвое страстнее, стало вдвое сильнее и вдвое опаснее для правительства, потому что пробирается подземным ходом и не увидишь, где и как придет к взрыву и землетрясению»<sup>72</sup>.

Когда Огарев думает о том, что принесет крестьянину ре-

#### Прокламация «Барским крестьянам»

«Миром у них все правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем миру должен давать ответ» (стр. 371).

<sup>69</sup> Вот их далеко не полный перечень: статьи из сборника А. И. Герцена и Н. П. Огарева «За пять лет (1855—1860)»; «Запад» Герцена; лист 71 «Колокола» за 1860 г.; литографированные листы «Полярной Звезды»; брошюра Огарева «На новый год»; статьи Герцена: «О развитии революционных идей в России»; «Россия до Петра»; «Петр I»; «Литература и мнение публики после 14 декабря 1825 г.»; «Эпилог, о сельских общинах в России» и т. д. (М. Лемке. Политические процессы..., стр. 5—6).

<sup>70</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 5.

<sup>71</sup> «Колокол», лист 71, 15 мая 1860. — «Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Факсимильное издание. Под ред. М. В. Нечкиной. Вып. 3, изд. АН СССР, 1962, стр. 591.

<sup>72</sup> Там же, лист 89, 1 января 1860, стр. 746.

форма, у него возникает та же горькая интонация, которая слышится и в прокламации. «Крестьяне увидят, что они такие же крепостные, как были; только их права, их собственность, их работа, все их отношение к помещику из неопределенности по отсутствию правил — перешли в неопределенность по бесчисленности правил; а между тем слово «свобода» — вылетело из клетки и его сызнова в клетку не упрячешь»<sup>73</sup>.

А вот несколько созвучных мест из начала прокламации:

«Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ныне срочно-обязанными вас звать велят; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет... А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названьем одним, а самим делом был вольный человек» (стр. 366).

Много сходств обнаруживается и в характеристиках солдатской жизни.

### На новый год

«Неужели у них не хватит усердия на избиение крестьян? И у кого у них? У солдат, которых отцов и братьев обманули мнимым освобождением, у которых задерживают жалованье, которых плохо кормят и хорошо бьют»<sup>74</sup>.

### «Барским крестьянам...»

«А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что ему житье, что ли, больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам» (стр. 373).

«В одном мы не можем разубедиться, — пишет Н. П. Огарев в названной статье, — надо умножать число образованных офицеров, чтобы войско не было употреблено против крестьян»<sup>75</sup>.

К этому выводу Огарева тоже находится параллель в прокламации «Барским крестьянам...», где солдатам рекомендуется привлекать на свою сторону «добрых» офицеров. Автор прокламации, так же как и Огарев, выдвигает требование отмены паспортов, изменения системы рекрутства и т. д.

Таким образом, к некоторым положениям прокламации «Барским крестьянам...» находятся соответствия в материалах тех номеров «Колокола», которые распространялись членами кружка Аргиропуло—Зайчневского. Это говорит о том, что названные номера «Колокола» были у автора прокламации под рукой и использовались им в качестве дополнительного источника, что и нашло свое отражение в прокламации. Имеются и определенные отличия. В статье «На новый год» присутствует более умеренный тон по отношению к помещикам, чем в прокламации. Огарев все еще надеется, что «помещичество <...> из чувства самосохранения, с одной стороны, и из собственной выгоды, с другой, — вынуждено будет стать выше официаль-

<sup>73</sup> «Колокол», лист 89, 1 января 1860, стр. 745.

<sup>74</sup> Там же, стр. 746.

<sup>75</sup> Там же, стр. 752.

ного мира и соединиться с народом»<sup>76</sup>. Прокламация же смотрит на помещика глазами измученного долгими годами крепостного рабства крестьянина, питающего вековую непримиримую вражду к закабалившему его крепостнику. Она обрушивается и на главного помещика России — царя, в то время как Огарев опраничивается обличением правительства, не затрагивая имени Александра II.

И в заключение о некоторых «почему», которые могут возникнуть при чтении данной статьи. Возникали они и у автора.

Прежде всего, намекает Зайчневский где-либо на свое участие в составлении прокламации «Барским крестьянам...»? Таких материалов найти не удалось. Дело осложняется тем, что, начиная с 70-х годов, до нас не дошло ни писем, ни сочинений Зайчневского. К тому же, если верить Л. Ф. Пантелееву, о нашедшей своей прокламации «Молодая Россия» Зайчневский «неохотно вспоминал даже в кругу лиц, близких к этому делу»<sup>77</sup>. Тем более ему не было необходимости и поводов говорить о причастности к не получившей распространения прокламации «Барским крестьянам...»

Истинного автора прокламации мог знать В. Костомаров. Но, как уже говорилось, провокатору в конечном счете было безразлично, кто был им в действительности. По указке III отделения он мог назвать любого человека. Привлекает внимание еще одно обстоятельство. Именно в середине января 1863 года<sup>78</sup>, когда Зайчневский был отправлен из Московской тюрьмы в Казань, управляющий III отделением генерал А. Л. Потапов входит в «личные объяснения» с провокатором. А 18 января Костомаров уже дает показание<sup>79</sup>, в котором, несмотря на всю его путанность, есть слова о том, что Чернышевский имеет отношение к якобы находящимся у него компрометирующим документам. Можно, конечно, назвать это простым совпадением. Однако не лишено смысла и предположение, что Потапов во избежание всяких недоразумений, прежде чем начать с помощью Костомарова фабрикацию фальшивок на Чернышевского, предусмотрительно подождал, пока из Москвы уберут действительного автора прокламации «Барским крестьянам...» Ведь на Зайчневского обвинительного материала было более чем достаточно, а вот против Чернышевского улики в это время еще не было.

Проведенное сравнение идей прокламации со взглядами предполагаемого автора и обнаружившееся при этом их бесспорное совпадение в самых значительных положениях приводят с достаточной уверенностью к выводу, что автором прокламации «Барским крестьянам...» был П. Г. Зайчневский.

<sup>76</sup> «Колокол», лист 89, 1 января 1860, стр. 747.

<sup>77</sup> Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 302.

<sup>78</sup> Зайчневский выбыл из Тверской части 10 января 1863 года. (М. Лемке. Политические процессы..., стр. 22—23).

<sup>79</sup> Дело Чернышевского, стр. 164.

## О ДОСТОВЕРНОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВ И УБЕДИТЕЛЬНОСТИ ВЫВОДОВ

Иногда к установлению авторства приводит разыскание единственного, но непререкаемого документального свидетельства (например, чернового автографа). В данном случае трудно рассчитывать на это. Поэтому, чтобы подойти к решению вопроса, необходимо тщательно взвесить степень достоверности целого ряда свидетельств, степень убедительности многих доводов.

Важнейшим аргументом в пользу авторства Чернышевского, по согласному признанию исследователей<sup>1</sup>, является мемуарное свидетельство Н. В. Шелгунова. И, действительно, мемуары Шелгунова, который был другом и соратником Чернышевского, имеют здесь значение первостепенное. Напомним соответствующее место из них.

«Я буду говорить, — писал Шелгунов, — только о трех прокламациях, о которых знаю достоверно: «К молодому поколению», «К крестьянам», «К солдатам».

Зимой 1860 года приехал из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров <...> Он привез революционное стихотворение, — к сожалению, его не помню, — напечатанное домашними средствами и с пропечатанной внизу фамилией: «В. Костомаров». Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией <...> Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал ему работу в «Современнике», и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать.

<sup>1</sup> См., например, М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. — «Исторические записки», 10, М., 1941, стр. 7—8; С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...», — В сб.: Книга, XIV, М., 1967, стр. 219, 221.

В ту же зиму, то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский — прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову...

<...> Возвратившись в Петербург, Михайлов застал в нем Костомарова<sup>2</sup>. Костомаров привез одну форму прокламации «К народу» <...><sup>3</sup>.

Как отметил Н. А. Алексеев, мемуары Н. В. Шелгунова, написанные через много лет после эпохи, о которой повествуют, содержат некоторые неточности (например, вопреки указанию Шелгунова, Сераковский не мог присутствовать в 1855 г. на публичной защите диссертации Чернышевского)<sup>4</sup>. Однако, вообще говоря, мемуары Шелгунова отличаются большой достоверностью. Трудно допустить, чтобы Шелгунов мог спутать имя автора прокламации, обращенной к крестьянам<sup>5</sup>: ведь речь идет уже не о случайной детали, а о важном деле, к тому же слишком памятном по процессу Чернышевского. Мог ли Шелгунов спутать имя автора прокламации, если он четко помнил даже подробности, связанные с ее напечатанием («Костомаров привез одну форму прокламации...»)<sup>6</sup>?

Указание, что автором прокламации «Барским крестьянам...» был Чернышевский, содержится и в мемуарах землевольца 1860-х годов А. А. Слепцова. Исследователи справедливо указывают, что мемуары Слепцова не очень достоверны, ибо записаны лишь в начале XX века, когда память уже во многом изменяла мемуаристу<sup>7</sup>. Но в этих мемуарах привлекает внимание и представляется вполне точным сообщение о

---

<sup>2</sup> Эта встреча состоялась 20 августа 1861 г. (см.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. I, М., 1967, стр. 462).

<sup>3</sup> Там же, стр. 242—243, 245.

<sup>4</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, в. 5, Изд. Саратов. ун-та, 1968, стр. 192.

<sup>5</sup> В научной литературе имела место полемика по поводу того, можно ли упомянутую Шелгуновым прокламацию «К народу» отождествлять с прокламацией «Барским крестьянам...» (Н. А. Алексеев. Примечания. — В кн.: Процесс Н. Г. Чернышевского, Саратов, 1939, стр. 283; М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, стр. 8). Между тем, серьезного основания для полемики не было, поскольку в своих мемуарах Шелгунов называет прокламацию по-разному: не только «К народу», но и «К крестьянам» (см. начало приведенной нами цитаты). «К крестьянам» — так иногда именовалась эта прокламация и в материалах процесса (см., например, Дело Чернышевского, стр. 411). Совершенно очевидно, что речь шла об одной и той же прокламации.

<sup>6</sup> «Форма» — здесь: корректурный оттиск нескольких страниц текста. То, что корректура начала прокламации существовала, совершенно несомненно и подтверждается наличием наборной рукописи (см.: С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...». — В сб.: «Книга», XIV, стр. 215—217).

<sup>7</sup> Там же, стр. 220—221; Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам?», стр. 192—193.

том, как были распределены темы для прокламаций между руководителями революционного кружка, группировавшегося вокруг «Современника». По словам А. А. Слепцова, прокламации были написаны по единому плану: «...План был составлен очень удачно, имелось в виду обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время, ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля <...> Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса, который он, действительно, знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам<sup>8</sup>, <...> молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов»<sup>9</sup>.

Ссылаясь на недостоверность воспоминаний А. А. Слепцова и отмечая некоторое несовпадение взглядов Чернышевского со взглядами Шелгунова<sup>10</sup>, Н. А. Алексеев, тем самым, подверг сомнению и утверждение Слепцова, что прокламации были написаны по единому плану<sup>11</sup>. Однако единство замысла легко обнаруживается при их текстовом сопоставлении. В прокламации «К молодому поколению» читаем: «Вы (т. е. передовая молодежь. — А. Г.) должны объяснить народу, что у него есть доброжелатели, что есть люди, желающие, чтобы он владел землей, а не находился в вечной зависимости от землевладельцев; есть люди, желающие убавить ему подати и всякие платежи, водворить правду в суде, избавить народ от лишних няnek и опекунов. Не забудьте и солдат. Объясните им, что и у них есть доброжелатели, которые хотели бы убавить солдатам срок службы, дать им больше жалованья, избавить их от палок. Объясните все это народу и солдатам, но не забудьте прибавить, что помехой всему царь и его министры, для которых это невыгодно»<sup>12</sup>. Здесь намечены те мысли, которые в более развернутом виде составляют содержание прокламаций к барским крестьянам и солдатам. Характерно, что выражение «доброжелатели» (народа и солдат), употребленное в прокламации «К молодому поколению», многократно повторяется в прокламации «Барским крестьянам от их доб-

---

<sup>8</sup> Тут же А. А. Слепцов отмечает, что Н. Обручев отошел от этого дела и не принял участия в написании прокламации. Действительно, прокламация к солдатам написана Шелгуновым единолично.

<sup>9</sup> Прокламация «К молодому поколению» написана Шелгуновым, возможно при участии Михайлова (см.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1, стр. 482). См. также: С. А. Рейсер. Воспоминания А. А. Слепцова. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, в. 3, Изд. Сарат. ун-та, 1962, стр. 271.

<sup>10</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам?», стр. 200.

<sup>11</sup> Там же, стр. 193.

<sup>12</sup> Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1, стр. 335—336. (Курсив мой. — А. Г.).

рожелателей поклон», а также в прокламации к солдатам, развернутый текст которой имеет заголовок «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» и подпись «Ваши доброжелатели»<sup>13</sup>.

Очевидно, что все три прокламации («К молодому поколению», «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон») вышли из кружка единомышленников. Это — еще один аргумент в пользу авторства Чернышевского: естественно полагать, что он играл важную роль в этом революционном кружке, который возник в редакции «Современника» и к которому принадлежали его близкие друзья — Шелгунов и Михайлов.

Н. А. Алексеев опубликовал отрывок из воспоминаний Н. Тюрина, отбывавшего каторгу вместе с Чернышевским на Александровском заводе. По словам Тюрина, Чернышевский отрицал, что прокламация «Барским крестьянам...» написана им<sup>14</sup>. Это свидетельство само по себе любопытно, но, разумеется, не может иметь решающего значения. Ведь, вообще говоря, трудно было бы и предположить, чтобы такой опытный конспиратор, как Чернышевский, сам раскрыл свое авторство, да еще непосредственно после осуждения, когда он не мог не надеяться на отмену приговора. К тому же неясно, насколько близки были отношения Чернышевского с Тюриным.

Отвергая широко распространенное мнение о Чернышевском как авторе прокламации, Н. А. Алексеев предпринял попытку доказать, что этим автором был Вс. Костомаров.

На чем же основывается исследователь?

Он приводит отрывок из текста повести «Алферьев», посланного Чернышевским в Сенат 14 августа 1863 г. в качестве «образца черновой литературной работы». В этом отрывке содержится длинное, нарочито запутанное рассуждение о переводчике, причем выделяются слова, записанные в виде отдельной строки: traduttore—traditore, что, как тут же указывает Чернышевский, означает (по-итальянски): «переводчик есть изменник»<sup>15</sup>. Здесь, конечно, намек на то, что Вс. Костомаров (который, как известно, был поэтом-переводчиком) является предателем. Может быть, Чернышевский надеялся, что его рукопись попадет к друзьям, которым он хотел сообщить о предательстве Костомарова. В этом же черновом наброске говорится и о том, что переводчик может быть автором,

<sup>13</sup> Воззвание Шелгунова к солдатам известно в двух редакциях: «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» (развернутая редакция) и «К солдатам» (краткая редакция). См. оба текста в кн.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1, стр. 327—331, 350—351.

<sup>14</sup> См. Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам?», стр. 196—197.

<sup>15</sup> Там же, стр. 200.

но не разъясняется, автором чего (переводимого произведения? или автором доноса, поскольку речь идет о предателе?). Во всяком случае, мы не можем согласиться с тем, что из черного наброска следует, будто Чернышевский считал Костомарова автором прокламации. Если бы у Чернышевского была такая мысль, то он вполне мог бы высказать ее на процессе, ибо не имел никаких оснований щадить предателя.

Обосновывая «костомаровскую» гипотезу, Н. А. Алексеев опирается также на два свидетельства «документального» характера.

Одно из них — донесение агента III отделения Путилина, где приводятся слова самого Костомарова: «Наш кружок был не велик <...> Тотчас по разрешении вопроса об организации был поднят вопрос о действии <...> М<ихайлову> поручено было написать и напечатать прокламацию к «Молодому поколению», а К<остомарову> прокламации к солдатам и барским крестьянам»<sup>16</sup>.

Это «автопризнание» — явно недостоверное. Автором, или, во всяком случае, основным автором прокламации «К молодому поколению» был не Михайлов, а Шелгунов<sup>17</sup>. Свидетельство же насчет прокламации «Барским крестьянам» отнюдь не заслуживает доверия, ибо Костомаров приписал ее себе наряду с прокламацией «К солдатам», автором которой, как известно, был Шелгунов. Возможно, что запись Путилина (со слов Костомарова) дефектна, и в действительности Костомаров сказал, что ему было поручено лишь напечатать (но не написать) прокламации к солдатам и к барским крестьянам, что соответствует истине. Но даже если Костомаров и вправду назвал себя автором обеих прокламаций, то и это ничего не меняет. Ведь Костомаров многократно лгал на процессе, давая любые показания, какие только хотели получить от него представители власти. Это был лгун, трус, хвостун, человек психически неуравновешенный, а может быть, и психически ненормальный<sup>18</sup>. Его слова — это мутный источник, из которого исследователь не может почерпнуть сколько-нибудь надежных сведений.

В своей статье Н. А. Алексеев приводит еще один документ: неизданное донесение следственной комиссии, согласно которому, «по показанию Сулина, воззвание к барским крестьянам изготовлялось им, Сулиным, и Костомаровым, кото-

<sup>16</sup> См. Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? , стр. 199.

<sup>17</sup> Прокламацию «К молодому поколению» Костомарову давал Михайлов (см. об этом: М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, М.—П., 1923, стр. 60). Очевидно, поэтому Костомаров решил, что Михайлов и является ее автором.

<sup>18</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 12, 82—83.

рый назвал себя автором»<sup>19</sup>. Действительно, прокламацию Костомаров печатал вдвоем с Сулиным. Возможно, отвечая на вопрос Сулина (еще до раскрытия их типографии), Костомаров назвал себя автором прокламации, чтобы похвастаться. Может быть, он не хотел признаться, что даже не знает, кем написана прокламация, и что сам он играет в этом деле лишь подсобную, техническую роль. Ведь он воображал себя крупным деятелем (ср. в предыдущем документе слова «наш кружок»), а в доносе своего брата он предстает даже как «глава партии»<sup>20</sup>.

Между тем версия, будто Костомаров был автором прокламации к барским крестьянам, решительно опровергается надежным документальным свидетельством — показаниями М. Л. Михайлова на процессе, в которых говорится: «...При аресте в Москве г. Всеволода Костомарова найдены у него два рукописные сочинения: «К крестьянам» и «К солдатам». Как то, так и другое были у меня в руках, и оба получены Костомаровым от меня, одно (последнее) лично, а другое через студента Сороко»<sup>21</sup>. Как известно из материалов процесса, Костомаров получил текст прокламации от Михайлова, через Сороко, в запечатанном конверте. Эти сведения не могут быть пересмотрены. Следовательно, автором прокламации Костомаров быть не мог. Им был другой человек, близкий к Михайлову. Таким образом, нити снова ведут к Чернышевскому.

Переходим к рассмотрению самого текста прокламации. В нем Н. А. Алексеев усматривает всякого рода «неувязки» и «несообразности», которые, как считает исследователь, противоречат представлению об авторстве Чернышевского. Одна из неувязок — хронологическая: в прокламации говорится об отмене крепостного права как о совершившемся факте («вот вам и вышла от царя воля» и т. д.)<sup>22</sup>, а между тем условия «освобождения» переданы неточно, и невольно возникает мысль, что прокламация написана до публикации манифеста 19 февраля 1861 г.<sup>23</sup>

Однако эта особенность прокламации получает свое объяснение в свете документальных данных, лишь недавно ставших известными: можно считать установленным, что прокламация была написана в феврале 1861 г., непосредственно перед опубликованием манифеста; какие-то переделки вносились

<sup>19</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? стр. 198—199.

<sup>20</sup> М. Лемке. Политические процессы..., стр. 10.

<sup>21</sup> Дело Чернышевского, стр. 410—411.

<sup>22</sup> См. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XVI, М., 1953, стр. 947. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте (римской цифрой обозначаем том, арабской — страницу).

<sup>23</sup> Ср.: М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, стр. 22—26.

в нее в марте, после издания манифеста<sup>24</sup>. Здесь надо учесть и превосходящие обстоятельства. Автор прокламации находился в Петербурге, а печаталась она в Москве; автор (очевидно, Чернышевский) вел переговоры с Костомаровым через четвертых и пятых лиц, сохраняя свое инкогнито, что затрудняло самые переговоры; наконец, по техническим причинам (неисправность станка Костомарова) печатание прокламации задерживалось, и было неясно, когда удастся его осуществить. А между тем внутривластительное положение в России быстро изменялось. И получилось так, что, когда печатание прокламации было начато (в августе 1861 г.), содержание ее в некоторых деталях уже устарело.

Таким образом, некоторая хронологическая неувязка, имеющая место в прокламации, объясняется обстоятельствами ее печатания и ничуть не противоречит представлению об авторстве Чернышевского.

Любопытно, что еще 1 июня 1863 г., до того, как прокламация была предъявлена Чернышевскому, он заявил в своем «дополнительном показании» на процессе: «По словам г. Костомарова, оно (воззвание. — А. Г.) было написано до весны. В словах г. Костомарова столько неточностей, что ни на одно из них невозможно опереться. Но если «Воззвание» действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе»<sup>25</sup>. Справедливо считая это «дополнительное показание» сильным доводом в пользу авторства Чернышевского, М. В. Нечкина писала: «...В этом показании, говорящем о датировке еще формально «неизвестного» ему текста прокламации, завеса, сброшенная Чернышевским, становится наиболее тонкой. Кажется, еще одно слово, один добавочный штрих — и следователи с основанием спросят его: откуда он так много знает о еще неизвестной ему прокламации»<sup>26</sup>.

Другую «несообразность» Н. А. Алексеев усматривает в том, по его выражению, «смехотворном» объяснении отмены крепостного права, которое содержится в прокламации: «А что манифест да указы выпустил, будто волю вам дает, так он только для оболъщения сделал. А почему сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано» (XVI, 950). Эти слова (как и вся прокламация) ориентированы на уровень понимания тогдашнего крестьянина. Автор проклама-

<sup>24</sup> См. примечания Э. Виленской и Л. Ройтберг в кн.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1, стр. 480—481.

<sup>25</sup> Дело Чернышевского, стр. 333.

<sup>26</sup> М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, стр. 24—25.

ции (будь то Чернышевский или кто-либо другой) допустил бы ошибку, если бы стал писать об экономической выгоде вольнонаемного труда или о том, что царь испугался размаха крестьянских волнений — до тогдашнего среднего крестьянина эти истины, представляющиеся нам очевидными, конечно, не дошли бы. Между тем представление о том, что царь ведет государственные дела «для забавы» и по своему капризу, стараясь, главным образом, ни в чем не отстать от иностранцев, было свойственно крестьянскому сознанию. Это хорошо знали тогдашние писатели, публицисты, авторы революционных прокламаций. Так, автор рассуждения о поэме Некрасова «Железная дорога», относящегося даже к более позднему времени (1873 г.) и имеющего характер революционной прокламации, писал: «Русские бары и царь часто ездили по чужим землям, и им очень нравились чугунные дороги, по которым можно скоро ездить. Задумали царь и бары построить у себя — в России такую дорогу <...> И решили строить дорогу для своей забавы»<sup>27</sup>. В качестве художественного произведения, построенного на фабуле о «царских капризах», назовем «Левшу» (1881) Н. С. Лескова — «сказ», вложенный в уста человека из народа и мастерски ориентированный на мировоззрение тогдашнего крестьянства.

По мнению Н. А. Алексева, Чернышевскому не могли принадлежать и суждения в прокламации «Барским крестьянам...» о «подлинной воле», будто бы имевшей место в Англии и Франции (XVI, 950—951)<sup>28</sup>. Разумеется, эти суждения представляются нам наивными, особенно в устах Чернышевского. Конечно, Чернышевскому была ясна ограниченность буржуазной демократии, и он прекрасно знал о нелегком положении трудового народа в странах Западной Европы. Но в то же время Чернышевский, как известно, признавал относительную прогрессивность порядков, установившихся в капиталистических странах Европы, по сравнению с русскими порядками; высмеивая славянофильские представления, он многократно писал об отсталости царской России (см., например, VI, 161; VII, 196, 593—594, 618, 661—663, 830—831). А, главное, нельзя упускать из виду специфику самого жанра прокламации. Прокламация была приспособлена к крестьянскому пониманию, и цель ее состояла не в том, чтобы сообщить крестьянам точные сведения о порядках в Западной Европе, а в том, чтобы поднять крестьян на борьбу против русского самодержавия. Описание же «воли» на Западе, пусть идеализированное, вполне соответствовало этой цели. Политический смысл этой идеализации — показать, что такие порядки не

<sup>27</sup> Сборник новых песен и стихов, <Женева>, 1873, стр. 11—12.

<sup>28</sup> Ср.: Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам?», стр. 197—198.

являются досужей выдумкой, а существуют; следовательно, они достижимы и в России.

Теперь присмотримся более внимательно к тому, какие же именно «английские» и «французские» порядки восхвалял автор прокламации, — и мы обнаружим, что здесь, в условной форме, воплощены те политические лозунги, которые пропагандировал Чернышевский в своих многочисленных работах.

1) «...Разницы по званию нет никакой, все одно как богатый помещик, либо бедный помещик, — все одно помещик» и т. д. (XVI, 950). — Ср. многочисленные, широко известные выступления Чернышевского против крепостного права.

2) «...Рекрутства у них нет...» и т. д. (XVI, 950). — Ср. обличение рекрутчины в статьях Чернышевского (V, 180; VII, 637).

3) «...Подушной подати нет...» (XVI, 950). — Ср. филиппики против системы подушной подати в статьях Чернышевского (VII, 548—549).

4) «Пачпортов нет...» (XVI, 950). — Ср. высказывания Чернышевского об обременительности паспортной системы для тогдашнего русского крестьянства (VII, 188).

5) «Суд праведный» (XVI, 950). — Ср. разоблачение коррупции старого чиновничьего аппарата и царского суда в ряде статей Чернышевского (V, 65—67, 69, 704—706, 710 и др.).

6) «Миром все у них правится» и т. д. (XVI, 950—951). — Ср. многочисленные выступления Чернышевского против абсолютизма, за демократию, за республиканский строй и т. д. (V, 652—653; VII, 124, 689, 694—695; VIII, 559 и др.).

Автор прокламации стремился, очевидно, не к скрупулезно точному описанию европейских порядков, а к тому, чтобы выдвигаемые политические лозунги были поняты и приняты русским крестьянством. Так, в прокламации говорится, что англичане и французы изгоняли своих «царей» (т. е. королей), когда те не «послушествовали» народу: «...Чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уже не будь царем, ты нам неугоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше...» (XVI, 951). По этому поводу Н. А. Алексеев замечает: «Эту идиллию сочинил якобы Чернышевский, должно быть, забывши, что англичане своему королю Карлу I голову отрубили, а французы то же сделали Людовику XVI и его супруге...»<sup>29</sup>. Но, во-первых, немало было случаев, когда англичане и французы не казнили, а именно изгоняли своих королей. Во-вторых, — и это главное — нельзя упускать из виду, что прокламация отражала прежде всего определенную политическую платформу. Лозунг цареубийства в ту пору не мог быть популярным в крестьянской среде. Автор прокламации выдвинул требование «мирного» изгнания царя — и это не является неожиданно-

<sup>29</sup> Ср.: Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам?», стр. 198.

стью, так как именно такова была установка революционеров 1861 года в данном вопросе. Ср. в прокламации «К молодому поколению»: «...Наступила пора сделать с нашим правительством то, что сделали крестьяне одного имения Тамбовской губернии с своими управляющими из немцев. Когда манифест о воле был прочитан крестьянам, они запрягли лошадей в телеги, вежливо попросили своих управляющих садиться, довели их до границы имения и так же вежливо просили их вылезать. «Мы вам очень благодарны за ваше управление, — сказали крестьяне немцам, — но больше его не хотим; ступайте с богом куда вам угодно, но уж к нам больше не возвращайтесь»<sup>30</sup>.

Едва ли не к каждой мысли, высказанной в прокламации «Барским крестьянам...», можно найти соответствия в известных работах Чернышевского. Это относится не только к тем местам прокламации, которые приведены в статье Н. А. Алексеева, но и к другим. Например, в прокламации говорится о тяжелой доле батраков (XVI, 949) — об этом писал и Чернышевский (V, 814, 911 и др.). В прокламации речь идет о несчастном положении остзейских крестьян (XVI, 949) — об этом писал и Чернышевский (V, 818).

Совпадение прокламации с известными работами Чернышевского прослеживается и в деталях. М. В. Нечкина обратила внимание на то, что доводы против насильственного переселения крестьян на новые земли в прокламации очень близки к аналогичным доводам в статье Чернышевского «Материалы для решения крестьянского вопроса»: 1) В прокламации: «А гробы-то родительские — от них-то какво отлучаться?» (XVI, 948) — в статье: «Принужденное переселение <...> возмутило бы самые заветные привязанности человека: привязанность к родовому жилищу и к месту, где схоронены отцы» (V, 714); 2) В прокламации: «...С доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото...» (XVI, 948) — в статье: «Вместо удобренной земли, занимаемой усадьбами, крестьяне получили бы песок, солончак, болота» (V, 714)<sup>31</sup>.

Обращает на себя внимание намеченный в прокламации план народного восстания: восстание, утверждает автор прокламации, должно тщательно готовиться в тайне, а начаться повсеместно и притом непременно сразу, когда настанет для этого время; большую роль в восстании призваны сыграть кадровые военные, которые должны в короткое время обучить народ военному делу (XVI, 952—953). Это совершенно совпадает со взглядами Чернышевского на восстание, высказанны-

<sup>30</sup> Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1, стр. 334.

<sup>31</sup> Ср.: М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, стр. 12—13.

ми им в статьях о западноевропейских делах<sup>32</sup>. При этом имеет место *явное текстуальное совпадение*: в прокламации «Барским крестьянам...»: «...Только тогда и опасность большая бывает, когда дрогнешь да мяться начнешь, да еще коли побежишь назад, — ну, тут уж плохо дело. А покуда вперед идешь, мало тебе пушка вреда делает. Ведь из сотни-то ядер одно в человека попадет, а другие все мимо летят. И о пулях то же надо сказать. Тут грому много, а вреда мало» (XVI, 952). Почти те же выражения употребил Чернышевский в напечатанной в «Современнике» (1860, № 7) статье «Июль 1860» (по поводу сицилийских дел): «...Главное дело в походе — сохранять присутствие духа, а в битве — помнить, что треск ружейных выстрелов вовсе не так опасен, как шумен, что из сотен пуль попадает лишь одна, что истинная опасность постигает солдат лишь тогда, когда они смешаются» (VIII, 181)<sup>33</sup>.

Надежные мемуарные свидетельства о принадлежности Чернышевскому прокламации «Барским крестьянам...», все содержание прокламации, ее тематические и даже текстуальные совпадения с известными работами Чернышевского — все это является достаточным основанием, чтобы утверждать, что он и был автором прокламации.

---

<sup>32</sup> О взглядах Чернышевского на восстание см. в кн.: В. Я. Зевин. Политические взгляды и политическая программа Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 129—140.

<sup>33</sup> Заимствуем это сопоставление из только что названной книги В. Я. Зевина (стр. 133), где оно приведено независимо от вопроса об атрибуции.

## ОТВЕТ Н. А. АЛЕКСЕЕВУ

Н. А. Алексеев выступил в сборнике («Н. Г. Чернышевский». Статьи, исследования и материалы, в. 5, Изд. Саратов-та, 1968) со статьей, в которой опровергает мнение о том, что Чернышевский был автором прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Автор пишет: «В советской ученой среде господствует, приобретя прочность пред-рассудка, мнение, что Н. Г. Чернышевский, осужденный за прокламацию «Барским крестьянам», действительно был ее автором, хотя для юридического обоснования постигшей его кары властям пришлось прибегнуть к лжесвидетельским показаниям Всеволода Костомарова и изготовленным им по заказу III Отделения фальшивкам»<sup>1</sup>.

Это верно, что в советской ученой среде господствует мнение, что именно Чернышевский был автором указанной прокламации. Его высказывали: М. Лемке<sup>2</sup>, М. Н. Покровский<sup>3</sup>, Ю. М. Стеклов<sup>4</sup>, М. В. Нечкина<sup>5</sup>, В. Г. Баскаков<sup>6</sup>, С. А. Рейсер<sup>7</sup> и др.

<sup>1</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? (Материалы к постановке вопроса). — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, в. 5, стр. 187.

<sup>2</sup> М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов. М., 1923, стр. 318.

<sup>3</sup> М. Н. Покровский. Историк-марксист, т. 10, 1928, стр. 12.

<sup>4</sup> Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. М.—Л., 1928, стр. 282.

<sup>5</sup> М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. — «Исторические записки Института истории АН СССР», 1941, № 10, стр. 6.

<sup>6</sup> В. Г. Баскаков. Мировоззрение Чернышевского. М., 1956, стр. 86.

<sup>7</sup> С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам». — В сб.: Книга, XIV, М., 1967, стр. 221.

Но что это мнение является ошибочным и представляет собой распространенный предрассудок, Н. А. Алексеев в своей статье не доказал.

Разберемся в его немногочисленных аргументах. Автор пишет, что Костомаровым была подделана «карандашная записка якобы Чернышевского к нему об исправлении термина «срочно обязанные» в воззвании к «Барским крестьянам» на «временно обязанные». Неправильный термин был употреблен Чернышевским и в «Письмах без адреса», написанных им в феврале 1862 г. для очередного номера «Современника», но запрещенных сплошь цензором. Чернышевский не забыл бы к тому времени о сделанной в прокламации опiske, если бы он был автором названной прокламации. А что записка была действительно поддельной — доказано советской экспертизой»<sup>8</sup>.

Н. А. Алексеев рассуждает так: поскольку записка содержала просьбу исправить указанную описку, а затем эта же описка все же была повторена в «Письмах без адреса», написанных Чернышевским позже, значит автором прокламации был не Чернышевский. Такое рассуждение было бы с точки зрения автора основательным, если бы Н. А. Алексеев считал, что записка была написана Чернышевским. Но он сам же объявляет ее подложной. Из сопоставления же того факта, что одна и та же описка была сделана как в «Письмах без адреса», написанных Чернышевским, так в прокламации, надо сделать вывод, что автором обоих документов был Чернышевский.

Н. А. Алексеев высказывает сомнение в соответствии действительности слов Н. В. Шелгунова: «В ту же зиму, то есть в 1861 г., я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» (то есть «Барским крестьянам». — Х. Г.) и вручил их для печатания Костомарову <...> Я переписал прокламацию измененным почерком и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову»<sup>9</sup>.

Автор считает, что «мемуары, особенно написанные много лет спустя после событий, о которых повествуют, требуют критического отношения к ним. Между тем приведенный отрывок из воспоминаний Шелгунова послужил для некоторых советских исследователей основанием для утверждений, что Чернышевский действительно был автором воззвания к барским крестьянам, хотя на суде и следствии отрицал это и, как уже говорилось, судьям для юридического обоснования

<sup>8</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? (Материалы к постановке вопроса). — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, в. 5, стр. 195.

<sup>9</sup> Там же, стр. 191; Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.—Пг., 1923, стр. 33.

приговора по его делу пришлось прибегнуть к лжесвидетельским показаниям Всеволода Костомарова и представленным им же фальшивкам»<sup>10</sup>.

Логика Н. А. Алексеева непонятна. Неужели же Чернышевский мог признаться судьям в том, что он был автором прокламации и тем помочь им отправить его на каторгу? Отсутствие же у суда действительных улик против Чернышевского объясняется известным его умением законспирироваться.

Если слова Шелгунова о том, что Чернышевский написал прокламацию «К народу», то есть «Барским крестьянам...», не заслуживают доверия, то тогда надо не верить Шелгунову и в том, что им была написана прокламация «К молодому поколению», а ведь по этому поводу никто не выразил сомнения.

Ссылки Н. А. Алексеева на плохую память Шелгунова, забывшего через несколько десятков лет содержание прокламации «Барским крестьянам...» и напутавшего относительно присутствия Сераковского на заседании, на котором Чернышевский защищал свою диссертацию, не являются основанием для недоверия к его словам о том, что прокламацию «К народу» написал Чернышевский. Одно дело забыть содержание не им написанной прокламации, не увидевшей к тому же света, и напутать в частном вопросе о присутствии Сераковского, а другое дело сохранить верно в памяти такой важный и несложный факт, как то, что именно Чернышевский написал прокламацию «Барским крестьянам».

Автор приводит большие выписки из этой прокламации, в которых говорится о том, что на Западе, например во Франции и Англии, нет сословного неравенства, нет подушной подати, нет взяточничества в судах и т. д. Автор особо останавливается на словах прокламации о том, что на Западе, в странах, в которых еще имеются цари, «...чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уже не будь царем, ты нам не угоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше; а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое слушание. Ну царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что послушаться народа не может. А как провожать от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости, Христа ради, там складчину ему сделают, промеж себя по грошу аль по копейке с души, чтобы в чужой-то земле с голоду не умер...»<sup>11</sup>.

Ссылаясь на характер описания отношения к царям на Западе, Н. А. Алексеев отрицает, что автором прокламации

<sup>10</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? (Материалы к постановке вопроса). — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, в. 5, стр. 192.

<sup>11</sup> Там же, стр. 198.

был Чернышевский. Он заявляет: «Эту идиллию сочинил якобы Чернышевский, должно быть забывший, что англичане своему королю Карлу I голову отрубили, а французы то же сделали Людовику XVI и его супруге, вместо того, чтобы выводить их от себя, снабдить вкладчину деньгами, чтобы не умерли с голоду на чужбине»<sup>12</sup>. И этот аргумент против авторства Чернышевского не убедителен. Ведь Чернышевский обращался к крестьянам, в среде которых еще десятки лет после этого жили монархические чувства и предрассудки. Поэтому в прокламации о царях по форме говорится мягко, а по существу презрительно, как о людях, неспособных даже заработать на пропитание.

Кроме того, в прокламации содержится агитация за республику: «когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается и царем не зовется, а просто зовется народным старостой, а по-ихнему, по-иностранному, президентом, тогда народу лучше бывает жить и народ богаче бывает»<sup>13</sup>. Автор не привел этих слов в своей длинной выписке из прокламации. Между тем в них очень характерен для Чернышевского с его трезвым умом аргумент, обращенный к крестьянам в пользу республики: «народу лучше бывает жить и народ богаче бывает». Вообще агитация за республику высоко поднимает принципиальное значение этой части прокламации, которую осуждает Н. А. Алексеев.

Изучая вопрос о том, кто был автором прокламации «Барским крестьянам...», Н. А. Алексеев уделяет преимущественное внимание не имеющим решающего значения частностям и упускает из виду выявление больших идейных особенностей прокламации. А эти идейные особенности имеют решающее, принципиальное значение.

Так, в прокламации «Барским крестьянам...» явно проводится идея европеизации политического строя в России путем установления конституции либо, еще лучше, республики вне какой-либо связи с социалистической революцией. Это принципиально отличает прокламацию «Барским крестьянам...» от прокламации «К молодому поколению», в которой резко проводится идея отмежевания России от примеров Западной Европы. Говоря о Европе, авторы этой прокламации заявляют: «Мы не хотим ее пролетариата, ее аристократизма, ее государственного начала и ее императорской власти»<sup>14</sup>.

Положительная оценка государственного устройства бур-

<sup>12</sup> Н. А. Алексеев. Был ли Чернышевский автором прокламации «Барским крестьянам»? (Материалы к постановке вопроса). — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, в. 5, стр. 198.

<sup>13</sup> С. А. Рейсер. Прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам...», — В сб.: Книга, XIV, стр. 233.

<sup>14</sup> К молодому поколению. — В кн.: Народническая экономическая литература. М., 1958, стр. 88.

жуазных государств на Западе по сравнению с феодальными порядками характерна именно для Чернышевского. Так, в статье, написанной в 1859 г., «Франция при Людовике-Наполеоне», Чернышевский писал, что «владычество буржуазии все-таки было бы менее неблагоприятно социальным реформам нежели нынешняя система»<sup>15</sup>.

В прокламации «Барским крестьянам...» ничего не говорится об общине. Это обстоятельство принципиально отличает ее от прокламаций «К молодому поколению» и «Молодая Россия».

В первой из них сказано: «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране, чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать как картофель и капусту, чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины, т. е. или приписаться к общине существующей или несколько граждан могли бы составить новую общину»<sup>16</sup>.

Во второй из них заявляется: «Каждая область должна состоять из земледельческих общин, все члены которой пользуются одинаковыми правами. Всякий человек должен непременно приписаться к той или другой из общин; на его долю по распоряжению мира назначается известное количество земли, от которой он, впрочем, может отказаться или отдать ее в наем. Ему предоставляется также полная свобода жить вне общины и заниматься каким угодно ремеслом, только он обязан вносить за себя ту подать, какая назначается общиной»<sup>17</sup>.

Как видим, в обеих прокламациях, обращенных по преимуществу к интеллигенции и написанных примерно в одно время с прокламацией «Барским крестьянам...», община рассматривается как основа основ народной жизни.

Между тем в прокламации «Барским крестьянам», обращенной к крестьянам, об общине, как указывалось, даже не упоминается. Так поступить среди революционеров мог только Чернышевский. Он идеализировал общину, особенно в том смысле, что считал ее средством против «язвы пролетариатства», то есть против обезземеливания крестьян, но вместе с тем он не фетишизировал общины. Так, он писал: «Если бы существовал выбор только между двумя формами быта: 1) общинным владением на частной собственности с отделением ренты от доходов земледельца и 2) принадлежностью ренты земледельцу по праву частной собственности, мы были бы

<sup>15</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. V, М., 1953, стр. 440.

<sup>16</sup> К молодому поколению. — В кн.: Народническая экономическая литература, стр. 93.

<sup>17</sup> Молодая Россия. — В кн.: Народническая экономическая литература, стр. 104.

совершенно согласны с противниками общинного владения в предпочтении второй формы»<sup>18</sup>.

Когда Чернышевский писал прокламацию «Барским крестьянам», он уже понимал, что подготовленная крестьянская реформа обрекает крестьян путем выколачивания выкупных платежей, подушной подати и разных обязательных местных сборов на такое безысходно-тяжелое положение, так будет разорять крестьян, что выступать с общинным принципом в этих условиях неуместно.

В отличие от прокламации «Молодая Россия» в прокламации «Барским крестьянам» нет речи о социалистическом характере ожидаемой революции. Это тоже характерно для Чернышевского. Он не исходил из того, что ожидавшаяся крестьянская революция будет социалистической, хорошо понимал, что капитализм несет народу бедствия, но понимал также, что по сравнению с феодализмом капитализм является более прогрессивным строем.

Чернышевский писал: «Россия вступает в тот период экономического развития, когда к экономическому производству прилагаются капиталы. Характер деятельности производящих классов и самый быт их необходимо должен подвергнуться оттого великим изменениям»<sup>19</sup>.

Чернышевский считал, что социализм будет осуществлен в России путем эволюционного развития общин в смысле перехода к коллективному сельскохозяйственному производству. В 1858 г. он писал: «Через тридцать или двадцать пять лет общинное владение будет доставлять нашим поселянам другую, еще более важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли»<sup>20</sup>.

Как видим, переход к коллективному производству он относил на сравнительно отдаленный срок, в то время как революцию, несомненно, ждал в ближайшие годы. Если бы Чернышевский верил в социалистический характер ожидавшейся революции, он не стал бы относить преобразование сельскохозяйственного производства на 30—25 лет.

Отсутствие в прокламации «Барским крестьянам...» призыва к социалистической революции также говорит за то, что ее автором был революционный демократ Чернышевский.

В духе прокламации «Барским крестьянам...» выступила вскоре «Земля и воля» 1860-х годов. В программных документах ее содержатся призывы к свержению самодержавия вне связи с социалистической революцией, и в них также ни-

<sup>18</sup> Н. Г. Чернышевский. Два отрывка из «Современного обозрения». Полн. собр. соч., т. V, стр. 784.

<sup>19</sup> Там же, т. IV, стр. 341.

<sup>20</sup> Н. Г. Чернышевский. Ответ на замечания провинциала. Там же, т. V, стр. 151.

чего не говорится об общине<sup>21</sup>. Но ведь «Земля и воля» 60-х годов была создана под непосредственным влиянием Чернышевского. Совпадение идейного направления изданий этой организации с идейным содержанием прокламации «Барским крестьянам...» также свидетельствует о том, что автором этой прокламации был Чернышевский.

---

<sup>21</sup> Подробнее о программных документах «Земли и воли» 1860-х годов см.: Х. С. Гуревич. Об идейном направлении «Земли и воли» 1860-х годов. — В сб.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. М., 1965, стр. 414—419.

## НЕОБХОДИМЫЕ УТОЧНЕНИЯ

Проблема авторства Чернышевского в отношении прокламации «Барским крестьянам...» — одна из не исследованных вполне в биографии революционного демократа. Н. А. Алексеев решительно отрицает принадлежность этого подпольного листка Чернышевскому, убедительно аргументируя свою точку зрения.

Считаем, однако, необходимым сделать следующие дополнения к статье Н. А. Алексеева.

Среди источников, касающихся вопроса об авторе воззвания, Н. А. Алексеевым называются и цитируются мемуары Н. Тюрина. Удалось установить, что автор этих воспоминаний — Николай Сергеевич Тютчев (1856—1924), известный земледелец и народоволец 1870-х годов<sup>1</sup>. Его статья о Чернышевском впервые опубликована в 1914 году<sup>2</sup> и перепечатана в его книге воспоминаний<sup>3</sup>. Автограф хранится в архиве Чернышевского (машинопись с авторской правкой и подписью)<sup>4</sup>.

Текст опубликованного Н. А. Алексеевым отрывка несколько отличен от первопечатного и рукописного. Приводим интересное нас место по авторизованному тексту, по содержанию идентичному печатному его воспроизведению 1925 года.

«Из рассказов каракозовцев мне припоминается интересная подробность. Будучи на каторге, Н. Г. всегда уклонялся от разговоров о практических путях революционной деятельности в России, но все же разговоры об этом неизбежно возни-

<sup>1</sup> Биографическую справку о Н. С. Тютчеве см. в кн.: Деятели революционного движения. Библиографический словарь. Т. 2. в. IV, М., стлб. 1772—1777.

<sup>2</sup> «Русские ведомости», 1914, 16 ноября, № 238.

<sup>3</sup> Н. С. Тютчев. Статьи и воспоминания. Кн. III, ч. II, М., 1925, стр. 73—79.

<sup>4</sup> ЦГАЛИ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 621, лл. 1—14.

кали, и вот какое впечатление вынесли из его отрывочных замечаний, брошенных вскользь, Шаганов и Николаев (последний был с Н. Г. особенно близок)<sup>5</sup>. Далее следует цитированный Н. А. Алексеевым отрывок, в котором говорится о политических и общественных взглядах Чернышевского<sup>6</sup>. Заключительная же часть фрагмента звучит в рукописи так: «Эта «неразговорчивость» Н. Г. может быть объяснена его разумной конспиративностью. Сужу об этом потому, что все каракозовцы в один голос утверждали, что Н. Гавр. сослан был на каторгу только благодаря подложному письму; он не являлся, следовательно, по их мнению, автором прокламации «К барским крестьянам». И это они утверждали после нескольких лет совместной жизни в Александровском заводе и лучших отношений с Н. Г., т. е. очевидно, передавали слышанное от самого Н. Гавр., который продолжал даже и в дружеских отношениях с товарищами-каторжанами стоять на версии, которой он придерживался на следствии и на суде. Теперь, после опубликования подлинных документов по делу Чернышевского (в «Былом»<sup>7</sup>), едва ли можно уже сомневаться, что Н. Г. был автором прокламации «К барским крестьянам»<sup>8</sup>.

Обращает на себя внимание характерная особенность воспоминаний, сказавшаяся и в приведенном отрывке. Сам Н. С. Тютчев не встречался с Чернышевским и, по собственному признанию, передал сведения о писателе «со слов очевидцев»<sup>9</sup>. Точнее было бы сказать даже, что мы имеем дело не с воспоминаниями, а со статьей, написанной с использованием мемуарных источников. Поэтому здесь необходимо четко различать две стороны: собственно воспоминания очевидцев, сгруппированные Н. С. Тютчевым и могущие служить первоисточником, и те выводы и рассуждения, которые предлагаются автором, сторонником мнения, будто Чернышевский мог быть автором прокламации.

Эта особенность учтена Н. А. Алексеевым при цитировании, однако без всяких пояснений на этот счет и без указаний на выпущенные места.

Отрицая авторство Чернышевского, Н. А. Алексеев выдвинул предположение, что прокламацию «Барским крестьянам...» написал В. Костомаров. Основным первоисточником служит в данном случае сообщение председателя следствен-

<sup>5</sup> ЦГАЛИ, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 621, л. 12.

<sup>6</sup> См.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, в. 5, Изд. Саратов. ун-та. 1968, стр. 196—197.

<sup>7</sup> М. К. Лемке. Дело Н. Г. Чернышевского (по неизданным источникам). — «Былое», 1906, № 3—5.

<sup>8</sup> ЦГАЛИ. Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 621, л. 113. См. также: Н. С. Тютчев, Статьи и воспоминания, стр. 73—79.

<sup>9</sup> Н. С. Тютчев. Статьи и воспоминания, стр. 73.

ной комиссии по делу о печатании в Москве недозволенных сочинений Собещанского министру внутренних дел Валуеву от 27 октября 1861 года за № 187: «<...> По показанию Сулина воззвание к барским крестьянам изготовлялось им, Сулиным, и Костомаровым, который назвал себя автором»<sup>10</sup>.

В архиве канцелярии министра внутренних дел нами обнаружен подлинник этого документа. Выяснилось, что Н. А. Алексеевым приведена только часть текста, в результате чего смысл рапорта Собещанского оказался измененным.

Сообщая о результатах допроса Сулина, добровольно сознавшегося «в имени уничтоженного уже им типографского станка и печатании на нем с спекулятивной целью при участии разыскиваемого комиссиею Петра Петровского разбора книги Корфа «14 декабря и Император Николай», Собещанский далее писал: «В показании бывшего студента Сулина, смею думать, заслуживает еще внимания, что воззвание «К барским крестьянам» приготавливалось им, Сулиным, и Костомаровым к печати и часть уже была набрана, но работа остановилась по случаю предостерегательной безыменной записки, полученной Костомаровым, который назвал себя автором ее, напротив того, Сулин объясняет, что записку эту по его просьбе писал художник Ильинский, о чем дальнейшее расследование приостановлено за неприбытием в Москву Костомарова»<sup>11</sup>.

О записке, автором которой Костомаров назвал себя, а Сулин — художника Ильинского, нигде в тексте документа подробно не говорится. Из опубликованных же М. К. Лемке материалов процесса московских студентов со всею очевидностью следует, что речь шла об анонимной записке, которую, как это выяснилось в результате следствия, действительно писал художник Ильинский по просьбе Сулина, решившего таким способом остановить печатание прокламации. Текст записки также приведен М. К. Лемке: «Милостивый государь, будьте осторожны, за вами следят. По обязанности ваш недоброжелатель». Записка была адресована В. Костомарову, и тот, получив ее по городской почте, рассыпал набор<sup>12</sup>.

Таким образом, рапорт Собещанского от 27 октября 1861 года не может служить доказательством в предположении, будто В. Костомаров, печатавший с Сулиным прокламацию, вместе с тем был и ее автором. Можно предположить, что Н. А. Алексеев располагал не подлинником, а хранящейся в архиве III отделения копией рапорта Собещанского, препровожденной Валуевым для ознакомления шефу жандармов

<sup>10</sup> См.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы, в. 5, стр. 198—199.

<sup>11</sup> ЦГИА СССР. Ф. 1282, оп. 1, д. 17, л. 76.

<sup>12</sup> М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов. Изд. 2-е, М.—Пг., Госиздат, 1923, стр. 29, 31, 32.

Долгорукову 31 октября 1861 года при отношении за № 1205. Текст цитированного Н. А. Алексеевым фрагмента значительно отличается от подлинника: «В показании бывшего студента Сулина, смею думать, заслуживает еще внимания, что воззвание «к барским крестьянам» приготавливалось им, Сулиным, и Костомаровым, который назвал себя автором ее, напротив того, Сулин объясняет, что записку эту по его просьбе писал художник Ильинский, о чем дальнейшее расследование приостановлено за неприбытием в Москву Костомарова»<sup>13</sup>. После слова «Костомаровым» здесь по вине переписчика, снявшего с подлинника копию, оказались выпущенными несколько строк о предостерегательной записке, которая затем упоминается как принадлежащая Ильинскому. Без этих строк, действительно, не совсем понятно, автором какого манускрипта назывался В. Костомаров: воззвания (прокламации) «Барским крестьянам...» или записки (впрочем, «запискою» могла быть названа та же прокламация). Только обращение к подлиннику позволило внести полную ясность в истолкование документа, введенного в научный оборот Н. А. Алексеевым.

---

<sup>13</sup> ЦГАОР СССР. Ф. 109, 1 экспед., 1861 год, ед. хр. 212, л. 329—329 об.



изводился набор прокламации (в типографии Костомарова была только одна гарнитура), и его кегль — 6 пунктов.

Эта поправка может оказаться полезной для идентификации других изданий костомаровской типографии и, может быть, и для других нелегальных изданий начала 1860-х годов.

Ниже воспроизводится находящийся в следственном деле оттиск набора — на фотографии размер шрифта, по техническим причинам, несколько увеличен (см. рисунок).

## НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТКЛИК НА СТАТЬЮ ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ОБ ИСКРЕННОСТИ В КРИТИКЕ»

---

Если печатные отклики на одно из первых программных выступлений Чернышевского, каким, несомненно, является статья «Об искренности в критике», по крайней мере учтены<sup>1</sup>, то мнения «рядовых» читателей еще не попадали в поле зрения литературоведов. Предлагаемое сообщение вводит в научный оборот документ именно этого рода.

В отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки Академии Наук УССР хранится черновой автограф Н. Н. Страхова «Письмо действительного читателя в редакцию «Современника». Рукопись предположительно отнесена (И. П. Матченко или сотрудниками архива?) к 1859—1866 годам. Если вторая дата понятна (хотя, как предельная, и сама собою разумеется) — в 1866 г. «Современник» был запрещен, то основание для первой найти, на наш взгляд, трудно. Представляется правомерной другая датировка рукописи: дело в том, что в письме Страхова мы видим отклик на статью Чернышевского «Об искренности в критике». Так сливаются воедино обе задачи: датировка письма Страхова и характеристика его мнения о работе Чернышевского.

Автор письма взялся за перо в связи с «осенней полемикой»<sup>2</sup> «Современника» и «Отечественных записок». Он различает в ней существенное содержание и превосходящие обстоятельства журнальной конкуренции, явственно сказавшиеся на выступлениях «Отечественных записок». «Предмет полемики нынешнего года заслуживает полного внимания; дело идет о началах критики, или, пожалуй, об искусстве критики; и повод

---

<sup>1</sup> См.: Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., Гослитиздат, 1953, стр. 97—101.

<sup>2</sup> Рукописный отдел ГПБ АН УССР, шифр 1, 5299<sup>а</sup>, л. 1. Последующие ссылки на письмо Страхова даются в тексте.

немаловажный: у Вас, очевидно, явился новый критик»<sup>3</sup> (л. 1). Вскоре выясняется, что автор письма имеет в виду и определенную работу этого критика — «целую статью об искренности» (л. 1).

*Осенняя полемика*, связанная с выступлением нового критика «Современника» об искренности, — сочетание этих фактов не оставляет сомнения в том, что речь идет о Чернышевском и его знаменитой статье «Об искренности в критике» («Современник, 1854, № 7) и что письмо Страхова, вероятнее всего, относится к концу 1854 г., когда в русской журналистике и произошли перечисленные события.

Вместе с тем следует напомнить о существовании и характере полемики между «Современником» и «Отечественными записками», отношения которых именно во второй половине 1854 г. отличались исключительной напряженностью. «Современник» в лице Чернышевского, а также поддерживавшего его своими фельетонами Нового Поэта (И. И. Панаева) боролся за такую меру взыскательности критики и такие литературно-эстетические критерии, которые отвечали бы общественным задачам литературы и способствовали ее новому подъему. «Отечественные записки», в статьях и заметках С. Дудышкина, уходили от принципиального содержания спора, подменяя его «проблемами» журнальной конкуренции, борьбы за подписчика и прочими в конце концов коммерческими делами. Очевидно, однако, что это был одновременно и ответ по существу, ибо таким образом программа Чернышевского, само направление его поисков фактически отвергались. Почти в каждом номере «Отечественных записок» 1854 г., начиная по крайней мере с 6-й книжки, где опубликована статья Дудышкина, вызвавшая отповедь Чернышевского в работе «Об искренности в критике», с настойчивой регулярностью печатались обширные «разоблачения» «Современника»<sup>4</sup>.

Неискренность и покровительство фельетонной критике, непоследовательность в оценках и коммерческая расчетливость в чисто журналистских делах, не исключая и выбора

---

<sup>3</sup> Существенные перемены в характере многих критических статей «Современника» после начала сотрудничества в нем Чернышевского заметил и С. Дудышкин (см. «Отечественные записки», 1854, № 8, Журналистика).

<sup>4</sup> См.: «Отечественные записки», 1854, № 6. Отд. IV. — «Критические отзывы «Современника» о произведениях г. Островского, г-жи Евгении Тур и г. Авдеева»; там же, № 8. — «Что такое искренность в критике?»; там же, № 9. — «Горькая участь русского фельетона и два мнения «Современника» о Жюле Жанене»; там же, № III. — «Муза нового поэта»; там же, № 12. «Опыт о хлыщах» Панаева. Автором всех этих статей и фельетонов был С. Дудышкин (см. Б. Егоров. С. С. Дудышкин-критик. — Учен. зап. Тартуского ун-та, в. 119, 1962, стр. 223—226).

времени для полемики с конкурентом<sup>5</sup>, невежество и легкомыслие, — таков отнюдь не исчерпывающий перечень прегрешений, инкриминируемых Дудышкиным «Современнику». Одновременно пристрастному обсуждению подвергается роль лошадей, груммов, гастрономических удовольствий и изысканных принадлежностей аристократических туалетов в произведениях И. Панаева, чему немало внимания уделяют и Дудышкин, и сам Панаев в своих ответах критику<sup>6</sup>. Дело дошло до того, что журнал Некрасова вынужден был в дополнение к уже разрешенной цензурой двенадцатой книге выступить со специальными редакционными «Замечаниями на последние выходы «Отечественных записок» против «Современника»<sup>7</sup>, чтобы обличить беспринципность позиции оппонента.

Для нашей темы отнюдь не безразлично, что полемика задела и Н. Страхова. Упрекая «Современник» в нарушении им же самим провозглашенных принципов и этических норм литературной критики, Дудышкин сослался и на эпизод, связанный со стихотворением Ап. Майкова «Весенний бред»: журнал Некрасова в № 4 опубликовал его, тем самым как бы одобряя, а в № 6 напечатал пародию на него<sup>8</sup>, то есть отверг<sup>9</sup>. Автором пародии и был Страхов<sup>10</sup>. Естественно, это должно было обострить внимание к журнальным спорам со стороны молодого человека, по его собственным словам, «страстно любящего литературу» (л. 1 об.).

При всем этом Н. Страхов именуется всего лишь «действительным читателем», который вовсе не участвует в литературе (л. 1 об.), что, кстати, и дает нам право отнести письмо будущего критика к фактам так называемой «истории читателя» (хотя это в данном случае и читатель, взявшийся за перо). Но эта автохарактеристика помогает также датировать письмо Страхова. Еще в 1850 г., в бытность свою студентом Главного педагогического института, он пытался опубликовать

---

<sup>5</sup> В этом случае Дудышкин возвышался даже до мало свойственного ему памфлетного пафоса (см. особенно «Отечественные записки», 1854, № 11, отд. IV, стр. 26).

<sup>6</sup> Особенно характерны в этом отношении «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики» («Современник», 1854, № 10) и ответный фельетон Дудышкина («Отечественные записки», 1854, № 12, отд. IV, стр. 88 и др.).

<sup>7</sup> «Современник», 1854, № 12, без пагинации.

<sup>8</sup> Н. С. Ночная заметка. «Современник», 1854, № 6, отд. V. Литературный ералаш, стр. 60—62.

<sup>9</sup> См.: «Отечественные записки», 1854, № 8, отд. IV, стр. 96.

<sup>10</sup> На это указал пользовавшийся написанными самим Страховым «биографическими сведениями» Б. Н. Никольский в своем очерке о нем (см. «Исторический вестник», 1896, № 4, стр. 235; ср. В. Э. Боград. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.—Л., Гослитиздат, 1959, стр. 247, 519).

ликовать в «Современнике» повесть «По утрам»<sup>11</sup>, а в 1854 г. начал сотрудничать в «Журнале Министерства народного просвещения»<sup>12</sup>, но подлинное вступление Страхова в большую литературу относится к самому концу 50-х или даже к началу 60-х годов<sup>13</sup>. Поскольку нет оснований заподозрить мистификацию, то и это обстоятельство побуждает пересмотреть принятую датировку письма (1859—1866?).

Впрочем, главное, как можно было убедиться, в самом содержании письма Страхова, в тех историко-литературных «реалиях», которые позволяют приурочить его к достаточно определенному хронологическому отрезку.

Обращаясь к редакции «Современника», Страхов признавал общественную значимость своего письма: это был голос одного из тех, к кому апеллируют участники современных литературных споров: «Вы, — обещает Страхов, — можете от меня узнать хоть отчасти, какими глазами читатели смотрят на журналы и на их критические статьи» (л. 1 об.). Первым объектом подобных суждений и явилась работа Чернышевского «Об искренности в критике». Вот что пишет Страхов: «...Ваш новый критик, по моему мнению, еще юноша и не носит усов. Судите сами — увлечение, прямотушие, серьезность своей работы (так!) — не признак ли это юности? Этот мягкий тон без тени личностей, голос воодушевленный и громкий без крику — не признаки ли, что у него нет усов?»

Не согласен почти ни с одним мнением критика и даже осмеливаюсь думать, что могу быть ему полезен своими советами. Боже мой, как он серьезно понимает журнальные дела! Целая статья — об искренности, примеры, доказательства, рассуждения из-за чего? Из-за журнальных рецензий! Кто же считает их истинною причиною?» (л. 1—1 об.). Кто же не видит влияния уловок, игры самолюбий, невежества, капризов, заносчивости на судьбы нашей журналистики и критики?!

«Инвективы» Страхова легко принять только лишь за «обличение» Чернышевского. Но это было бы опрометчиво и привело бы к односторонним выводам. Ибо нельзя, разумеется, пренебрегать внутренней логикой того, что *сказалось* в отзыве «действительного читателя». Тем более, что полемиче-

<sup>11</sup> См.: А. Назаревский. Пометы Некрасова на рукописи Н. Н. Страхова. — Литературное наследство, т. 53—54, М., изд. АН СССР, 1949, стр. 85.

<sup>12</sup> Об этом он писал брату Петру 30 апреля 1854 г., ГПБ АН УССР, III, 19106, л. 1 об.

<sup>13</sup> Б. Н. Никольский (назв. соч., стр. 235) утверждает, что своим настоящим вступлением в литературу Страхов считал «Письма об органической жизни», опубликованные в 1858 г. в «Русском мире». А. С. Долинин (Последние романы Достоевского, М.—Л., «Советский писатель», 1963, стр. 313) называет первой серьезной статьей Страхова в петербургской большой прессе его работу «Значение гегелевской философии в настоящее время», появившуюся в «Светоче» в 1860 году.

ский стиль Страхова, в свое время справедливо названный С. А. Венгеровым<sup>14</sup> «уклончивым», очень прихотлив и своенравен, и позиция критика выясняется не просто в отдельных звеньях рассуждений или в простой их совокупности, а лишь в конечном счете и в результате сложного взаимодействия всех компонентов его статьи<sup>15</sup>.

Так происходит и в данном случае. Страхов обвиняет автора статьи об искренности в наивности. Но в чем, собственно, эта наивность заключается? В неспособности (и нежелании!) видеть в журнальной конкуренции, расчете и интриганстве главенствующее содержание литературной полемики и — тем более — литературной жизни в целом? В серьезном, заинтересованном, страстном отношении к «журнальным рецензиям» и стремлении говорить о них по существу, по-деловому и искать действительно плодотворные критические принципы? Право, это такая «наивность», которой могли бы позавидовать многие литераторы тех трудных лет. А упрек Страхова — не правда ли? — превращается в свою противоположность. (Недаром в знаменитом «Словаре» петрашевцев наивность расценивалась как своеобразная способность воспринимать вещи в их истинном виде и недаром «наивность» стала неотъемлемым элементом художественной системы Льва Толстого). Тем более, что он сочетается с вполне сочувственной констатацией свойственных, по его словам, Чернышевскому «увлечения, прямоты, сознания серьезности своей работы» (л. 1). Наконец, сам же Страхов признает, что «предмет полемики нынешнего года заслуживает полного внимания» (л. 1), а кто же глубже разрабатывал этот предмет, («начала критики, или, пожалуй,.. искусство критики»), нежели Чернышевский?!

Знаменательно и то, как разворачиваются в дальнейшем рассуждения Страхова. Подхватив фактически столь остро поставленный Чернышевским вопрос о состоянии современной критики, он и сам обращается к этой же теме, вполне правомерно объединяя ее с оценкой журналистики (не исключая и «Современника»).

«Никакая книга не производит на меня столь неприятного впечатления», как наши журналы, — признается Страхов, уже однажды, в упомянутой выше повести «По утрам», резко отри-

---

<sup>14</sup> См. его заметку о Страхове в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (т. XXXI, 1901, стр. 783).

<sup>15</sup> О парадоксальности своей манеры сам Страхов как-то заметил в письме в редакцию «Времени»: «Некоторые выражения моего письма могут подать вам повод думать, что я шучу. Не ошибитесь, милостивый государь! Может в этих самых местах я успел выразиться самым точным и близким к истине образом» («Время», 1862, № 12, Современное обозрение, стр. 45).

цательно отозвавшийся о современной журналистике<sup>16</sup>. И продолжает: «Вы, конечно, не захотите, чтобы я стал вычислять вам все журнальные прегрешения, не исключая и Ваших собственных: великая пустота, великая небрежность, мертвое накопление слов без всякого воодушевления, одушевленная болтовня без всякой основательности, невыдержанность, недоконченность, — одним словом ваши статьи — журнальные статьи» (л. 2). И теперь, как в 1850 г., Страхов характеризует журналистику «в целом», обвиняя ее в идейной опустошенности и пассивности. Нет надобности доказывать, что делается это с общественно-философских позиций, принципиально отличающихся от убеждений Чернышевского. Но и Чернышевский считал возможным и даже необходимым — в интересах дела — говорить о журналистике и критике в целом, чтобы резче обозначить актуальные *общие* задачи их подъема (хотя и не заблуждался насчет различия стремлений и возможностей деятелей современной литературы). Объясняя, почему в рецензии на сочинения А. Погорельского он не привел примеров бессилия критики, Чернышевский писал: «Каждый из наших журналов за последние годы мог представить не мало материалов для таких указаний, разница была только в том, что один журнал мог представить их больше, другой меньше»<sup>17</sup>. Вообще в ту пору направление журналов отнюдь еще не отличалось той определенностью, которая вскоре станет важной приметой новой общественно-литературной эпохи. Мог же Чернышевский, печатая в «Современнике» статью «Об искренности в критике» и полемизируя с суждениями журнала Краевского, продолжать сотрудничество в «Отечественных записках»! И довелось же опять-таки Чернышевскому на страницах «Отечественных записок» защищать И. Введенского от необоснованных выпадов... «Современника»<sup>18</sup>.

При всем этом, в ряду критикуемых периодических изданий Страхов все-таки выделяет наиболее неприемлемое для него. «Особенно, — пишет он, — я терпеть не могу «Отечественные записки». Много хорошего, много истинно дорогого для меня, читателя, явилось в этом журнале в течение его многолетней деятельности; но я различаю собственно журнал, его форму, его редакцию, от статей, которые в нем появляются» (л. 2 об.). Самодовольство, хвастливость, многочисленные

---

<sup>16</sup> Некрасов, читавший рукопись повести, отверг критику Страхова, видимо, как огульную, «всеохватывающую», а потому — необъективную. См. А. Назаревский. Пометы Некрасова на рукописи Н. Н. Страхова. — Литературное наследство, т. 53—54, стр. 86.

<sup>17</sup> Н. Г. Чернышевский. Об искренности в критике. Полн. собр. соч., т. II, М., Гослитиздат, 1949, стр. 241.

<sup>18</sup> См.: М. Г. Зельдович. Эпизод из истории русской критики (Непрочитанная статья Г. Е. Благовосветлова). — «Научные доклады высшей школы». Филологические науки, 1963, № 1, стр. 36.

ошибки в научных сообщениях, опрометчивые эстетические оценки и сопоставления (лл. 2 об. — 3), — вот что восстановило Страхова против «Отечественных записок».

Хотя эти высказывания о журналистике явились и оценкой представленной в ней критики, последняя получает у Страхова и специальную характеристику. «Но ничего не может быть досаднее журнальной критики. Здесь — не слышите ли Вы здесь ясно живого голоса, не видите ли вы то грозных, то веселых взглядов за всеми этими словами и рассуждениями?» (л. 2). Казалось бы, что же в этом предосудительного? Но Страхов, видимо, в данном случае неудачно выразил свою мысль, ибо по сути он протестует не против проявления личности автора в критических статьях, а против субъективизма в критике. Вслед за приведенными словами он очень точно определяет аномалию, вызвавшую его возражения: «Предмет исчезает перед личностью критика» (л. 2, подчеркнуто нами. — М. З.), причем это нередко так далеко заходит, что считают возможным обсуждать даже бытовые мелочи и с фамильярной непринужденностью публично делиться интимными воспоминаниями.

Хотя у Страхова и были свои побуждения для обличения субъективизма современной критики и хотя он в этом субъективизме чрезмерное значение придавал вещам в конце концов не первостепенным, нельзя забывать, что в середине 50-х годов это была тема отнюдь не надуманная, а крайне злободневная. Если даже не выходить за границы журнальной полемики 1854 года (о ней, в частности, дают представление споры «Отечественных записок» и «Современника»), на фоне которой возникает рассматриваемое письмо, придется признать, что Страхов располагал более чем достаточным материалом. Можно также напомнить о знаменитых «Письмах Иногороднего подписчика о русской журналистике» (А. Дружинин печатал их главным образом в «Современнике», а порою и в «Библиотеке для чтения»), которые изобиловали аналогичными пассажами. В статье, откликом на которую явилось письмо Страхова, Чернышевский вынужден был напомнить: «Критика, достойная своего имени, пишется не для того, чтобы господин критик щеголял остроумием, не для того, чтобы доставить критику славу водевильного куплетиста, возвешающего публику своими каламбурами. Остроумие, едкость, желчь, если ими владеет критик, должны служить ему орудием для достижения серьезной цели критики — развития и очищения вкуса в большинстве его читателей, должны только давать ему средство соответственным образом выражать мнение лучшей части общества»<sup>19</sup>. Однако, в отличие от

<sup>19</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II. стр. 256—257.

Страхова, Чернышевский строго определяет также свою положительную программу, — и по данному конкретному поводу, и применительно к развитию критики вообще.

Итак, о чем свидетельствует соотнесение письма Страхова в редакцию «Современника» со статьей Чернышевского «Об искренности в критике»?

Прежде всего — о вынужденном, строго говоря, признании правоты Чернышевского, по крайней мере в оценке состояния современной критики (положительная программа статьи Страховым не анализируется, а в уже известном нам декларативном заявлении отвергается). Начав с откровенного заявления о том, что не разделяет «почти ни одного мнения» Чернышевского, Страхов всем содержанием своего письма по сути засвидетельствовал и высокие побуждения, и объективную необходимость выступления автора статьи «Об искренности в критике». И если это сделано в явном (хотя и не абсолютном!) противоречии с собственными прямыми оценочными суждениями<sup>20</sup>, то ценность письма Страхова как историко-литературного источника лишь повышается.

Вместе с тем отзыв Страхова в какой-то степени помогает уяснить меру авторитетности и общественной влияния раннего программно-выступления Чернышевского. Пусть свидетельство исходит не от единомышленника, — оно не утрачивает своей знаменательности, но только требует особого подхода. Материал такого рода, выверенный в сопоставлении с другими источниками в свете основных тенденций общественно-литературного движения эпохи, способствует конкретному восприятию и оценке фактов прошлого, их места и роли в литературном процессе.

Наконец, «Письмо...» небезразлично и для изучения идейной эволюции Страхова, причем именно в тот период, который наименее «документирован» и предшествует началу его активной литературной деятельности.

Примечательно уже то, что письмо обращено именно в редакцию «Современника», а не «Москвитянина» или другого издания, которое, казалось бы, могло быть Страхову идеологически ближе (да и вообще свои ранние литературные опыты он стремится поместить в журнале Некрасова). Это тем любопытнее, что письмо-то в целом полемическое и в нем делается попытка оспорить не только статью «Об искренности в критике», но и общий характер статей «Современника». Возможно, что, поняв безнадежность своего намерения опубликовать в «Современнике» критику «Современника», Страхов

<sup>20</sup> Так и впоследствии Страхову, уже вполне оформившемуся идеологу «почвенничества», вопреки своим политическим симпатиям, пришлось признать жизненность романа Чернышевского «Что делать?» (см.: Н. Косяца <Н. Страхов>. Счастливые люди. Статья первая. Один из наших типов. — «Библиотека для чтения», 1865, № 7, 8, апрель, стр. 145).

прекратил работу над письмом, — но все-таки велик был в его глазах авторитет журнала Некрасова, если такой замысел возник.

Обращает на себя внимание в письме будущего автора очерков «Борьба с Западом в нашей литературе» и высокая оценка заслуг «Отечественных записок», оценка, совершенно немислимая, конечно, без признания значительности и ценности печатавшихся в этом журнале философских трудов Герцена, критико-теоретических работ Белинского<sup>21</sup>. Кстати, сам жанр «письма в редакцию» прочно вошел в арсенал Стрхова и стал одной из наиболее излюбленных им литературных форм. Хронологически ближайшее тому доказательство — его многочисленные «письма» в журналах «Светоч» и «Время».

---

<sup>21</sup> Ср. свидетельство Стрхова в автобиографических заметках 1877 г.: «Постепенно я обратился в гегельянца, и притом левой стороны, в поклонника Фейербаха и Герцена (1857—1867)» (Рукописный отдел ГПН АН УССР, I, 5298-а, л. 2).

ПИСЬМА ПЫПИНЫХ ИЗ САРАТОВА В ПЕТЕРБУРГ<sup>1</sup>

В обширной корреспонденции Н. Г. Чернышевского, принадлежавшей известным и малоизвестным общественным деятелям, литераторам, журналистам 50—60-х и 80-х годов прошлого века, особое место занимают письма семьи Пыпиных — тетки Н. Г. Чернышевского с материнской стороны Александры Егоровны, мужа ее Николая Дмитриевича и их старших детей, двоюродных сестер и брата Н. Г. Чернышевского: Варвары, Евгении, Полины, Сергея.

Известно, что Чернышевские и Пыпины жили, в сущности, одним большим семейством. Их объединяли в своих воспоминаниях и Н. Г. Чернышевский («наше семейство», «оба отца», «наши матери») <sup>2</sup>, и А. Н. Пыпин («мои детские воспоминания связывают в одно целое две семьи <...> первые годы моего детства проходили безразлично в этих двух семьях», «обе семьи жили очень дружно») <sup>3</sup>.

Оба семейства отличали и один и тот же провинциальный патриархальный бытовой уклад, и в большей степени одинаковый строгий нравственный взгляд на жизнь, на жизненное призвание человека, требующий неукоснительной подчиненности долгу, выполнения взятой на себя жизненной миссии, верного служения выбранной идее или делу, и необычные в те времена для людей их круга сравнительно высокие интеллектуальные интересы. «Наши матери <...> отдыхали, читая книги», — вспоминал Чернышевский (XV, 152); «в нашей об-

<sup>1</sup> Тексты писем подготовлены к публикации студентами филологического факультета Саратовского университета Л. Лапиной и Л. Борзовой.

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., в 16-ти тт., т. XV, М., Гослитиздат, 1939—1953, стр. 152. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>3</sup> А. Н. Пыпин. Мои заметки. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов. кн. изд., 1958, т. 1, стр. 56.

щей семье, — читаем у А. Н. Пыпина, — давно уже были интересы к образованию. Г. И. Чернышевский <...> был по своему времени и кругу человек ученый»; «в нашей семье сравнительно были очень развиты литературные интересы. Мать моя и тетка (ее старшая сестра) <sup>4</sup> чрезвычайно любили чтение; новые книги переходили из рук в руки, в числе их бывали и журналы; в первых классах гимназии я знал «Отечественные записки» и очень сокрушался, что не все мне было понятно, например, статьи писателя Искандера; мать успокаивала меня, что для меня это еще рано читать и что я скоро буду понимать все это» <sup>5</sup>.

Вот эти убеждения, склонности и интересы нашли отражение в письмах Пыпиных в Петербург к Н. Г. Чернышевскому и А. Н. Пыпину <sup>6</sup> 1853—1855 годов, когда Н. Г. Чернышевский, приехав вновь в столицу после недолгого пребывания в саратовской гимназии, держал магистерские экзамены, писал диссертацию об эстетике и начинал журналистскую деятельность, а А. Н. Пыпин («Сашенька»), живший в молодой семье своего любимого и неизменно высоко почитаемого двоюродного брата («Николеньки») <sup>7</sup>, только что кончил петербургский университет, нигде не служил и готовился к научной деятельности, одновременно весьма интенсивно печатаясь в журналах.

О чем же были письма из Саратова?

В них — и любовь, и забота, и желание успеха в столь необычном, серьезном и почетном деле, как ученый и литературный труд; в них — и обсуждение последних событий, начиная с Крымской войны и кончая постановкой «Ревизора» на домашней сцене в Саратове; в них — и просьбы о высылке книг и журналов для жадных до чтения всех членов пыпинского дома, в них — и рассуждения о принадлежавших Пыпиным крепостных, бывших в услужении у Чернышевских и А. Н. Пыпина в Петербурге, и хлопоты о службе для Н. Д. Пыпина в Саратове, и многочисленные поздравления по поводу общих и семейных праздников, и выражения благодарности за обоюдные подарки.

Но обратимся к самим письмам.

Адресуясь к Н. Г. Чернышевскому, его тетка Александра Егоровна всякий раз обращается: «Вы», «любезнейший Николай Гаврилович», а сестры — «Николенька». «При получении Ваших писем, — пишет ему А. Е. Пыпина 7 августа 1853 г., —

<sup>4</sup> Е. Е. Чернышевская, мать Н. Г. Чернышевского. — Б. Л.

<sup>5</sup> А. Н. Пыпин. Мои заметки. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, стр. 61.

<sup>6</sup> По форме эти письма — часто пространные приписки к письмам Г. И. Чернышевского сыну.

<sup>7</sup> «В начале сознательной жизни, — говорил А. Н. Пыпин в своей юбилейной речи в 1903 г., — моим ближайшим руководителем, старшим товарищем был мой двоюродный брат — не родной, но ближе, чем родной». — «Литературный вестник», 1903, кн. 3, стр. 340.

у нас праздник, Вы бы посмеялись, как мы последнее Ваше письмо встретили, все, собравшись в кружок, ждут своей очереди читать, а нужно всего более знать, здоровы ли»<sup>8</sup>.

Кроме писем, больше всего из Петербурга в Саратов Чернышевским посылались книги для чтения, в том числе «Отечественные записки» и «Современник», где все чаще можно было встретить статьи и Чернышевского и позже Пыпина. «Благодарю тебя, — отвечала В. Н. Пыпина, — за обещанный Современник, нас очень это обрадовало, мы никогда не могли вообразить такой роскоши в книгах» (28 янв. 1855 г.; л. 146 об.); «Благодарю тебя, милый Николенька, за присылку книг, уже давно ждали мы их» (17 июня 1855 г.; л. 179 об.). Иногда книги посылались оказией с кем-нибудь из саратовцев, но такой способ пересылки задерживал получение книг и усиливал нетерпение жаждущих: «До сих пор не видели никого из тех, кто был у Вас, очень жаль, что так все замешкались, хотелось бы скорее читать ваши произведения» (А. Е. Пыпина, 18 февр. 1855 г.; л. 153); «до сих еще пор книг, посланных Вами, мы не получали, однако же генварскую книжку читали, разумеется, труды Ваши прежде всего» (она же, 4 марта 1855 г.; л. 156)<sup>9</sup>. Когда в Саратове получили приглашительные билеты на «диспут» Чернышевского и издание «Эстетических отношений искусства к действительности», А. Е. Пыпина не только благодарила за присылку «трактата», но и сообщила, что «уже начала его читать, думаю, что раза три прочитать должно будет»; она «рада», что диссертация послана и Н. И. Костомарову, так как тот хотел получить ее от Чернышевского и, «конечно, это порадует его» (17 июня 1855 г.; л. 179 об.). А в письме ее от 1 июля этого же года читаем: «С Вашею диссертациею я вполне согласна, хоть, разумеется, для Вас это несколько не интересно. Да, скажите, пожалуйста, кто писал критику в Современнике на Вашу статью, тоже хороша, особенно совет для Вас, как написать следовало Вам» (л. 184)<sup>10</sup>.

Так как за Н. Г. Чернышевским в саратовской гимназической библиотеке числились некоторые книги (сочинения Пушкина, Кольцова, Котошихина, книжки «Москвитянина» — XIV, 797), в одном из писем к нему Н. Д. Пыпин напоминал: «Не позабыл ли ты про гимн <азическую> библиотеку. Туда ведь

<sup>8</sup> Центральный гос. архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Ф. № 1, оп. № 1, ед. хр. 495, л. 12 об. В дальнейшем в тексте указывается только номер листа.

<sup>9</sup> Речь идет о публикациях Чернышевского в январских книжках «Отечественных записок» и «Современника» за 1855 г., посланных Чернышевским в Саратов с оказией. (XIV, 286, 289; см. также: Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., Гослитиздат, 1953, стр. 103—104). О какой «генварской» книжке — «Отечественных записок» или «Современника» — пишет А. Е. Пыпина, неизвестно.

<sup>10</sup> А. Е. Пыпина имеет в виду авторецензию Чернышевского, подписанную псевдонимом Н. П.-ъ. — «Современник», 1855, № 6.

надо прислать некоторые книги, в том числе одну часть «Москвитянина» (7 авг. 1853 г.; л. 13, об.)<sup>11</sup>.

Вот как писала А. Е. Пыпина о таком важном событии русской жизни 50-х гг., как Крымская война, и о связанной с ней рекрутчине, которая и без войны всегда была в России страшным бедствием народной жизни<sup>12</sup>: «Что до войны, то и здесь много говорят о ней, а между тем, видя с 15 ноября и до января ежедневно проходящие мимо окон партии, я нередко думаю, сколько слез пролито о каждом из рекрут. Жаль, очень жаль, что дошло до такой огромной войны, и без нее много скорби у людей» (15 янв. 1854 г.; л. 57).

В 1854 г. А. Е. Пыпина напоминала Н. Г. Чернышевскому о необходимости выслать в Петербург для крепостной Марьи Акимовны паспорт, так как прежний «паспорт ее, кажется, вышел из срока» (л. 86 об.). Об этом же писал Н. Д. Пыпину и сам Н. Г. Чернышевский, сообщая необходимые в подобных случаях приметы и Марьи и ее дочери Анны (XIV, 270). И вот что показательно: в 1855 году Н. Г. Чернышевский писал А. Е. Пыпиной: «У нас к Вам, тетенька, есть просьба. Марья, служившая в последнее время нам, на днях умерла от тифа. Умирая, она просила, чтобы дочь ее Анну отпустили на волю и позволили ей выйти замуж за жениха, который нравился матери. Марья служила нам <...> усердно <...>. Нам хотелось бы исполнить ее просьбу. Сделайте милость, напишите, милая тетенька, возможно ли это» (XIV, 295). Но А. Е. Пыпина не согласилась бесплатно отпустить крепостную Анну: «Вы писали о просьбе Марьи за дочь ее, передайте Анне, пусть вышлет за себя деньги, и я дам велье на согласие выхода ее замуж. Цену 150 <руб.> сер. мать ее предлагала за нее» (6 мая 1855; л. 172). В качестве красноречивого комментария к этим двум письмам просятся такие мемуарные свидетельства А. Н. Пыпина: «Старшее поколение <т. е. А. Е. и Н. Д. Пыпины. — Б. Л.>, мирное и доброжелательное, не видело в крепостном праве никакой несправедливости по существу»<sup>13</sup>; Н. Г. Чернышевский же, будучи «в университете в Петербурге», в письмах на латинском языке «тогда уже, во второй по-

<sup>11</sup> Не упоминая о «Москвитяnine», Чернышевский писал о других книгах Сергею Николаевичу Пыпину, тогда учившемуся в саратовской гимназии: «Милый Сереженька! Скажи Карлу Васильевичу <К. В. Бауэр — учитель законоведения и латинского языка в гимназии. — Б. Л.>, что они могут вычесть из моего жалованья за Котошихина (если еще не отыскали его) и за Кольцова. Что же касается до II тома Пушкина, то я вышло им его» (XIV, 250).

<sup>12</sup> «В ранние отроческие годы привелось мне видеть другую мрачную сторону <...> народного быта, которая произвела на меня очень тяжелое впечатление <...> Это — рекрутский набор». — А. Н. Пыпин. Мои заметки. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, стр. 59.

<sup>13</sup> Там же.

ловине сороковых годов, давал мне понятие о крестьянском вопросе (*glebae adscripti et terrae fermi*): здесь я в первый раз узнал о существовании этого вопроса»<sup>14</sup>.

Но наиболее часто повторяемой темой переписки Пыпиных с Н. Г. Чернышевским был Александр Николаевич Пыпин («Сашенька»), его дела, его научный дебют, его будущее.

Редкое письмо Н. Г. Чернышевского родным этих лет не содержит в себе сведений об А. Н. Пыпине, который сам по занятости своей, а больше по скромности и замкнутости характера («он, по обыкновению своему, очень молчалив и ни с кем объясняться много не любит», — писал о нем Н. Г. Чернышевский 22 июня 1853 г.; XIV, 232) редко и скупно писал домой о своих делах.

Поэтому и приходилось Н. Г. Чернышевскому как более старшему, к тому же неизменно внимательному и предупредительному в отношениях к отцу и старшим Пыпиным, несмотря на свою отнюдь не меньшую занятость, весьма регулярно писать об А. Н. Пыпине в Саратов, часто сопровождая свои сообщения, по свойственной ему манере, легкой иронией: «Сашенька должен получить стипендию, обязывающую держать магистерский экзамен <...>. Никитенко говорит о Сашеньке с восторгом <...> Сашенька думает все время употребить на занятия по своему предмету (русской словесности), чтобы держать экзамен как можно скорее» (10 авг. 1853 г.; XIV, 236); «Сашенька продолжает заниматься своею диссертациею<sup>15</sup>, отрывок из нее — сказка об Акире премудром — скоро появится в «Отечеств. записках» (10 окт. 1854 г.; XIV, 271); «Сашенька продолжает увеличивать свои права на ученую известность. В нынешней, т. е. декабрьской книжке «Современника» <...> будет помещена его большая статья об интересном и до сих пор совершенно неизвестном предмете — старинных русских повестях» <...>. Скоро Вы будете видеть, что А. Н. Пыпин пользуется в нашем ученом мире большой известностью» (6 дек. 1854 г.; XIV, 279); «сам молодой и известный ученый» «теперь занимается приготовлением <...> исследования о чисто филологической стороне трудов А. Х. Востокова, продолжая в то же время окончательно обрабатывать свою диссертацию, которая, вероятно, возбудит всеобщий восторг в ученом мире» (4 апр. 1855 г.; XIV, 294) и т. д.

Естественно, что такая информация Н. Г. Чернышевского вызывала постоянную признательность всех Пыпиных, особенно Александры Егоровны: она благодарила «любезнейшего» своего племянника «за выписку критики о статье Саши» в «Отечественных записках» (12 февр. 1854 г.; л. 63), «за добрую

<sup>14</sup> А. Н. Пыпин. Мои заметки. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, стр. 63.

<sup>15</sup> Диссертация А. Н. Пыпина «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» была защищена им в 1857 г. — Б. Л.

весть о Саше» (17 дек. 1854 г.; л. 137), «за похвалу молодого ученого». «Я всегда рада, — писала она, — читать Ваши замечания о его трудах; он так мало пишет, а у нас так много дум о нем» (15 апр. 1855 г.; л. 167); «Вы много доставили мне удовольствия, любезный Николай Гаврилович, своими похвалами моему Саше» (9 сент. 1855 г.; л. 199).

Иной раз А. Е. Пыпина просила Н. Г. Чернышевского «пожурить моего Сашу, как не писать две почты <...> пожалуйста, заставьте его быть аккуратнее» (9 апр. 1854 г.; л. 80). «Журил» или не «журил» Чернышевский своего Сашеньку, но он неизменно защищал его перед саратовскими родными, объясняя его нерадивость к эпистолярным занятиям занятостью: «Не знаю, напишет ли Вам Сашенька с этою почтою: у него много занятий, и он все сидит в своей комнате, читает и пишет» (25 окт. 1853 г.; XIV, 247); «Сашенька много занимается, как и всегда; иногда пишет решительно целый день» (30 ноябр. 1853 г.; XIV, 254); «Сашенька здоров и благополучен. Если он иногда пропускает почты, не прилагая в нашем письме своего, так это просто потому, что имеет привычку поздно вставать, когда прием писем на почту уже окончился. Он поздно ложится и поздно встает, как следует молодому человеку лучшего тона. Серьезно говоря, до 12 часов он постоянно занимается своею диссертациею, которая уже приближается к концу, и тому подобными учеными трудами» (2 нояб. 1854 г.; XIV, 274); «Вы извините Вашего многоуважаемого мною сына, что он не посылает с этой почтой своего поздравления — он на даче, и его письмо не успело достичь города ко времени отхода почты; что он написал его, я не сомневаюсь» (3 мая 1855 г.; XIV, 298); «Сашенька не успел приписать, потому что покоемся сладким сном на лаврах своей учености» (10 мая 1855 г.; XIV, 299). Одновременно Чернышевский высоко отзывался о научных начинаниях А. Н. Пыпина<sup>16</sup>, и поэтому А. Е. Пыпина (не без оснований) писала Н. Г. Чернышевскому: «Хотела бы попросить Вас сделать ему <А. Н. Пыпину. — Б. Л.> замечание, что не пишет, но боюсь, что не исполните, как видно из писем Ваших, что Вы пристрастны к нему, то пусть лучше он сам рассудит, хорошо ли оставлять нас беспокоиться о себе» (20 мая 1855 г.; л. 175).

Для А. Е. Пыпиной письма сына — «единственное утешение»: «я только и жду твоего письма, чтобы отдохнуть сердцем» (5 авг. 1855 г.; л. 191); «мы посылаем раза по четыре на почту, пока, наконец, принесут ваше <с Н. Г. Чернышевским. — Б. Л.> письмо» (30 окт. 1853 г.; л. 39). Ни она, ни сестры не скрывают своего беспокойства по поводу частого

<sup>16</sup> Кроме приведенных, см. письма Н. Г. Чернышевского от 17 авг., 14, 21 сент., 9 и 30 нояб. 1853 г., июня 1854 г., 3 мая 1855 г. — XIV, 237, 241, 250, 254, 259, 298.

молчания А. Н. Пыпина; в письмах они сетуют на то, что он пропускает почты — «если нет время, напиши хоть свое имя, и тому рады будем, лишь бы знать, что здоров» (9 апр. 1854 г.; л. 80).

Письма родных к А. Н. Пыпину полны разнообразной о нем заботы. Особенно их тревожит, что он нигде не служит. Будучи во многом во власти традиционных представлений, они не видели возможности благополучного существования своего сына после окончания университета без казенной службы: «очень хотелось бы знать, что ты служишь, кажется, я бы покойнее была» (4 марта 1855 г.; л. 156 об.); «мы считаем службу необходимым делом и, разумеется, были бы рады слышать, что ты должностной человек» (17 июня 1855 г.; л. 180 об.); «очень хотела бы я, чтоб ты поступил на службу» (19 авг. 1855 г.; л. 194), — писала А. Е. Пыпина сыну. Это же желание она высказывала и Н. Г. Чернышевскому: «когда-то он устроится на службу» (17 дек. 1854 г.; л. 137); «хочется поскорее услышать, что, наконец, он служит» (15 апр. 1855 г.; л. 167); «нам очень хочется слышать, что он уже служит» (9 сент. 1855 г.; л. 199).

Несмотря на ограниченные денежные средства семьи («сколько я припоминаю с детства и как видел потом, наш домашний быт велся на очень скромные, даже скудные средства», — вспоминал А. Н. Пыпин<sup>17</sup>), на его «надобности» посылались деньги: «10 руб. серебром» (6 нояб. 1853 г.; л. 39 об.) и «90 целк<овых>» (6 дек. 1853 г.; л. 46 об.). Узнав, что «милый друг <...> Сашенька» «имеет нужду в чулках», А. Е. Пыпина «тотчас начала готовить их», чтобы «в самом скором времени» их ему выслать (6 ноябр. 1853 г.; лл. 39 об., 39). «Друг мой Сашенька», — советует она в другом письме, — чтоб зубы «более не тревожили тебя, то держи ноги теплее, когда зубы подвержены болезни, то первая причина, что озябли ноги» (2 дек. 1855 г.; л. 219 об.); ее заботит также, «уж не в Неве ли <...> вздумал» ее сын «искупаться» (17 июня 1855 г.; л. 180 об.), и то, что он, «верно», «нынче редко» посещает оперу, так как «всего раз писал об этом» (30 окт. 1853 г.; л. 39). То же пишет брату и Евгения Пыпина: «ты, верно, редко не занят, — твое любимое удовольствие театр, а ты не бываешь там» (15 янв. 1854 г.; л. 57 об.).

В связи с событиями Крымской войны, когда в начале 1854 года Англия начала на севере активные действия против России, возникает и более серьезная тревога А. Е. Пыпиной: «Не боитесь ли Агличан, — пишет она, — ведь они уже близко, или не хочется сознаться, так и помалчиваете, а мы уже поджидаем вас, лучше заранее удалиться» (5 марта 1854 г.; л. 68 об.); «вы должны посоветоваться и принять свои меры в

<sup>17</sup> А. Н. Пыпин. Мои заметки. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, стр. 58.

случае посещения Англичан, ты сам же писал, что они надеются побывать и грозятся этим; читать не хочется, что они затеяли всю эту тревогу для всех, бедные греки и все люди, которым придется пострадать <...>. Когда и мир, то и то много в свете горя и нужды» (12 марта 1854 г.; л. 72 об.).

Но значительно больше, чем бытовая сторона петербургской жизни Пыпина, интересовали саратовских родных его дела, его научные и литературные начинания: «Напиши, о чем твоя диссертация, как идут твои кондиции» (15 янв. 1854 г.; л. 57; 9 сент. 1855 г.; л. 199); большой интерес вызвало сообщение А. Н. Пыпина об обнаружении им рукописи «Повесть о горе и злочиствии»<sup>18</sup>: «Любопытно знать, что за рукопись, которая так порадовала тебя, напиши ее название или содержание» (10 февр. 1855 г.; л. 149). Когда Пыпин готовил свою магистерскую диссертацию «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских», опубликованную в 1857 году, писал и печатал отдельные работы о сказках — подступы к диссертации: «Старинная русская сказка о Вавилонском царстве»<sup>19</sup>, «Старинные сказки о царе Соломоне»<sup>20</sup>, «О русских народных сказках»<sup>21</sup>, по его просьбе в Саратове разыскивали сказителей, записывали тексты, покупали лубочные издания русских сказок на просимые им сюжеты (о Кашее, о Лазаре и т. д.); «Рада служить тебе, милый Сашенька, чем могу, но здесь довольно затруднительно достать что-нибудь, и потому я попрошу извинить меня, что так мало пришлю тебе сказок. Вот в Аткарске года 3 или 4 назад я слышала сказок 15 или 20 самых оригинальных, но теперь нельзя их достать, а я ничего не помню. Сестра твоя Евгения» (23 апр. 1854 г.; л. 84 об.); «я надеюсь достать Лазаря» (5 марта 1854 г.; л. 69); «сказку тебе, Сашенька, пришлю с следующим письмом» (19 ноябр. 1854 г.; л. 129); «я очень бы желала достать тебе сказок, но Матрена, кроме самых обыкновенных, не знает никаких, и имя «Кашей» едва ли ей известно, — впрочем, я спрошу» (21 янв. 1855 г.; л. 145); «от Кашея ты должен отказаться, — Матрена ничего не знает» (25 февр. 1855 г.; л. 154 об.), — писала брату Евгения Николаевна Пыпина. Добывание сказок для «Сашеньки» стало заботой и А. Е. Пыпиной: «Здесь был

---

<sup>18</sup> Опубликована Н. И. Костомаровым в мартовской книжке «Современника» за 1856 год с примечанием Пыпина и следующим замечанием Н. И. Костомарова: «Долгом своим считаю принести благодарность за указание мне этого сокровища А. Н. Пыпину, которого деятельности в отыскании и разработке памятников нашей древней литературы принадлежит честь открытия лучшего после песни Игорева поэтического произведения старины русской».

<sup>19</sup> Известия АН, отд. русск. яз. и сл., 1854, т. III.

<sup>20</sup> Там же, 1855, т. IV.

<sup>21</sup> «Отечественные записки», 1855; т. CV, отд. II, стр. 41—68; т. CVI, отд. II, стр. 1—26.

Иван Фотиевич<sup>22</sup> в то время, как ты писал о Кашее, я просила его купить эти сказки, ведь разносчики у них часто» (21 янв. 1855 г.; л. 145); «я <...> поручила для тебя купить сказок о Кашее» (18 февр. 1855 г.; л. 153); «сказки купить, их обещали достать, и разумеется пришьем тогда» (4 марта 1855 г.; л. 156 об.).

Не раз в Петербург А. Н. Пыпину (не только Н. Г. Чернышевскому) посылались заявки на книги и журналы, даже на ноты: «Мои желания очень неумерены, — писала Е. Н. Пыпина, — я желала бы получать От<ечественные> Зап<иски>, но их цена — ужасна, поэтому я прошу тебя не останавливать своего внимания на этом» (15 янв. 1854 г.; л. 57 об.); «я попрошу, если будет Николай Гаврилович получать О<течественные> З<аписки>), то пересылать нам, хочется читать ваши труды, а доставать у других трудно»<sup>23</sup> (А. Е. Пыпина, 21 янв. 1855 г.; л. 145); «ты бы прислал книги, нам давно уже нечего читать, а ты еще обещал сестре ноты» (она же, 9 сент. 1855 г.; л. 199 об.).

Одно из писем к А. Н. Пыпину его младшего брата Сергея — интересное свидетельство того, что напечатанные в «Современнике» за подписью Л. Н. Т. первые произведения Л. Толстого сразу же привлекли внимание читателей, которые еще не знали, кто скрывается под этими тремя буквами: «напиши мне, сделай одолжение, кто пишет в Современнике под псевдонимом Л. Н. Т., чем премного обяжешь любящего тебя брата твоего С. Пыпина. <...> если можно, то поскорее узнай, меня просил В. Варенцов»<sup>24</sup> (8 апр. 1855 г.; л. 165 об.). С. Н. Пыпин рассказывал также: «Я <...> масленицу провел нынешний год веселее, чем прежние. У нас, т. е. у гимназистов, были домашние спектакли, на одном из них я тоже участвовал. Играли мы Ревизора <...> Сверх всякого чаяния сыграли просто превосходно, чего не ожидали. Во время представления аплодисменты не прекращались. Более отличились Кестер <...> в роли Осипа, Иловайский в роли Хлестакова и Воронова в роли жены слесаря. Про других скажу одним словом: прекрасно. На репетициях у нас были сначала Варенцов, учитель слов<есности>, и Ломтев — истории<sup>25</sup> <...> спектакль повторится на пасху. К нему еще прибавлено будет что-нибудь еще из Гоголя, или «Тяжба» или «Женитьба» (11 февр. 1855 г.; л. 150 об.).

<sup>22</sup> Иван Фотиевич Чернышевский — племянник Г. И. Чернышевского, священник в селе Кондоль Саратовской губ. — Б. Л.

<sup>23</sup> Н. Г. Чернышевский писал 18 января 1855 года в Саратов: «В нынешнем году мы будем пересылать к Вам, кроме «Отечественных записок», также «Современник»; на оба эти журнала я получил даровые билеты за свое сотрудничество» (XIV, 284).

<sup>24</sup> В. Г. Варенцов — учитель русской словесности в саратовской гимназии, сменивший Н. Г. Чернышевского. — Б. Л.

<sup>25</sup> Евлампий Иванович Ломтев — учитель истории в саратовской гимназии, с которым Н. Г. Чернышевский был «в хороших и приятельских отношениях» (XIV, 245). — Б. Л.

А. Н. Пыпину сообщали из дома и другие новости. Н. Д. Пыпин писал ему, например, о посещении их Костомаровыми и об отъезде Н. И. Костомарова из Саратова: «Нынче был у нас Костомаров, спрашивал, когда ты приедешь и вместе ли с Н<иколаем> Г<авриловичем>» (1 янв. 1854 г.; л. 53 об.); «Костомаров уехал 27, верно, уже вы повидаетесь с ним до получения этого письма, он не был перед своим отъездом у Г<авриила> И<вановича> и мы неожиданно услышали, что он уже уехал» (2 дек. 1855 г.; л. 219 об.).

А. Е. Пыпина высказывала сыну с присущим ей чувством юмора свое мнение о шумевших тогда в Петербурге гастролях известной французской актрисы Рашель; «На Рашель я сердита, что она такую бездну денег увезет отсюда, прочитав в Ведомостях назначенную ею цену за представления, думаю, что ты пожалеешь отдать столько денег, и это успокаивает меня, что хоть наше семейство не заплатит ей данью <...> или и ты вслед за другими сделаешь пожертвование для нее» (30 окт. 1853 г.; л. 39); «жду огромного письма с описанием твоего мнения о Рашели, мне, серьезно, скучно читать о ней в Ведомостях» (25 дек. 1853 г.; л. 51); «жду большого письма твоего, потому что давно уже мы читаем одно, что ты торопишься, хоть написал бы куда. Как провел святки, верно еще посетил Рашель?» (1 янв. 1854 г.; л. 53).

Узнал А. Н. Пыпин и о страшном пожаре в Саратове в 1855 г., который длился несколько дней и от которого едва не сгорела и усадьба Чернышевских-Пыпиных: «наше теперешнее положение наполнено страшным беспокойством, — писала А. Е. Пыпина 5 августа 1855 года, — и весь город в тревоге, весь берег уставлен пожитками, все площади и за городом <...> два дня так измучились, что и сказать нельзя <...> на крыше у нас мокрые ковры разостланные пригорели, из карнизов выступила смола <...> папенька, Сережа <гасили> и Иван Фот<иевич> и Гавриила Ива<нович> <...> Гимназию отстояли учителя и так же, как и у нас, за недостатком воды заливали квасом, супом, а у нас киселем и льдом. Сестрицы твои тоже до двух часов ночи дежурят, никак не уговорю быть покойнее. <...> Пожитки наши все еще не в комнатах. Папенька похудел, постарел в эти дни» (л. 191—191 об.); «мы все еще не успокоились совершенно после пожаров, и странно, бывши против нас, целые три недели дымился, несмотря на два проливные дождя, теперь с 16-го идет дождь, а на развалинах пожара все еще дым» (19 авг. 1855 г.; л. 194)<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> «Когда пожар разыгрался, — вспоминала А. Е. Пыпина, — <...> из других церквей пришли дьячки и дьякона, помогали заливать крышу. Воду без перерыва возили с Волги. Очень помогло то, что у нас в это время стояли мужики, приехавшие из деревни на своих возах <...>, да племянник Гавриила Ивановича, Иван Фотиевич, тоже на своей лошади. На этих лошадях и возили воду. Когда не хватало воды, поливали чем

Так письма Пыпиных в Петербург к Н. Г. Чернышевскому и А. Н. Пыпину представляют значительный источниковедческий интерес, заключая в себе биографические и краеведческие факты и воссоздавая и колорит времени, и характеры того круга лиц, от которого они исходили и которому адресовались.

---

попало. Кто-то вытащил из кухни ведро супа и вылил его на крыльцо, которое очень раскалилось. Дом не пострадал, только стены были закопчены» (Е. Н. Пыпина. Беседы о прошлом. — В кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, стр. 93).

## ТЮРЕМНЫЙ ТЕАТР

---

Появление на улицах Москвы в 1952 году театральных афиш, извещающих о том, что театр Советской Армии ставит комедию Н. Г. Чернышевского «Мастерица варить кашу», привело в смущение многих москвичей. Остановливаясь перед афишами, они в недоумении спрашивали: «Это какой же Чернышевский? Тот самый?».

Да, это был «тот самый» Чернышевский, великий революционер-демократ, философ и ученый, автор знаменитого романа «Что делать?».

Весьма поучительна история создания пьесы. Известно, что Чернышевский и в Петропавловской крепости, и во время пребывания в Сибири много писал. «Писать для Николая Гавриловича, — вспоминал позднее сотоварищ по каторге П. Ф. Николаев, — значило то же, что для рыбы плавать, для птицы летать, писать для него значило жить»<sup>1</sup>. Свои пьесы Чернышевский создавал в Александровском заводе, куда он был доставлен 23 сентября 1866 года. Там уже отбывали каторгу революционеры: Н. В. Васильев (1845—1888), М. Д. Муравский (1837—1879), С. Д. Стахевич (1843—1918), И. Г. Жуков (1830—1911), Д. Т. Степанов (р. ок. 1839), П. Д. Баллод (1839—1918) и др.; в феврале 1867 года сюда же были водворены «каракозовцы»: П. Е. Ермолов (1845—1910), М. Н. Загибалов (1843—1920), П. Ф. Николаев (1844—1910), В. Н. Шаганов (1839—1902) и др. Таким образом, организовалась тесная колония «политических», и Чернышевский не чувствовал себя одиноким, изолированным от жизни. Самое страшное для него было впереди: заточение в Вилуйском остроге, где он с отрадой вспоминал задушевные беседы со своими единомышленниками и театральную самодеятельность.

---

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. II, Саратов, 1959, стр. 165.

Как вспоминает П. Ф. Николаев, «зимние вечера так долги, так унылы и однообразны», что возникала потребность дать исход просящейся наружу молодой живости. Нашлись любители театра, которые стали экспромтом создавать спектакли. «Пять-шесть человек, — продолжает Николаев, — удалялись в отдельную маленькую комнату, избирали сюжеты пьесы, распределяли роли, представляя каждому актеру говорить в пределах его роли все, что ему угодно, вешали занавес, т. е. простыню, и приглашали остальных товарищей присутствовать в качестве публики». Даже сочинили и поставили оперу под названием «Лиза, любящая всех». Пьеса, по свидетельству слушателей, «была очень смехотворна», Лиза пела звучным басом. Публика «хохотала до упада, и Чернышевский чуть ли не больше всех. Он превращался положительно в ребенка, и его раскатистый, визгливый, подмывающий смех заражал всех нас, и без того уже склонных к юношескому веселию»<sup>2</sup>.

«Домашние спектакли» ставились в зимние вечера 1867—1869 гг. Сами участники спектаклей называют их «доморощенными», доведенными «до крайней упрощенности, с простыней вместо занавеса, без женских ролей, а впоследствии с двумя женскими ролями, которые игрались, конечно, мужчинами»<sup>3</sup>. Как видим, в спектаклях было много условного. Зритель должен был воображением дополнить недостающую декорацию, извинить актерам неподходящие костюмы и многое другое.

После ряда «стихийных» представлений Чернышевский решил утолить репертуарный голод театра. Пьесы создавались с учетом театральных возможностей: ограниченное число действующих лиц, единство места (за неимением декорации), простота костюмов. Они зачастую возникали экспромтом, затем в процессе постановок подвергались уточнению. При оформлении в письменном виде существенно дорабатывались: увеличивалось число действующих лиц, усиливалась мотивировка их поведения и др. Об этом можно судить на основании сличения содержания пьес, переданных в воспоминаниях современников, с рукописями, присланными Чернышевским родным в начале 1871 года.

Первой была поставлена комедия-шутка в одном действии. В воспоминаниях участников спектаклей заглавия пьесы не даются, но судя по пересказам ее содержания, это была комедия «Великодушный муж», из которой сохранилось лишь первых 17 явлений. Пьеса аллегорического содержания<sup>4</sup>. Вот что мы читаем о ней в воспоминаниях В. Н. Шаганова. «Некий отстав-

<sup>2</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. II, Саратов, 1959, стр. 166.

<sup>3</sup> Там же, стр. 165.

<sup>4</sup> Подробный идейно-художественный анализ пьес Чернышевского см. в статье М. П. Николаева «Художественные произведения Н. Г. Чернышевского, написанные на каторге и в ссылке». (Учен. зап. Тульского пединститута, в. 10, Тула, 1959, стр. 166—204).

ной офицер имеет у себя жену (Россию), которую держит взаперти, бьет и всячески тиранит. Являются в то место два литератора-либерала. Услышав о таком тираническом обращении с женщиною, они вспыхнули мыслью освободить ее от тирана или внушить ему достоподобное обращение. Но когда они начали объясняться с г. офицером, то от свирепого натиска с его стороны потеряли всякую храбрость и даже забились под стол. Видя это, офицер, уже было поднявший арапник на них, переменил гнев на милость и приказал дать водки (конституции), причем один из либералов даже сочинил в честь его хвалебную оду. Напившись, офицер снова возымел желание бить жену. Явившийся на зов его слуга (народ) всячески показывает гг. литераторам на арапник, приглашая их принять в оный офицера, но гг. литераторы тоже достаточно нализались с офицером и отнеслись несочувственно к приглашению слуги; тогда он сам взял арапник и выгнал их всех, в том числе и офицера»<sup>5</sup>.

Подобный же пересказ имеется и в воспоминаниях П. Ф. Николаева, только там слуга не просто выгоняет тирана и его приспешников, но и произносит выразительную фразу в адрес литераторов-либералов: «Эх вы, освободители!»<sup>6</sup>.

Идея комедии сводилась к утверждению мысли: «освобождение Родины от тиранов — дело рук самого народа».

Вторая пьеса, поставленная, по свидетельству В. Н. Шаганова, в конце 1868 года, называлась «Мастерица варить кашу». Она сохранилась полностью. Основная мысль этой социально-политической комедии сводится к осуждению крепостнического уклада жизни помещицы Карелиной-Серпуховской. Здесь подспудно утверждается положение о том, что освобождение народа, Родины от произвола и гнета возможно только при дружном союзе демократической интеллигенции (образ Клементьева) с народом (образ девушки-служанки Нади).

Третья пьеса называлась «Другим нельзя». В ней автор, по мнению П. Ф. Николаева, «возвращается к тем вопросам, которые он затронул в «Что делать?» — к вопросам о свободе любви»<sup>7</sup>. Сам Чернышевский, посылая родным рукопись пьесы, предупреждал, что она состоит из 4-х действий, прислал же он только два с половиной, обещая позднее дослать остальное. Своего обещания он не выполнил. Участники спектаклей воспринимали пьесу как комедию, хотя в ней немало и драматических ситуаций. Пожалуй, вернее было бы отнести ее к жанру психологической драмы интимного содержания.

---

<sup>5</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II, Саратов, 1959, стр. 123.

<sup>6</sup> Там же, стр. 169.

<sup>7</sup> Там же.

В пьесе «Другим нельзя» речь идет о том, в какую сложную ситуацию попадают влюбленные, вокруг которых плетутся интриги. Девушка высокой нравственности любит молодого человека, а ее начинает преследовать своим вниманием знатный помещик. Появляется выжига, который за определенную мзду готов услужить помещику, втягивая в эту историю и отца девушки. Письма влюбленных перехватывают и в конце концов применяют силу, чтобы сломить сопротивление девушки. В это время появляется приятель жениха, который для спасения затравленной невесты предлагает ей фиктивный брак. Через некоторое время фиктивный брак превращается в действительный, молодожены счастливы, но вдруг появляется первый жених, которого, оказывается, молодая женщина продолжает любить. На этом и обрывается текст пьесы, присланный Чернышевским родным, названный им «Драма без развязки». Образовался треугольник: он-она-он. Как быть? Расставновка действующих лиц напоминает ситуацию в романе «Что делать?».

О развязке (любовь втроем) мы узнаем из пересказа пьесы участниками спектакля. Имеется свидетельство, что М. Д. Муравский, освобожденный из Александровского завода в 1870 году, снял копии с рукописей всех пьес Чернышевского. Это утверждение вполне правдоподобно: ведь именно Муравский вынес из острога копию рукописи романа «Пролог», с которой затем в Лондоне, в издательстве П. Л. Лаврова, печатался роман. Копии пьес до сих пор не обнаружены.

Есть возможность установить имена участников театральных представлений. На полях рукописи комедии «Великодушный муж» имеется пометка, сделанная рукою Чернышевского. В ней мы читаем: «Видал я, что у вас, Николай Васильевич, слишком много страха, чтобы не вышло опять шесть листов вместо одного. Думал, думал и решил: Ну, бог вам судья, пусть останется без вступительной сцены между Вами и Максим Николаевичем. А главное, устал и ленюсь. Пусть же останется, как там написано начало. Восстановите вычеркнутое нами ныне в разговоре Полянского с Кайдановым о Панфутьевых»<sup>8</sup>. Эта записка обращена к Николаю Васильевичу Васильеву, который играл роль Кайданова и, очевидно, вообще руководил постановкой спектакля. Роль Полянского исполнял Максимилиан Николаевич Загибалов.

Чернышевский писал: «Пусть останется без вступительной сцены». Что это означает? Оказывается, имеется иной вариант начала пьесы, где Полянский, прохаживаясь один по сцене, поет романс на слова Пушкина: «Я здесь, Инезилья». Очевидно, восстановлен был и пропуск большого куска текста со слов

<sup>8</sup> ЦГАЛИ, фонд Чернышевского, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 238.

Кайданова «или будете уговаривать ее» до слов Полянского — «До свиданья (Встает)» (см. явление II).

По поводу записки Н. Г. Чернышевского первый издатель его собрания сочинений М. Н. Чернышевский обратился в 1906 году к участнику спектаклей П. Ф. Николаеву за разъяснением. От него он получил список действующих лиц всех спектаклей.

Комедия-водевиль без названия («Великодушный муж»): деспот-муж (Кайданов) — Николай Васильевич Васильев, старый слуга (Востроныхов) — Вячеслав Николаевич Шаганов, 1-й либерал (Полянский) — Максимилиан Николаевич Загибалов, 2-й либерал (в печатном тексте отсутствует) — Дмитрий Степанов. В числе действующих лиц, названных Николаевым, отсутствуют жена Кайданова Наталья Богдановна, дочь Востроныхова Глаша, ее жених Праведнев.

Комедия «Кошевар» («Мастерица варить кашу») — в двух действиях, как свидетельствует Николаев. В печатном тексте комедия состоит из одного действия. В постановке театра Советской Армии пьеса тоже «выросла» до двух действий.

По списку Николаева в пьесе участвует всего 5 человек: Толстая дама (Агнеса Ростиславовна) — В. Н. Шаганов; Фаворит-министр (либерал Городищев) — М. Н. Загибалов;

Девушка — народ (Надя) — В. Н. Шаганов;

Радикал (Клементьев) — Дмитрий Степанов;

Поющий серенаду за сценой (рыбак-мужик) — П. Ф. Николаев.

И здесь, как и в комедии «Великодушный муж», в перечне действующих лиц отсутствуют Иннокентиев и Румянцев.

Как утверждает Николаев в своем письме, комедия «Другим нельзя» и «Великодушный муж» — «одна и та же пьеса»<sup>9</sup>. С этим заявлением никак нельзя согласиться: это разные пьесы и по содержанию, и по жанру: первая из них — психологическая драма, вторая — комедия-водевиль.

В пьесе «Другим нельзя» роли были распределены так:

Муж (Илиодор Николаевич Свиридов) — М. Н. Загибалов;

Жена (Елена Михайловна) — Н. В. Васильев;

Отец ее, отставной чиновник-пьяница (М. П. Зиновьев) — Дм. Степанов;

Приживальщик-шут, мелкопоместный дворянин (Парадизов) — Петр Дмитриевич Ермолаев;

Бывший жених (роль без речей, С. В. Короваев) — В. Н. Шаганов;

Богатый помещик (Хоненев) — Илья Жуков.

Пояснения Николаева к некоторым ролям требуют уточне-

<sup>9</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 10-ти тт., т. 10, ч. 1, стр. 255, 1906.

ния. Так, Зиновьев — не отставной чиновник, а служащий в суде, в начале пьесы он не пьяница, а уже потом, втянувшись в бесчестную борьбу против дочери, он теряет человеческий облик. Роль бывшего жениха Елены Михайловны и в записанном Чернышевским варианте бледна и немногосложна, но она не «без речей», как пишет Николаев. Парадизова едва ли можно назвать приживальщиком, он выжига, которого гонят отовсюду за его подлые дела. О его принадлежности к мелкопоместному дворянству в печатном тексте пьесы нет никаких указаний. В списке действующих лиц не упоминается Максимушка Горбылев, тогда как в присланном Чернышевским тексте ему отводится видная роль.

Имеются и другие неточности. Так, Николаев пишет: «К сожалению, в пьесах Н. Г. не сыграл ни одной роли высокоталантливый комик, известный Митрофан Данилович Муравский»<sup>10</sup>. А вот что утверждает другой участник постановок, В. Н. Шаганов: «Сценически удачны в этой комедии, — пишет он, — роли богатого помещика, которого играл Жуков (член «Земли и Воли» — М. Н.), и одного чиновника (Парадизова — М. Н.) — агента этого помещика по устройству всех комплотов против девушки, которого играл Муравский; и оба они — надо отдать им честь — играли хорошо, особенно Муравский»<sup>11</sup>.

Откуда же появились такие неточности? Возможны два объяснения: или Николаев многое запомнил и перепутал (ведь прошло 40 лет со дня событий), или Чернышевский, действительно, подверг тексты своих пьес основательной переработке. Всего вероятнее, имело место и то, и другое.

Итак, активными участниками театральной самодеятельности были Н. В. Васильев, который участвовал во всех трех постановках, играл мужские и женские роли (Надя, Елена Михайловна, Кайданов); М. Н. Загibalов играл роли Полянского, Городищева, Короваева; Илья Жуков участвовал в спектакле «Другим нельзя», играл роль Хоненева; П. Дм. Ермолаев и М. Д. Муравский, очевидно, дублировали роль Парадизова; П. Ф. Николаев в спектакле «Мастерица варить кашу» исполнял роль мужика, поющего за сценой серенаду; В. Н. Шаганов принимал участие во всех спектаклях, исполняя роль старого слуги, Агнесы Ростиславны и бывшего жениха; Дм. Степанов, активный театр, исполнял роли второго либралла, Клементьева и Зиновьева.

Таким образом, в театральных представлениях Александровского завода принимали участие люди с опытом политической борьбы, интеллектуально развитые, понимающие с полуслова тайный смысл пьес Чернышевского. Одна фамилия му-

<sup>10</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 10-ти тт., т. 10, ч. 1, стр. 255.

<sup>11</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II, стр. 125.

жа-тирана в пьесе «Великодушный муж» (Кайданов) говорит о многом. Ведь кайданщиком называли человека, который заковывал людей в кандалы, лишая их свободы. «Политическим преступникам» не раз приходилось иметь дело с кайданщиками.

Пьесы Чернышевского представляют большой интерес как факт биографии писателя, они открывают новую грань его разностороннего таланта. Драматургическая практика Чернышевского — яркое свидетельство содружества автора и самодеятельного театрального коллектива. Тюремный театр отличался оперативностью и злободневностью. Намек на современность выражался не в показе тюремного режима. Чернышевский и его сотоварищи понимали, что Александровский завод и ему подобные «тюремные замки» — лишь сколок самодержавно-полицейской России. Писатель обращал внимание зрителей на коренные вопросы жизни: трагическое положение Родины и народа, свирепость деспотов, в каком бы облике они ни выступали.

Театральные представления имели место в острогах задолго до прибытия Чернышевского в Александровский завод. В романе Достоевского «Записки из мертвого дома» дано выразительное описание самодеятельности, в которой принимали участие десятки людей. С текстом пьес актеры обращались довольно бесцеремонно. Каждый занимался импровизацией, из которой зритель ясно чувствовал намек на жизнь в «мертвом доме».

Спектакль, как утверждает Достоевский, выявил из среды арестантов талантливых организаторов, актеров и режиссеров. Во время представления актеры и зрители сливались в единый коллектив, забывая на время о своем тягостном положении. Такова, по наблюдениям писателя, сила эмоционального воздействия театральной самодеятельности.

Нечто подобное переживали и зрители театральных зрелищ в Александровском заводе. Каторга духовно не изолировала людей от их прошлой жизни, наполненной страстными стремлениями, добрыми надеждами. Спектакли с их политическим подтекстом пробуждали живые мысли, укрепляя веру в торжество тех идеалов, за которые они попали в «мертвый дом».

Все это свидетельствует о том, что народный театр существовал не только как балаганное зрелище в остром словце раешника, он бытовал и «во глубине сибирских руд».

«Стержень добродетели», как называли Чернышевского сотоварищи по каторге, и в тюремных условиях оставался непримиримым борцом, агитатором, пропагандистом дорогих ему революционных идей.

ОБ ОДНОМ ПЕЧАТНОМ ИСТОЧНИКЕ КНИГИ  
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА»

---

16 июля 1888 г. Чернышевский писал А. Н. Пылину из Астрахани: «...в твоём письме от 29 июня указывались мне печатные материалы для биографии Д<обролюбо>ва... Теперь благодарю тебя за те указания и воспользуюсь ими» (XV, 706)<sup>1</sup>.

Что же это за «печатные материалы»? Какова их взаимосвязь с теми «Материалами...», которые были собраны и прокомментированы Чернышевским?<sup>2</sup> Эти вопросы, имеющие непосредственное отношение к некоторым важным эпизодам идейно-литературной борьбы 60-х и 80-х годов, к биографии Чернышевского и Добролюбова, до сих пор не привлекали внимания исследователей.

\* \* \*

Весь круг печатных источников, изученных или просмотренных Чернышевским в процессе работы над книгой «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», с совершенной точностью определить трудно. В те годы он получал едва ли не все «толстые» журналы, выходившие в России (см. XV, 515, 657, 680)<sup>3</sup>, читал, конечно, и газеты, интересовался книжными новинками о «своем времени» — эпохе 60-х годов (см. напр., XV, 618)<sup>4</sup>. Но

---

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., М., Гослитиздат, 1939—1953. Здесь и далее ссылки на это издание приводятся в тексте, с указанием тома и страницы.

<sup>2</sup> См.: Н. Г. Чернышевский. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. 1, М., изд. К. Т. Солдатенкова, 1890. В дальнейшем ссылки на это единственное издание приводятся в тексте, с указанием названия книги (сокращенно — М.) и страницы.

<sup>3</sup> См. об этом также в воспоминаниях С. Б. Сукиасовой-Артемьевой в кн.: Литературное наследство, т. 67, стр. 162. Публикация Е. Г. Бушканец.

<sup>4</sup> См. об этом также в воспоминаниях Е. И. Никольской («Коммунист», Астрахань, № 181, 1934, 6 августа) и А. А. Токарского (Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II, Саратов. книжн. изд., 1959, стр. 337).

о некоторых источниках можно сказать с определенностью, что они были известны Чернышевскому и учтены им в «Материалах...». Имеем в виду те, которые были рекомендованы Пыпиным. В письме от 29 июня 1888 г., сообщая о вновь обнаруженных им рукописных материалах для биографии Добролюбова, Пыпин советует Чернышевскому познакомиться с вышедшей за последние годы литературой, прямо или косвенно связанной с именем покойного критика. При этом он называет «книжку воспоминаний» провинциального актера Самсонова; «несколько шуточных стихотворений Н. А-ча, адресованных Галахову А. Дмитричу», опубликованных в «Русской старине» 1887 или 1888 г.; статью П. Н. Полевого «в «Историческом вестнике» тоже прошлого или нынешнего года... в ругательном роде»; статьи «Скабичевского о новейшей литературе, в Отеч. записках начала 70-х годов»<sup>5</sup>.

В письме Пыпина от 14 июля 1888 г. называется журнал «Русский вестник»: «В последних книжках идет биография Каткова, писанная Любимовым,—где говорится вкрявь и вкось о конце 50-х и 60-х годов. Может быть, не лишнее принять к сведению.— Не понадобится ли также для биографии Добролюбова существующая подробная биография Достоевского (писана Страховым и О. Миллером)». Причем необходимые книги Пыпин сам обещал «добыть» и выслать<sup>6</sup>.

Из всех перечисленных Пыпиным источников мы остановимся на одном — на очерке Н. А. Любимова «Михаил Никифорович Катков (по личным воспоминаниям)». Собственно, нас интересует не весь очерк, а только пятая его глава, названная «Русский вестник» в начале шестидесятых годов. Полемиическая деятельность Михаила Никифоровича». Здесь воспроизводится «деятельность» печально известного редактора и публициста в период революционной ситуации.

В самом начале биограф Каткова заявляет, что течения, с которыми боролся покойный редактор «Русского вестника», «будучи литературными с виду, в сущности имели политиче-

---

<sup>5</sup> Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. III, М.—Л., Госиздат, 1930, стр. 563—564.

А. Н. Пыпин имеет в виду след. изд.: Л. Н. Самсонов. Пережитое. Мечты и рассказы русского актера. 1860—1878, СПб., 1880; Шуточные стихотворения Н. А. Добролюбова.— «Русская старина», 1887, № 9; П. Н. Полевой. Из области сказаний о темном царстве. По поводу годовщины смерти А. Н. Островского.— «Исторический вестник», 1887, № 7; А. Скабичевский. Очерки умственного развития нашего общества.— «Отечественные записки», 1872, № 5, 6.

<sup>6</sup> Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. III, стр. 567. А. Н. Пыпин имеет в виду кн.: Н. А. Любимов. Михаил Никифорович Катков (по личным воспоминаниям).— «Русский вестник», 1888, №№ 1—12; Биография, письма, заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, СПб., 1883.

ский и социальный характер» (стр. 251) <sup>7</sup>. Но при этом замечает, что в то время «политическая подкладка журнальной пропаганды радикализма на страницах этого издания («Современника») не бросалась еще резко в глаза» (стр. 259). Больше того, Любимов заявляет, будто «кружок «Современника» считал «Русский вестник» идущим в одном с собою направлении, только медленнее и не в передних рядах» (стр. 260).

Любимов ссылается на протест против «Иллюстраций», подписанный в конце 1858 г., среди прочего пестрого разнообразия имен, Катковым и Чернышевским, и на статьи... самого Чернышевского. Как прямая похвала катковскому журналу (в статье «История из-за г-жи Свечиной») трактуются слова Чернышевского о том, что «Русский вестник» является «очень полезным для нас подготовителем серьезных людей к принятию наших понятий: мы считаем его педагогическим учреждением, в котором читается приготовительный курс» (стр. 263).

В статье «Научились ли?» биограф Каткова обращает внимание на те строки, в которых вождь революционной демократии настойчиво отделяет взгляды передовой молодежи от взглядов либералов: «Студенты, прибавляет он <т. е. Чернышевский. — С. С.>, никогда и не верили нашим либералам, всегда считали их людьми пустыми, просто пустозвонами» (стр. 265). Либералы ненавистны также и биографу Каткова: «Нельзя не признать, ...что в презрении своем к «либералам»... г. Чернышевский был прав...» (стр. 264).

Но по мере приближения хронологии к 1862 г. благожелательный тон изменяет Любимову. С удовлетворением вспоминает он о такой «заслуге» «Русского вестника», как травля Герцена и газеты «Колокол». Даже мертвый Герцен Любимову ненавистен. Чернышевский и Герцен теперь постоянно изображаются как деятели одного лагеря.

Биограф Каткова обнаруживает довольно широкую осведомленность в политическом смысле многих событий периода первой революционной ситуации. Именно так он объясняет похороны Шевченко, многочисленные молодежные митинги, шествие на могилу Грановского, объединение польского и русского студенчества. Пишет Любимов о причастности кружка «Современника» и самого Чернышевского к студенческим волнениям («...он <Чернышевский> был в секрете тогдашних студентских дел и имел в них властное значение» — стр. 265), о широком участии офицерства в революционном движении («Сераковский действовал в академии генерального штаба; пропаганда работала в инженерной и артиллерийской акаде-

---

<sup>7</sup> «Русский вестник», 1888, № 4. Здесь и далее цитирую по этому изданию, страницы указываются в тексте.

ниях, в офицерской стрелковой школе и других заведениях» — стр. 288—289)<sup>8</sup>.

Какое же значение могли иметь все эти сведения для биографа Добролюбова? Какое преломление получили они в «Материалах...»?

Необходимо признать, что на страницах «Русского вестника» пером представителя реакционного лагеря воспроизведена довольно верная (с точки зрения фактической) и подробная картина революционного движения 60-х гг. Во всяком случае Чернышевский такого описания в годы пребывания на каторге и в ссылке, вероятно, нигде прочитать не мог. Это описание могло «развязать ему руки» и сыграть роль своего рода барометра, по которому Чернышевский мог судить — как и о чем можно писать ему самому в биографии Добролюбова.

В собственной концепции Чернышевского, в его плане будущего труда очерк Любимова кое-что мог уточнить, заставить по-новому осмыслить. Так, в очерке в двойственном свете (т. е. не просто категорически-отрицательно, но в какой-то мере и положительно) изображается сам Чернышевский, имя которого было запретным для печати. С претензией на историческую «объективность», с целью завоевать доверие читателя, Любимов стремится беспристрастно воспроизвести идейную эволюцию даже такого «крамольного» писателя, как Чернышевский.

Для доказательства своей концепции идейного развития Чернышевского и всей русской демократии — от умеренного «прогрессизма» к революционности — биограф Каткова фальсифицирует смысл статьи «История из-за г-жи Свечиной». В действительности Чернышевский очень искусно проводил здесь ту мысль, что полемика против «Современника» на страницах «Русского вестника» должна пробудить интерес к идеям, проповедуемым «Современником», даже у читателей катковского журнала. «Нет нужды, что «Русский вестник» очень усердствует доказывать нелепость и гибельность мнений, которых держимся мы, — писал Чернышевский, — он все-таки выводит людей из умственной летаргии на дорогу, по которой каждый серьезный человек, из пробуждаемых им, непременно должен раньше или позже прийти к образу мыслей, нами излагаемому...». И уж совсем издевательски звучит строка: «...всякая потеря столь полезного для нас помощника — наша собственная потеря...» (VII, 318).

Любимов ссылается на Чернышевского как на заживо погребенного, статьи его, ставшие библиографической редкостью, удобно толковать «вкривь и вкось» (выражение Пыпина).

Тактику «Русского вестника» можно объяснить известным

<sup>8</sup> Правда, в очерке намечается тенденция затушевать представление о действительном размахе революционного движения в России в конце 50-х — начале 60-х годов, отнести многое на счет сплетен и страхов.

ленинским положением из работы «Государство и революция»: «Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его»<sup>9</sup>.

Очерк Любимова — не исключение, а только наиболее характерный по своей идейной ориентации печатный источник «Материалов...». Из сопоставления с ним книги Чернышевского становится особенно очевидна актуальность и важность ее главной задачи — изображение истинного характера идейной эволюции Добролюбова и всей революционной демократии в целом.

Чернышевский не отрицает, что Добролюбов прошел определенный путь идейного развития. Никто из кружка «Современника» не был революционером «от рождения». Но это был путь не от либерализма к революционности, как полагал биограф Каткова, и не от революционности к либерализму, как думали некоторые из бывших участников добролюбовского кружка, выражавшие настроение той части русского общества, которая в годы революционной ситуации колебалась между либерализмом и революционным демократизмом. Это был путь постепенного мужания, углубления политической и творческой зрелости по мере эволюции русской действительности, развития революционной ситуации в России<sup>10</sup>.

Неумение противников революционной демократии понять истинный характер этой идейной эволюции Чернышевский связывает не только с общей ограниченностью их взглядов, с той или иной степенью политической незрелости, но и с особенностями эзоповой манеры письма, при помощи которой сам Чернышевский и его единомышленники выражали свои заветные убеждения.

«По-моему, если я сказал или сделал что-нибудь такое, за что меня осуждают другие, — писал Добролюбов Златовратскому 7 июля 1858 г., — то уж тут нет оправдания: значит мои слова или поступки имели такой вид, что могли подать повод к осуждению. Следовательно, или я виноват, что не умел придать им доброго вида, и тогда я действительно виноват; или

<sup>9</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 5.

<sup>10</sup> Чернышевскому еще в 50-е гг. было свойственно убеждение в том, что формирование личности непосредственно связано «с историческими потребностями эпохи». (См.: А. А. Демченко. Проблема научной биографии писателя в трудах Н. Г. Чернышевского. — В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, в. 5, стр. 36, 37).

же и вид их был добрый, да только не по вкусу осуждающих, — в таком случае я имею полное право презирать вкус осуждающих» (М., 433). Такое смешение «вида» и сущности при оценке деятельности революционной демократии их противниками Чернышевский рассматривает как явление типическое. Только вследствие типичности «недоразумений», волновавших Златовратского и некоторых других бывших участников Добролюбовского кружка при чтении статей критика<sup>11</sup>, Чернышевский отводит разъяснению этих «недоразумений» самые крупные примечания в «Материалах...».

Даже Герцен, согласно интерпретации Чернышевского, не понял истинного смысла и значения статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». Автор «Материалов...» классифицирует это как «случай такого же рода» (М., 439), т. е. подобный тому, который произошел с Златовратским. Он называет непонимание Златовратского и других «недоразумением» или «недоразумением очень наивным» (М., 437, 438), а непонимание Герцена — «удивительным недоразумением» (М., 439)<sup>12</sup>.

Не понял (или не захотел понять) много биограф Каткова в статье Чернышевского «История из-за г-жи Свечиной».

Автор «Материалов...» в одном из примечаний сообщает, что в статьях Чернышевского и Добролюбова «резкая насмешка... прикрыта формой утрированной похвалы» (М., 314), и таким образом дает исчерпывающую характеристику своей и Добролюбовской манеры письма.

\* \* \*

Биография Добролюбова в представлении Чернышевского — не просто история одинокой жизни безвременного погибшего юноши, как об этом писала либеральная пресса<sup>13</sup>. Анализ «Материалов...» свидетельствует, что Чернышевский стремился воплотить в биографии Добролюбова все те исторические и

<sup>11</sup> А. Н. Пыпин вспоминал: «Добролюбов вступал в литературу, только что оставив товарищескую студенческую среду. ...В эту среду проникали все основные интересы, какими волновалось общество, и молодой кружок волновался ими тем более» (см.: А. Н. Пыпин. Мои заметки. Цит. по кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, М., Гослитиздат, 1961, стр. 250).

<sup>12</sup> Кстати, это слово «недоразумение», а может быть отчасти и толкование его в данном случае, очевидно, заимствованы Чернышевским у Добролюбова. В известной дневниковой записи революционного критика, от 5 июня 1859 г., появившейся после «Very dangerous!!!» Герцена, имеются такие строки: «Но мне все кажется, что вся эта история — чистейший вздор — какое-нибудь недоразумение». (Н. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти тт., т. 8, М.—Л., «Художественная литература», 1964, стр. 570).

<sup>13</sup> См., напр.: И. П-ский. Добролюбов, его жизнь и литературная деятельность. — «Новое слово», 1894, № 1—2; А. Скабичевский. Биография Н. А. Добролюбова. — В кн.: Сочинения Н. А. Добролюбова, т. 1, СПб., 1896.

частные факторы, с которыми была так или иначе связана жизнь и деятельность великого защитника русского народа. Отсюда биография Добролюбова — это и история общественно-литературной борьбы 60-х гг., и события международного национально-освободительного движения, и борьба за создание первой русской революционной партии, и страницы биографии Некрасова, и даже идейная эволюция самого Чернышевского от 60-х к 80-м гг. Полемический элемент, публицистический пафос пронизывают труд Чернышевского, составляют его основу. Поэтому органически вошла в него и полемика с автором «Русского вестника» 80-х гг.

Явной фальсификацией истории явилась попытка биографа Каткова объединить Чернышевского и Каткова в их отношении к либералам. Собственно, Любимов сам себя выдает, когда упрекает Чернышевского в том, что он «был и неблагодарен» в своем отношении к либералам, «так как только благодаря именно легионам этих рабских умов могло установиться господство «Современника» и могли получить значение серьезного явления иллюзии самого бессмысленного радикализма» (стр. 264).

В «Материалах...» Чернышевский последовательно воспроизводит борьбу революционной демократии 60-х гг. с либералами-«прогрессистами». Изображая отдельные эпизоды этой борьбы, он вспоминает и добролюбовские «насмешки над знаменитым «протестом» против «Иллюстрации», которую обидели «Московские ведомости», отсылает читателя к первому, второму и третьему номерам «Свистка»<sup>14</sup> познакомиться с историей этого «протеста» и обещает пополнить ее «в своем месте некоторыми подробностями» (М., 505).

Обещанию Чернышевского относительно дополнительных подробностей не суждено было осуществиться. Но из «Материалов...» его отношение к «протесту» и своей подписи под ним вырисовывается достаточно ясно. Собственно, уже ссылка на Добролюбова свидетельствует о том, что Чернышевский солидаризируется с покойным критиком в оценке этой истории. «Протест», по мнению Добролюбова, в конце концов поддержал «обличительную» публицистику, дал ей «козырь» в борьбе с тем же «Современником». На Добролюбова ополчились «Московские ведомости», и Чернышевский, подписавший «протест», оказался в одном хоре с ними. Примечание о «протесте» заканчивается в «Материалах...» стихами Добролюбова из «Свистка» — «Мое обращение», в которых «резкая насмешка... прикрыта формой утрированной похвалы»: Добролюбов иронически раскаивается в своих насмешках над «протестом». Не случайно и само слово «протест» везде в книге заключено в кавычки. Это был протест мнимый.

<sup>14</sup> См.: «Современник», 1859, № 1, 4, 10.

Таким образом, Чернышевский признал ошибкой свою подпись, точнее, он ее обесценил, указав на ничтожество самого документа. Вполне возможно, что необходимость такого запоздалого признания была вызвана и тем, что ошибку Чернышевского тридцать лет спустя использовал идейный противник — автор «Русского вестника». Но верно и то, что, признав ошибкой свою подпись под «протестом», автор «Материалов...», по существу, согласился с тем, что он неправ только в *данном, отдельном* случае. Вообще же, *в принципе*, Чернышевский и в 80-е гг. не отказался от мысли о полезности на определенном этапе союза революционной демократии с людьми, способными «более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному» (I, 729).

Биография Каткова, «писанная Любимовым», подтвердила также автору «Материалов...» историческую необходимость предпринятого им почти через тридцать лет после лондонского свидания пересмотра своего отношения к Герцену. Чернышевский не мог быть в одном лагере с Катковым и «Русским вестником» в неприязни к Герцену. Поэтому, подчеркнув в «Материалах...» свое несогласие с позицией издателя «Колокола», он одновременно воздает должное Герцену как «блестящему публицисту, таланту которого нет равных в Европе» (М., 319), и одному «из знаменитейших и действительно лучших деятелей русской литературы» (М., 439).

Наконец, в «Материалах...» имеется идейно-тематический ряд<sup>15</sup>, содержание которого можно считать прямым ответом на измышления «Русского вестника» 80-х гг. Имеем в виду полемику «Современника» с катковским журналом по вопросу об откупах. В письмах и примечаниях на эту тему Чернышевский разоблачает известного либерального публициста Кокорева, который активно выступал против откупов в журнале Каткова в 60-е годы.

Еще в 1858 г. в статье «Откупная система» Чернышевский писал, что ему «становилось как-то неловко при чтении большей части статей, направленных против откупов. Мы чувствовали нечто вроде того, как если бы человек, двадцать лет мирно встречавшийся в обществе с каким-нибудь отъявленным шулером, вдруг без всяких новых поводов начал на чем свет стоит порочить этого шулера и доказывать, что если бы этого негодного человека изгнать из общества, то общество значительно выиграло бы... Мне кажется, что пока не изменится само общество, напрасно ему изгонять шулеров или негодовать против них» (V, 319, 320).

<sup>15</sup> См.: С. В. Свердловина. Чернышевский в 1883—1889 годы (К вопросу о композиции книги «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова»). — Научные доклады высшей школы, «Филологические науки», 1966, № 2.

Введенная в «Материалы...» биография Кокорева — наглядное свидетельство того, что само общество поощряет «шулера», а потом, когда он наживается, само же предоставляет ему роль обличителя шулерства.

Чернышевский подробно останавливается на характеристике прежней деятельности Кокорева, воспроизводит с этой целью в особом примечании содержание статьи В. А. Федоровского «Подольско-витебский откуп», опубликованной в мартовской книжке «Современника» за 1859 г., цитирует строки о том, что Кокорев проворовался и дело попало бы в суд, но «Кокорев пошел на сделку, и г. Ж<адовский>», бывший владелец винокуренного завода в Оренбургской губернии, у которого Кокорев производил хищения, в бытность свою управляющим этого завода, «прекратил дело по уплате ему г. Кокоревым 4000 р. сер.». Притом Чернышевский дает понять, что это воровство явилось ключом ко всей последующей деятельности Кокорева, от управляющего до откупщика и либерального публициста: «Предисловием к характеру его откупной деятельности там (в статье Федоровского. — С. С.) служит очерк его прежней деятельности» (М., 510).

И всего через две страницы после такого беспощадного разоблачения Кокорева помещено письмо Добролюбова И. И. Бордюгову от 4 июня 1859 г. Письмо начинается стихами, которые представляют собой один из ранних вариантов «Дружеской переписки Москвы с Петербургом». Стихи воспроизводят общественно-литературную борьбу того времени. Примечания, которыми сопровождается окончательный текст, в «Материалах...» опущены, так что упомянутые в стихах многочисленные фамилии могут быть понятны только человеку сведущему. Притом Чернышевский отсылает читателя к малодоступному «Современнику», хотя познакомиться с обширными добролюбовскими примечаниями можно было и по изданию его сочинений 1885 г.<sup>16</sup>

При такой осторожности тем более обращают на себя внимание в контексте «Материалов...» следующие оставленные биографом Добролюбова строки «Дружеской переписки...»:

«Анафеме там предан Чернышевский  
И Кокорева ум нашел себе приют!» (М., 513).

«Там» — т. е. в Москве, в «Русском вестнике», Даже несведущий читатель не успел забыть, что двумя страницами ранее говорилось о Кокореве. Стихи же о Чернышевском и Кокореве можно считать прямым ответом автора «Материалов...» биографу Каткова: никогда не мог находиться в одном полити-

<sup>16</sup> См.: Н. А. Добролюбов. Соч. в 4-х тт., т. IV, М., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1885, стр. 422—433. Этим изданием пользовался Чернышевский в процессе работы над «Материалами...».

ческом лагере с «Современником» журнал, где «анафеме... предан Чернышевский» и воздвигнут на пьедестал Кокорев.

Итак, предпринятый нами анализ всего лишь одного печатного источника книги Чернышевского о Добролюбове вновь подтверждает, что эта книга — идейно и композиционно целенаправленный труд и в данном смысле — вполне сформированная биография, а не «сырой материал»<sup>17</sup>, представляющий «интерес только для биографов»<sup>18</sup>.

Сопоставление очерка Любимова с трудом Чернышевского свидетельствует и о том, что великий шестидесятник в последний период жизни не был похож на фантастического поляка, проспавшего «в неведомом тайнике несколько столетий»<sup>19</sup>.

Чернышевский остался революционным писателем-публицистом. Его книга о Добролюбове — важный документ идейно-литературной борьбы не только 60-х, но и 80-х годов.

---

<sup>17</sup> «Неделя», 1890, № 30, стр. 959.

<sup>18</sup> «Наблюдатель», 1890, № 10, отд. XIV, стр. 16.

<sup>19</sup> В. Г. Короленко. Воспоминание о Чернышевском. — В сб.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II, Саратов. книжн. изд., 1959, стр. 299.

## ОТКЛИКИ САРАТОВСКИХ ГАЗЕТ НА СМЕРТЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Летом 1889 года Н. Г. Чернышевскому разрешили наконец поселиться в Саратове. Однако к тому времени здоровье его было уже окончательно подорвано: не прожив и четырех месяцев в родном городе, Чернышевский скончался. Весть о тяжелой утрате быстро облетела Россию, хотя полиция всячески противодействовала этому<sup>1</sup>. Периодические издания Москвы, Петербурга и других городов с глубоким прискорбием откликнулись на смерть великого революционера-демократа. О кончине Чернышевского писали и саратовские газеты — «Саратовский листок» и «Саратовский Дневник». И хотя жесткие цензурные условия не позволили землякам Чернышевского в полной мере выразить скорбь и тяжесть утраты, но и то, что удалось напечатать, с достаточной убедительностью свидетельствует, что ни каторгой, ни годами ссылки, ни полицейской цензурой самодержавию не удалось вытравить из памяти людей имя Чернышевского. О нем помнили, его знали.

В день смерти Н. Г. Чернышевского 17 октября 1889 года вышли дополнительные номера «Саратовского листка» и «Саратовского Дневника», в которых на первых страницах, в траурных рамках, были помещены короткие сообщения такого содержания: «С 16 на 17-е октября, в 12 ч. 37 м. ночи, скончался **Николай Гаврилович Чернышевский**. Панихиды в квартире покойного (против бульвара, д. Никольского, близ Армянской улицы) ежедневно в 10 ч. утра и 7 ч. вечера»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> М. Н. Пыпин писал, что многие телеграммы, посланные саратовскими литераторами в петербургские и московские газеты, «хоть и были приняты на станции, но затем были возвращены подателям» (см.: М. Н. Чернышевский. Последние дни жизни Чернышевского. — «Былое», 1907, № 8, стр. 141).

<sup>2</sup> «Саратовский Дневник», 1889, 18 октября, прибавление к № 222. Ср.: «Саратовский листок», 1889, от 17 октября, прибавление к № 222.

Несмотря на запреты цензуры, были напечатаны и некрологи. Короткая некрологическая заметка без подписи, помещенная в «Саратовском Дневнике», сообщала лишь самые общие сведения из жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского: год и место рождения, учение в саратовской семинарии и Петербургском университете, педагогическая деятельность, руководство журналом «Современник». Политическая деятельность Чернышевского в этой заметке, по существу, замалчивалась, не упоминались каторга и ссылка, роман «Что делать?», научные и публицистические труды. Гораздо полнее освещен творческий путь Чернышевского в некрологе «Саратовского листка», написанном известным саратовским журналистом И. П. Горизонтовым, который был лично знаком с Н. Г. Чернышевским<sup>3</sup>.

Автор его коснулся, например, такого важного момента в биографии Чернышевского, как защита им диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». В некрологе отмечалось, что благодаря «непосредственному и живому участию» Чернышевского, «Современник» стал одним из интересных и популярных русских журналов. И. П. Горизонтов напомнил читателям и о том, что Чернышевский был известен еще и как крупный ученый, причем не только в России, но и в Европе; он назвал Чернышевского «одним из образованнейших русских людей», «известным писателем и публицистом». В наиболее ответственных местах некролога повествование прерывается многоточиями — многозначительный знак вынужденной в условиях цензуры недоговоренности.

Некролог И. П. Горизонтова — ценное дополнение к известным воспоминаниям современников о Н. Г. Чернышевском<sup>4</sup>. Из него мы узнаем, что в последние дни жизни Николай Гаврилович «работал по 14 часов в сутки без отдыха», а «за день до смерти, уже после приступа страшнейшего озноба, он надиктовал более 16 страниц печатного текста, сам изумившись своей рабочей энергией»<sup>5</sup>. Новым и весьма значительным штрихом к биографии Чернышевского является также подмеченная журналистом его манера работы: «Он обыкновенно диктовал переписчику с оригинала, или прохаживаясь, или лежа, и не уставал в этой беспрерывной работе. До какой щепетильности простирались заботы покойного на счет своих работ, — видно, между прочим, из того, что Н. Г. делал указания переписчику относительно абзацев, красных строчек, подчеркиваний, знаков препинания и даже шрифтов», — писал И. П. Горизонтов<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Подробнее о И. П. Горизонтове см. в кн.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II. Саратов. кн. изд., 1959, стр. 374.

<sup>4</sup> См. там же.

<sup>5</sup> «Саратовский листок», 1889, 17 октября, прибавление к № 222.

<sup>6</sup> Там же.

До 20 октября включительно саратовские газеты ежедневно помещали короткие заметки о смерти Н. Г. Чернышевского с сообщением времени выноса тела покойного и места погребения. Несмотря на запреты полиции печатать в газетах подробные описания похорон<sup>7</sup>, «Саратовский листок» в небольшой заметке без подписи сообщал, что «Чернышевского хоронили на 4-й день после его смерти, дожидаясь приезда из Петербурга сына его, который мог прибыть только 20-го числа утром»<sup>8</sup>. В корреспонденции упоминались такие факты, как многолюдность похорон, возложение на гроб покойного венков, присланных из Москвы, Казани, Нижнего и других городов. Более подробно о похоронах писал «Саратовский Дневник»: «К выносу гроба... в квартиру покойного собрались родственники, знакомые и почитатели усопшего. Много собравшихся стояло на дворе, так как квартира не могла вместить всех желавших проводить покойного». Газета отмечала, что на гроб Чернышевского «были возложены металлические венки от редакции и сотрудников «Саратовского Дневника», от саратовского литературного фонда, а 21 октября, поздно вечером, была «доставлена телеграмма из Одессы с просьбой возложить венок с надписью «от почитателей и почитательниц Одессы». Далее сообщалось, что гроб покойного был донесен на руках до Воскресенского кладбища, хотя погребение проходило «при серой, грязной погоде». Во время шествия, писала газета, «был организован хор из публики, который пел по дороге до кладбища»<sup>9</sup>.

Через два дня после похорон писателя в воскресных номерах саратовских газет публикуются традиционные воскресные фельетоны. Их содержание так или иначе связано с Чернышевским, хотя имя его и не упоминается. Автор фельетона «Саратовского Дневника» С. С. Гусев, печатавшийся в местных газетах под псевдонимом «Слово Глаголь»<sup>10</sup>, проводит параллель между недавними кончинами состоятельного купца и не нажившего капиталов литератора: «Умер купец и оставил деньги на приют. Умер писатель и ничего не оставил, кроме старого письменного стола и худых сапогов. Имущество писателя сделалось, конечно, частным достоянием его семьи—его жены, к которой перешла желчность и нервная развинченность мужа, и его сына, которому предстоит изыскать средства для сооружения подметок к отцовским сапогам.

Между тем, вновь основанный приют процветал... Сын писателя не попадает в этот приют, потому что приют—для девочек, но попадает в другой, сооруженный главным образом

<sup>7</sup> М. Н. Чернышевский. Последние дни жизни Чернышевского.— «Былое», стр. 138.

<sup>8</sup> «Саратовский листок», 1889, 22 октября, № 226.

<sup>9</sup> «Саратовский Дневник», 1889, 22 октября, № 226.

<sup>10</sup> И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. 3, М., 1958, стр. 120.

на купеческие деньги. А что делается со вдовой — это неизвестно... Такова канва, на которой можно вышить удивительные узоры. Но самым крупным розаном в них должна быть... мысль, что приют-то... перед глазами, а то доброе воздействие, которое оказывал писатель на умы — ущупай-ка его за скорузлыми руками, копающимися во всякой житейской дряни»... И далее — «амортизационное» добавление: «Пусть никто не думает, однако, что я на что-то намекаю и кого-нибудь имею в виду. Тут не играет роль недавняя смерть писателя, у которого дети — слава богу — имеют сапоги. Это вообще»<sup>11</sup>.

В несколько ином аспекте рассматривает «тогдашнюю злобу дня»<sup>12</sup> И. П. Горизонтов, сосредоточивший внимание на творческой способности человеческого сознания, на взаимодействии его с природой. «С появлением человека явилось сознание, а вместе с ним сразу все на земле и на небе осветилось блеском разума и смысла. Люди разобрались среди холодного и безмолвного богатства природы и всему, к чему только прикасалось их сознание, придавали особое, человеческое значение»... «за все цеплялись люди, подвергали наблюдению и изучению, критиковали действия, отыскивали причины и по всему лицу земли установили свой собственный порядок и организацию». И далее весьма прозрачный намек: «Наука или, иначе говоря, сознание людей неустанно работает по пути творчества и изобретений, и в туманной дали будущего рисуется умственному взору теперешнего человека поистине завидная перспектива: каждый будет каждодневно кушать суп с курицей, как мечтал Генрих IV Наварский, и все будут жить в алюминиевых дворцах, как надеялся другой мечтатель»<sup>13</sup> (курсив наш. — А. М., В. Б.). Подразумеваемая под природой все пассивное, косное, противопоставляя ей человека с неутомимостью его исканий, автор фельетона с прискорбием констатирует: «Скончается ли выдающийся государь, умирает ли крупная в науке личность, сорвется ли с небосклона жизни какой-нибудь общественный деятель, благотворитель, или человек мощного ума и глубокой интеллектуальной силы — природе все равно, и только одни люди поймут и оценят все значение тяжелых потерь и горестных утрат»<sup>14</sup>.

«Саратовскому листку» удается весьма изобретательно

<sup>11</sup> «Саратовский Дневник», 1889, 22 октября, № 226.

<sup>12</sup> Вот что писал М. Н. Пыпин по этому поводу А. Н. Пыпину: «Здесь (в Саратове. — А. М.) вообще могли очень мало печатать о Николае Гавриловиче; например, воскресному фельетонисту того же «Листка», желавшему коснуться тогдашней злобы дня, цензор (это было 21 октября) прямо сказал, что он не пропустит ни одного слова. Фельетонист «Дневника» ввернул о том несколько слов (22 октября) (М. Н. Чернышевский. Последние дни жизни Чернышевского. — «Былое», стр. 144).

<sup>13</sup> «Саратовский листок», 1889, 22 октября, № 226.

<sup>14</sup> Там же.

обходить цензуру вплоть до декабря. Так, например, 24 октября газета перепечатала для своих читателей статью из «Гражданина», в которой творческий путь Чернышевского был рассмотрен гораздо обстоятельней. Здесь упоминаются уже многие научные и публицистические труды революционера-демократа, а также роман «Что делать?». 26 октября газета находит новый повод для разговора о своем великом земляке. Полемизируя с «Новостями» и опровергая версию о скоропостижной смерти Чернышевского, «Саратовский листок» в анонимной заметке подробно описывает последние дни жизни писателя. Автор заметки отмечает, например, такой факт: по приезде из Астрахани в Саратов писатель не обращался ни к одному саратовскому врачу и, очевидно, «в помощи не нуждался; *усиленно работал и казался совершенно здоровым*». В сентябре «по настоянию своей жены» Чернышевский, наконец, пригласил врача и жаловался на приступы перемежной лихорадки, но «предложение врача прозвести объективное исследование состояния его здоровья безусловно отклонял; по собственному решению, принимал хинин и этими приемами прекращал приступы лихорадки». Вплоть до 14 октября, писала газета, Николай Гаврилович врачевал себя сам, а «14 октября сильный пароксизм»... «сложил Чернышевского в постель, и на этот раз он сам приглашает врача, соглашается подвергнуть себя медицинскому исследованию»... 15 октября утром, отмечалось далее, больной чувствовал себя нормально и работал над корректурами 12 тома перевода истории Вебера, но с «5 часов вечера температура тела вновь повысилась, — больной впадает в полубессознательное состояние, бредит: цитирует последние страницы перевода истории Вебера». А утром 16-го приглашенные к больному врачи констатируют: «гипертония головного мозга, повышенная температура тела, зрачки равномерно широки, на свет не реагируют; печень и селезенка велики (малярия); бессознательное состояние». Вечером было замечено ослабление сердечной деятельности и отек легких, «а в 12 ч. 37 м. ночи Н. Г. тихо скончался».

В заключение автор корреспонденции сетует на то, что «здоровья для такой тяжелой работы, которую выполнял покойный, у него не было. Останови он свою работу, дай отдых телу и устрой для него побольше удобства, — он, быть может, и остался бы в живых на несколько лет»<sup>15</sup>. Автор заметки задается целью доказать, что в смерти Чернышевского врачи не повинны ни в коей мере. Этому прямо противоречит содержание другой корреспонденции, опубликованной «Саратовским Дневником», в которой говорится о «странном, если не сказать больше, отказе доктора Н. от исполнения просьбы

<sup>15</sup> «Саратовский листок», 1889, 26 октября, № 229.

посетить больного». Далее подробно комментируется отказ доктора Н<икифорова> приехать к тяжелобольному Чернышевскому, отмечается, что причина его отказа была явно неуважительной<sup>16</sup>. Газета сетовала на то, что родные и близкие писателя не «догадались» обратиться к «товарищам»... «авось у них нашелся бы врач, более человечно относящийся к своим обязанностям»<sup>17</sup>.

«Саратовский листок», как это видно из его публикаций, пытался по мере возможности осветить весь жизненный и творческий путь своего земляка. Так, 1 ноября того же года за подписью «протоиерей Р.» были напечатаны довольно обширные воспоминания о детских и юношеских годах Чернышевского<sup>18</sup>, а 9 ноября газета поместила подробнейший очерк о последних днях его жизни и о научной и литературной работе в этот период; здесь же были обнародованы псевдонимы Чернышевского<sup>19</sup>.

И, наконец, последние публикации саратовских газет на смерть Чернышевского: короткие объявления о панихиде в 40-й день кончины писателя и присланное в редакцию «Саратовского листка» письмо Ольги Сократовны Чернышевской от 28 ноября, где она писала: «Не имея возможности лично или письменно ответить на все полученные мною и получаемые до сих пор выражения соболезнования по случаю кончины дорогого и незабвенного супруга моего, Николая Гавриловича Чернышевского, решаюсь, посредством уважаемой газеты вашей, выразить всем лицам, удостоившим меня своим вниманием, мою искреннейшую и глубочайшую благодарность.

Примите уверения и пр. *Ольга Чернышевская*»<sup>20</sup>.

Это письмо — свидетельство того, что саратовцы еще долгое время после смерти Н. Г. Чернышевского выражали глубокие соболезнования по поводу его кончины.

---

<sup>16</sup> Об отказе Н(икифорова) посетить больного Чернышевского писали в свое время современники писателя А. Лебедев и М. Н. Пыпин. (См.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II, стр. 366, 371).

<sup>17</sup> «Саратовский Дневник», 1889, 25 октября, № 228.

<sup>18</sup> См.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. I, стр. 19—23.

<sup>19</sup> «Саратовский листок», 1889, 9 ноября, № 241.

<sup>20</sup> Там же, 28 ноября, № 255.

## ИЗ АРХИВНЫХ РАЗЫСКАНИЙ

---

Труды и личность Чернышевского имели совершенно исключительное значение для современников. Имя его было окружено ореолом мученичества за народное дело, а Некрасовым было соотнесено с именем Христа («Его еще покамест не распяли...»).

Стихотворение Г. А. Мачтета на смерть народовольца П. Ф. Чернышева, написанное в 1876 году, но получившее особенную известность в конце XIX—начале XX века, стало связываться со смертью Чернышевского. На родине революционера, в Саратове, это приурочение наблюдалось нередко. Пояснение «На смерть Чернышевского» существовало либо как подзаголовок к авторскому названию («Последнее прости») <sup>1</sup>, в других случаях являлось самостоятельным заголовком <sup>2</sup>. Это не было сознательной переадресовкой: просто имя и судьба Чернышевского, а затем репрессии против позднейших революционеров дали новую жизнь произведению о малоизвестном народнике. Здесь произошло как бы своеобразное проявление фольклорной традиции: переадресовка исторической песни или плача не влечет каких-либо существенных перемен в тексте.

Велико было воздействие Чернышевского на воспитание гражданских чувств земляков. Об этом определенно высказался известный народник И. И. Майнов: «Благодаря влиянию Чернышевского, о котором остались в Саратове самые светлые воспоминания, в саратовском обществе было более чем в других поволжских городах людей либерально и даже радикально настроенных» (речь идет о 60—70-х годах

---

<sup>1</sup> ГАСО, ф. 53, е. х. 324, л. 88, 1907 (рукописная тетрадь).

<sup>2</sup> Там же, ед. хр. 12, т. 1, л. 276, 1906 (гектографированный песенник).

XIX в.)<sup>3</sup>. Сообщая о настроениях интеллигенции конца XIX—начала XX в., местный экономист Г. Саар писал: «...в некоторых слоях саратовской интеллигенции сохранились предания о временах расцвета «Земли и Воли» и «Народной Воли», когда в Саратове были довольно крупные группы активных революционеров народнического толка... Помнили и Чернышевского, умершего в Саратове в 1889 году»<sup>4</sup>.

Эти суждения могут быть подтверждены данными из дел Саратовского Губернского Жандармского Управления (СГЖУ). Собранные воедино, они документально проиллюстрировали бы популярность имени и произведений Чернышевского среди разных общественных слоев, притом не только в кругах интеллигенции, но и революционеров из крестьян. В следственных материалах, в описях «вещественных доказательств» или «списках книг для чтения» упоминаются произведения Чернышевского, художественные, социально-экономические, политические.

В 1900—1901 годах Жандармское управление расследовало дело, по которому привлекалась главным образом молодежь: сын коллежского регистратора А. Альтовский, дворянин Б. Селаври, ученики саратовского средне-технического училища М. Истомин (из камышинских мещан), Н. Олигер, М. Габрилович, слушательницы саратовской фельдшерской школы А. Кузьмина, Е. Ошанина и др.<sup>5</sup>

Вечеринки, организуемые ими на рождественские каникулы, собирали до 170 человек учащихся и рабочих. Эта группа, по агентурным донесениям, была близка социал-демократическим идеям. Семнадцатилетний гимназист А. Альтовский на вечере 28 ноября 1899 года произнес речь, которая в общих чертах сводилась к тому, что «социал-демократизм у нас в России в настоящее время преобладает над другими течениями, роль дворянства, несмотря на различные поддержки правительства, падает, а потому следует всякими средствами поддерживать рабочих и стремиться к социальной революции»<sup>6</sup>.

Соответственно этой программе постановлением другой нелегальной вечеринки (24 декабря) было: 60% сборов уделять на революционную пропаганду среди рабочих, на помощь политическим ссыльным и заключенным, на нелегальную литературу<sup>7</sup>. В секретном донесении говорилось: «Вечера эти устраивались исключительно студентами социал-демократами и марксистами... Революционная интеллигенция очевидно за-

<sup>3</sup> И. И. Майнов. Революционные кружки в Саратове. СПб., 1906, стр. 6.

<sup>4</sup> Г. Саар. Саратовская промышленность в 90-х и в начале 900-х годов. Саратов, 1928, стр. 3.

<sup>5</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 42, т. I, II, III. 1900—1901.

<sup>6</sup> Там же, т. I, л. 8.

<sup>7</sup> Там же, л. 12 об.

далась целью принять все меры к большему сосредоточению и изысканию всяких средств к поддержанию господствующего теперь социал-демократического направления, признавая одно его лишь вполне целесообразным в борьбе против правительства»<sup>8</sup>.

22 и 23 марта 1900 года охранка от слежки перешла к обыскам и арестам. Среди отобранных литературных произведений в деле есть рукописная «Исповедь» Л. Толстого (лл. 381—400), сказка Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» (лл. 421—433), фотография «Салтыков-Щедрин в лесу», «рисованный от руки портрет известного эмигранта Александра Ивановича Герцена», переписанные различные революционные песни и стихотворения и т. д. Другие произведения, взятые при обыске, перечисляются в протоколе. Среди них значатся и сочинения Чернышевского или о нем написанные. Так, у Истомина взята «брошюра в 225 стр. под заглавием «Пролог», роман из начала 60-х годов, ч. I «Пролог пролога», изд. Лондонской революционной газеты «Вперед», 1877». Речь идет о первом, нелегальном издании этого романа Чернышевского за границей, которое осуществил П. Л. Лавров<sup>9</sup>. У него же взяты и, по квалификации жандарма, «революционные сочинения» — «Воспоминания о Чернышевском» и «Чудная» Короленко, — как известно, тоже сначала напечатанные за границей<sup>10</sup>.

В «Списках литературы для самообразования», отобранных у разных лиц, значатся «Очерки гоголевского периода», «Антропологический принцип в философии», «Примечания к политической экономии» Милля, «Русский человек на rendez vous», статьи 60-х годов из «Современника» и другие сочинения Чернышевского.

В деле, под заголовком «Бумаги Николая Иванова Ракитникова, отобранные по обыску в квартире Марьи Николаевой Альтовской», сохранился дневник, судя по содержанию, женский. Он без обложек и без начальных листов. Рукою официального лица карандашом надписано: «Статьи о Чернышевском».

На самом деле эта тетрадка представляет собою соединение личных дневниковых записей со статьями о Чернышевском, стихотворениями, рассказом о Ходынской катастрофе и др. — всего 40 с лишним листов. Тетрадь исписана разными почерками и составлялась на протяжении нескольких лет. В первой половине тетради находятся записи, касающиеся Чер-

<sup>8</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 42, т. I, II, III, 1900—1901, л. 15.

<sup>9</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIII, М., Гослитиздат, 1949, стр. 910.

<sup>10</sup> В. Г. Короленко. Собр. соч., в 10-ти тт., т. I, М., Гослитиздат, 1955, стр. 484; т. 8, стр. 464.

нышевского. По содержанию записок можно установить, что они относятся к 1889 году, году его смерти. В них зафиксированы некоторые события саратовской жизни, нашедшие отражение и в местной печати, что позволяет их точно датировать.

На первом сохранившемся листе (начало записок отсутствует) автор воспроизводит картину пожара, которую она сама наблюдала. Под датой «среда 4 октября» сообщается: «пожары у нас каждый день и служат обширную тему для разговоров в школе. Разбиваются на кружки... Душою всех этих кружков бывает Федя, простой мальчик, который живет на горах, где всего чаще пожары, и поэтому он много чего может сообщить этим баричам». Дальше речь идет о рассказанном Феей случае, когда бросившийся в горящее здание спасти деньги лавочник сгорел (л. 318). В осенних номерах «Саратовского листка» почти ежедневно печатались известия о пожарах в городе и уездах. В номере от 29 сентября писалось: «Пожары стали снова повторяться чуть ли не ежедневно». А 3 октября, во вторник, «Саратовский листок» подробно рассказывал об эпизоде со сгоревшим лавочником Тимофеевым.

Под датой «4-го в субботу, ноябрь»<sup>11</sup> следует запись: «Стараюсь собирать разные сведения о Чернышевском, потому делаю выписки из одной газеты, в которой писал о нем один из его товарищей по семинарии, протоирей...» И далее идут целиком и почти слово в слово переписанные из «Саратовского листка» от 1 ноября 1889 года воспоминания А. И. Розанова (лл. 319—325).

Им предшествует стихотворение «На смерть Ч...», принадлежащее автору дневника, первоначальный, неотделанный набросок с зачеркнутыми строчками. Поэтически беспомощное, подражательное, риторическое стихотворение привлекает пусть неумелым, но искренним выражением чувства восхищения Чернышевским, верой в его бессмертие: «...слова Его святые открыто будут говориться всем... Все будут прославлять Его, Апостола любви, свободы, и науки. Не умер Он. Не клеветите злобно, враги трех истин сил» (л. 319 и об.).

Несомненно, владелица дневника была захвачена лично стью Чернышевского, полная трудов жизнь его вырисовывалась не только из воспоминаний протоиерея, переписанных в дневник, но и из сочувственного некролога: «Один из образованнейших русских людей, человек необычайной работоспособности, замкнутой, уединенной жизни, в кругу знакомых отличавшийся редким одушевлением и говорливостью, высоких житейских правил и незлобивый, кроткий человек»<sup>12</sup>.

В кругах саратовской интеллигенции уже давно сложились

<sup>11</sup> 4 ноября 1889 г. — действительно шестой день недели.

<sup>12</sup> «Саратовский листок», 1889, 17 октября. Приложение к № 222.

совершенно определенные представления о Чернышевском как о человеке редких достоинств, гражданских и личных.

Несомненно, эти материалы и изустные рассказы, сохранившие черты живого революционера, очень много значили для революционной молодежи, знакомой с Чернышевским лишь по его сочинениям. Образ его вдохновил эмоциональную, жаждавшую подвига девушку на стихотворный опус и наложил отпечаток на другие материалы и записи ее дневника.

Следом за воспоминаниями Розанова в дневник переписана статья «Последние труды Чернышевского» (лл. 324—327). В ней подробно рассказывается о работе Чернышевского над переводом «Всеобщей истории» Вебера, «Материалами для биографии Н. А. Добролюбова» и пр., сообщаются его псевдонимы, описывается образ жизни его в Саратове. Статья эта принадлежит секретарю Чернышевского К. Федорову. Другой ее экземпляр, под заглавием «Библиография. Последние ученые и литературные труды Н. Г. Чернышевского», написанный иным почерком на бумаге другого формата, вшит в дневник и подписан: «К. Федоров». Сверху рукой владелицы дневника надписано: «Из Саратовского листка». Действительно, эта статья К. Федорова была напечатана в номере 241 от 9 ноября 1889 года.

Едва ли это размножение сведений о последних работах Чернышевского имело чисто познавательное значение. Речь могла идти о практическом их использовании. По-прежнему важной задачей времени оставалась подготовка кадров профессиональных революционеров на новом этапе «борьбы за рабочее дело», к которой серьезно готовило себя новое поколение революционной молодежи. В этой подготовке первостепенное значение имело чтение.

Чернышевский являл собой идеал революционного деятеля. В его преданности идее большую роль сыграло нравственное мужество. Смерть великого демократа обострила гражданские чувства молодежи, и долг перед народом осознавался ею также под влиянием личности Чернышевского и его трудов.

Высказанное в начале дневника намерение собирать сведения о прославленном земляке увлекает его владелицу. Она даже приписывает Чернышевскому не принадлежавшее ему стихотворение, в котором усматривает предсказание им своей собственной судьбы. «Помещаю, — фиксируется в дневнике, — здесь одно стихотворение Чер... на смерть Достоевского, но теперь, когда он также последовал за своим предшественником, оно может настолько же относиться и к нему:

Суров ты был, ты на рассвете жизни  
Умел расоудку страсти подчинять.  
Учил ты жить для славы, для отчизны,  
Но более учил ты умирать... и т. д. (л. 328).

Стихотворение Некрасова «Памяти Добролюбова» воспроизведено точно по тексту «Современника», в котором оно было напечатано впервые без посвящения и имени автора. В глазах девушки гражданский облик и общественное значение прославленной в стихотворении личности совпали с обликом Чернышевского.

В дневнике помещены и другие стихотворения. В них выражены чувство неудовлетворенности настоящим положением, думы о жизни содержательной, общественно значимой, готовность на жертву «за святое дело».

Так личность Чернышевского-революционера определила содержание такого интимного жанра, как дневник<sup>13</sup>.

Приобщение рабочих и крестьян к чтению специально подобранной литературы, социально-политической и художественной, издавна шло через интеллигенцию, которая вовлекала их в различные кружки.

Из дела о первом саратовском социал-демократическом кружке В. Костровского видно, что «списки книг для читателя среднего развития» ориентировали рабочих в выборе книг и предусматривали овладение всесторонними знаниями. При обыске один такой список был обнаружен в ящике рабочего мастерских завода Гантке Матвея Фишера, и в нем значатся сочинения Некрасова, Щедрина, Слепцова и др., а также «Что делать?» Чернышевского<sup>14</sup>.

Другое дело, прекращенное за недостаточностью улик, свидетельствует уже о непосредственном знакомстве с романом «Что делать?» бывшего крестьянина Ивана Вавиловича Фомина, служащего Управления Рязано-Уральской железной дороги. Он происходил из крестьян Алентьевской волости Хвалынского уезда и не терял связи с односельчанами. При обыске 22 февраля 1906 года у него были отобраны: рукописное Евангелие Толстого, листок № 2 саратовских социалистическо-революционеров «Хватило бы на всех земли», Программа саратовского общества сельского хозяйства, экземпляр Программы РСДРП, письма разных лиц и другие бумаги. Среди

---

<sup>13</sup> С известной долей вероятности можно считать, что владелицей дневника была старшая сестра Аркадия Альтовского Инна, в 80-е годы после окончания Саратовской Марининской гимназии работавшая учительницей. Затем она вышла замуж за кандидата прав Петербургского университета Н. И. Ракитникова, известного народовольца 80—90-х годов, в будущем видного социалиста-революционера. Она и сама была активной деятельницей этой партии в Саратовской губ. (см. «Каторга и ссылка, XLVII). Во время ареста брата она была в Берлине (ГАСО, ф. 53, ед. хр. 42, л. 315, т. 1, 1900—1901), бумаги же оставались у матери, были отобраны при обыске и в протоколе обозначены как бумаги Н. И. Ракитникова.

<sup>14</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 111, 1900.

них взята и занесена в протокол «рукопись на 2-х листах к роману «Что делать?»<sup>15</sup>. Речь идет о романе Чернышевского. Рукопись уцелела в деле среди неполностью сохранившихся вещественных доказательств.

Иван Фомин, судя по его письму к алектеевскому старосте и характеристике, данной хвалынским исправником в донесении, был человек беспокойный. Он «натравливает крестьян о завладении земельными угодиями графа Воронцова-Дашкова, и сулит обществу составить и выслать приговор, а старосту Константинова воодушевляет не бояться кутузок, не поддаваться различным личностям выше стоящим и к тому же агитировать крестьян».

В письме в волость на имя некоего Осипа Егоровича Иван Фомин благодарит крестьян за то, что они доверили ему представлять волость на сельскохозяйственном съезде и просит выслать точные сведения о крестьянских земельных наделах и арендах, ценах за нее, падеже скота и т. п., необходимые ему для выступления на съезде. При этом он внушает адресату, что не следует бояться высказывать мнение о том, что барская земля должна бесплатно перейти крестьянам» (л. 526). В деле есть приговор с. Ивановки, посланный Ивану Фомину, видимо, в ответ на его запрос, в нем идет речь о «крайнем разорении» крестьян (л. 527).

Среди бумаг этого энергичного ходатая по крестьянским делам есть и заметки, озаглавленные «К роману Чернышевского» «Что делать?». Они сделаны на двух продолговатых листах линованной бумаги, исписанных с одной стороны неизвестным почерком (не Фомина). В этих предельно фрагментарных заметках, однако, схвачены основные моменты сюжета, важные стороны идейного содержания романа и его образов. Особое место отведено Вере Павловне как главному лицу «по деятельности и защите свободы женщин», а также как устроительнице мастерских. Обращает на себя внимание и фигура Рахметова, отдающего личные средства на дело просвещения и революционной агитации. Эти заметки скорее всего являются памяткой или конспектом к беседе-лекции о «Что делать?» как замечательном социальном романе, в центре которого — новые люди.

В практике так называемых «кружков для саморазвития», легальное наименование которых скрывало антиправительственные политические объединения, давно установилась традиция «литературных чтений». Обязательным моментом их было пояснение, комментирование. В кружки, число которых возросло в 90-е годы, широко вовлекались рабочие. Из дела о «новых народовольцах» известно, например, что на их собра-

<sup>15</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 12, т. II, л. 520, 1906.

ниях особенно часто читались и толковались произведения Щедрина<sup>16</sup>.

Но и сочинения Чернышевского, личность его были не менее авторитетны в этом кружке. При обыске у членов кружка отбирались и экономические сочинения Чернышевского, и его роман «Что делать?»<sup>17</sup>, а также «фотографические карточки социальных писателей — Лассалья, Николая Чернышевского» (по квалификации протокола). Фотографические карточки Прудона, Герцена, Лассалья, Чернышевского отбирались часто при обысках у членов революционных кружков, причем они размножались для распространения: у сына статского советника Лебедева обнаружено три фотографии Чернышевского, две — Прудона, две — Герцена, у жены крестьянина и слушательницы акушерской школы Дивеевой две — Прудона, одна — Чернышевского<sup>18</sup>.

Надо думать, что пересказ содержания романа «Что делать?», принадлежащий Фомину, служил тем же целям образовательного чтения и бесед в широкой аудитории.

Память о Чернышевском в кругах русской интеллигенции не затухала никогда. Но после смерти его в Саратове и в связи с подъемом революционного движения в конце XIX — начале XX века интерес к его личности вспыхнул с новой силой. Читали его произведения. Читали воспоминания о нем<sup>19</sup>.

Портрет Чернышевского был помещен на адресе, приготовленном саратовцами Н. К. Михайловскому в связи с его 80-летием. «...На первом плане, — доносилось в СГЖУ об адресе, — портрет Михайловского, а затем около него, в какой-то дымке, целый ряд портретов других писателей либерально-

<sup>16</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 22, т. II, 1898—1900.

<sup>17</sup> Издание журнала «Современник», а не «заграничное, подлежащее отобранию», — писали в жалобе прокурору саратовской Судебной палаты арестованные, требуя возвращения романа (ф. 53, ед. хр. 22, т. II, 1898—1900). У писца Саратовской губернской земской управы Р. С. Кравченко при обыске было отобрано более 30 тетрадей, наполненных революционными стихотворениями, выдержками из разных сочинений Карамзина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова и др. В восьмой тетради, — говорится в протоколе, — «Выписка из статьи «Что делать?» Чернышевского... на 8 1/2 листах обыкновенной писчей бумаги» (ф. 9, оп. 1, ед. хр. 478, л. 15 и 25, 1886). По-видимому, речь идет о романе Чернышевского.

<sup>18</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 22, т. II, 1898—1900. Как правило, в делах фотографические карточки не сохранились. Но в деле о бывшем ученике Саратовского реального училища В. Штейнберге и др. сохранились фотографии К. Маркса, Бакунина, Герцена, Чернышевского (ф. 53, ед. хр. 23, т. II, 1897).

<sup>19</sup> Среди отобранных сочинений о нем значатся и «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского на каторге и ссылке» П. Николаева. СПб., 1907 (ф. 53, ед. хр. 9, т. II, 1908).

го<sup>20</sup> направления, как-то: Герцена, Добролюбова, Елисева, Лаврова, Салтыкова и Чернышевского...»<sup>21</sup>.

Русская революционная интеллигенция раньше историков литературы вписала Чернышевского в ряд борцов за социальное преобразование общества.

---

<sup>20</sup> Зачеркнуто: «народнического».

<sup>21</sup> ГАСО, ф. 53, ед. хр. 114, 1900. История с адресом Михайловскому в Саратове выросла в настоящий скандал. В связи с запрещением Министром Внутренних дел публичного чествования критика и нарушением этого запрещения в Саратове была расклеена прокламация «Подвиги полиции в чествовании Н. К. Михайловского», и в СГЖУ появилось дело за номером 114. Интеллигенция, учащиеся, рабочие твердо отстаивали свое право на посылку адреса «самому прогрессивному из современных писателей».

## **СТРАНИЦЫ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ ДОМА-МУЗЕЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. ПАМЯТИ А. П. СКАФТЫМОВА**

---

Светлую память в истории Дома-музея Н. Г. Чернышевского оставил по себе доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Александр Павлович Скафтымов.

Из его личного дела, хранящегося в музейном архиве, видно, что он работал в должности заместителя директора по научной части с 1 октября 1944 г. по 1 декабря 1945 г. Но деятельность А. П. Скафтымова, посвященная изучению жизни и литературного наследия Н. Г. Чернышевского по архивным материалам музея, его творческая связь с музеем и руководство его научной работой выходит далеко за пределы официального годового срока. Кстати, необходимо указать, что в одну из рубрик этого «дела» вкралась описка, по-видимому, объясняемая рассеянностью или торопливостью. На вопрос «Стаж музейной работы» А. П. Скафтымов отвечает: «С 1934». На самом деле автору этих строк выпала честь впервые открыть двери музея Александру Павловичу Скафтымову в июле 1924 года, когда после смерти основателя музея Михаила Николаевича Чернышевского молодой ученый ввел в маленький домик с мезонином первую экскурсию своих студентов и организовал первый архивный семинар для них. Одновременно сам он приступил к изучению архивных материалов и библиотеки музея.

Несколько раз А. П. Скафтымовым были организованы семинары по изучению Н. Г. Чернышевского и его эпохи для студентов педагогического института и Саратовского университета. Особенно памятными остались архивные семинары в музее, например, в 1924 году, когда еще не было в музее чи-

тального зала и дом еще только дождался капитального ремонта и реставрации. Столики были расставлены на большой веранде дома для 12-ти человек, которые по двое знакомились с архивом М. Н. Чернышевского: расшифрованными и скопированными его рукою дневниками Николая Гавриловича, «Мелкими рассказами», документами и проч.<sup>1</sup> Студенты исправно посещали этот семинар в течение двух недель. Необычайная обстановка — занятия на свежем воздухе под кровом старинного исторического дома — действовала на них вдохновляющим образом.

В учебном 1924—1925 году зимой в музее занимались студенты гуманитарного отдела педагогического факультета Саратовского университета. Это были участники семинара проф. А. П. Скафтымова по истории русской критики. Работа их состояла в изучении эпохи 60-х годов и ее главных представителей. По запискам А. П. Скафтымова студенты приходили заниматься в еще не устроенном музее, где находили редкие издания, собранные М. Н. Чернышевским из библиотеки его отца<sup>2</sup>.

Вместе с тем А. П. Скафтымов проводил большую работу как член научного общества краеведения и научного общества литературоведения, выступая с докладами о Н. Г. Чернышевском и участвуя в обсуждении докладов других членов этих обществ. Первым общественным выступлением А. П. Скафтымова был доклад 23 мая 1924 года в саратовском университете на торжественном заседании памяти М. Н. Чернышевского совместно с другими учеными Саратова.

А. П. Скафтымов являлся одним из основоположников первой музейной экспозиции, как активный участник комиссии по организации Дома-музея, развернувшей свою работу по предложению начальника музейного отдела Наркомпроса С. П. Григорова в 1926—1927 гг.<sup>3</sup> Комиссией был выработан план экспозиции по биографическому принципу, который лег в основание всех последующих экспозиций музея. 6 ноября 1927 г. состоялось открытие первой экспозиции.

В течение ряда лет памятные даты Н. Г. Чернышевского (30-летие и 50-летие со дня смерти, 100-летие, 120-летие, 125-летие со дня рождения), а также 25-летие музея проводились на родине писателя в торжественной обстановке и вызывали

---

<sup>1</sup> Сведения об этом первом семинаре не вошли в годовой отчет музея, но запечатлены в записной книжке зав. музеем в 1924 году (личный архив).

<sup>2</sup> Гос. Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Годовой отчет о деятельности музея с 1 октября 1924 по 1 октября 1925 г. Оп. № 1, ед. хр. № 153, д. № 4, л. 2 об.

<sup>3</sup> Архив Дома-музея Н. Г. Чернышевского. Документы по истории Дома-музея. Протоколы производственных совещаний. Дело № 1, оп. 1, ед. хр. 52. Нач. 5 декабря 1926, окончено 11 января 1927. На 8 листах.

к жизни новые общественные мероприятия и выступления в печати. А. П. Скафтымов был активным руководителем редакционных комиссий по подготовке нескольких сборников в Саратове. Для этих сборников им подготовлен к печати ряд обширных трудов о Чернышевском по рукописям, хранящимся в архиве музея. Сюда вошли статьи «Н. Г. Чернышевский и Жорж Санд», «Неизданная повесть Н. Г. Чернышевского «Отблески сияния» среди его сибирской беллетристики», комментарии к «Мелким рассказам» Н. Г. Чернышевского, статья «Чернышевский и Плещеев», «Художественные произведения Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости». Архивные материалы музея были использованы в сборниках «Звенья» под редакцией В. Д. Бонч-Бруевича: «Стихотворения Кольцова» (1934) и «Письмо о цензуре» (1936).

Вместе с тем А. П. Скафтымов редактировал работы сотрудников музея для сборников и вообще помогал им консультацией и научными пособиями. Так, была оказана помощь автору статей «Из литературных отношений Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву-Мясницкому», «Чернышевский после сибирской ссылки» и книг «Чернышевский в Саратове», «Летопись жизни Чернышевского».

С 1945 года Дом-музей Н. Г. Чернышевского был переведен из ведения Наркомпроса в ведение Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. Был организован Ученый совет музея. С этих пор в течение 10 лет А. П. Скафтымов был бессменным членом и заместителем председателя совета, сменив проф. В. Е. Евгеньева-Максимова по возвращении последнего в Ленинград из эвакуации. Деятельность Ученого совета процветала под руководством обоих ученых. Начиная с 1945 года, А. П. Скафтымов много раз выступал со своими научными работами в Доме-музее. Первый доклад им был прочитан к 200-летию со дня рождения Фонвизина под названием: «Чернышевский о Фонвизине»; подготовлена библиография «Изучение Н. Г. Чернышевского за 25 лет»; в саратовской областной газете «Коммунист» опубликована статья «Работа над литературным наследием Н. Г. Чернышевского»; на общегородском вечере и торжественном заседании, посвященном 25-летию Дома-музея, А. П. Скафтымов выступил с сообщением о научно-исследовательской работе музея. В школьном лектории для всех 9-х классов саратовских школ был прочитан доклад А. П. Скафтымова о романе «Что делать?»<sup>4</sup>.

А. П. Скафтымов принимал деятельное участие в научно-производственных совещаниях, например, в обсуждении текстов мемориальных досок на памятных зданиях Н. Г. Черны-

<sup>4</sup> Гос. Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Годовой отчет за 1945 год. Оп. 1; ед. хр. 164, д. 4, лл. 8, 10 об., 13.

шевского, в организации экскурсий в вузах, в привлечении новых участников и докладчиков для Ученого совета (например, А. П. Скафтымовым было получено согласие проф. Г. А. Гукковского выступить на тему «Творческий метод Чернышевского»).

Руководство А. П. Скафтымова сказывалось и в консультациях, дававшихся научным работникам музея. Надолго осталась в памяти его речь на юбилее директора музея в 1946 году в Доме Ученых. Незадолго перед тем А. П. Скафтымов выступал в качестве оппонента на защите ее диссертации «Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского». «Спустя несколько лет он принял на себя руководство по подготовке диссертации заместителя директора по научной части Б. И. Лазерсон на тему «Приемы подцензурной иносказательности в литературно-критических статьях Чернышевского»<sup>5</sup>.

В первой половине апреля 1945 года по инициативе А. П. Скафтымова в музее была проведена «Архивная практика над литературным наследством Н. Г. Чернышевского» для студентов 4-го курса филологического факультета в количестве 22-х человек. После обсуждения темы с профессором и подбора материала были проведены автором этих строк следующие разделы этого семинара:

1. Изучение текста диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», полностью представленной в виде фотокопий. Текст изучался со стороны цензурной его истории и по линии работы автора над стилем. Изучение рукописи сопровождалось сравнительным исследованием опубликованного текста в издании «Статьи по эстетике» (М., 1938), подготовленного по рукописи с комментариями и вариантами.

2. Методика работы по научному описанию рукописей Н. Г. Чернышевского на основании составленных музеем каталогов и научных описаний 1928, 1932 и 1941 гг.

3. Ознакомление с особенностями шифра (индивидуальной стенограммы Н. Г. Чернышевского) по тексту его дневника с привлечением руководства, составленного единственным знатоком этого шифра Н. А. Алексеевым<sup>6</sup>.

В сентябре 1948 г. в Доме-музее проходила научная конференция, посвященная 120-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского. С большим интересом был выслушан участниками конференции доклад А. П. Скафтымова «Изучение Н. Г. Чернышевского за годы советской власти». Впоследствии этот

---

<sup>5</sup> Гос. Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Годовой отчет за 1953 год. Оп. 1, ед. хр. 171, д. 4, л. 2. Название этой диссертации, защищенной в 1958 г., было изменено: «Приемы подцензурной иносказательности в публицистике Чернышевского».

<sup>6</sup> Гос. Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Годовой отчет за 1945 год. Оп. № 1, ед. хр. 163, л. 5.

доклад под названием «Изучение Н. Г. Чернышевского за 30 лет» был опубликован в «Ученых записках Саратовского гос. университета» (т. XIX, Саратов, 1948). Этот труд, созданный с привлечением материалов Дома-музея, содержал в себе не только перечисление новых работ о Чернышевском после Великой Октябрьской революции, но и методические указания по проработке этих материалов в освещении марксизма-ленинизма<sup>7</sup>.

Перу выдающегося литературоведа А. П. Скафтымова принадлежит ряд капитальных исследований о Н. Г. Чернышевском. К ним относятся труды, посвященные критическому анализу романов «Что делать?», «Пролог» и «Отблески сияния». Четыре раза выступал Александр Павлович в печати о первом из этих романов (1924—1939). Для ознакомления с рукописью романа были проведены занятия в Ленинградском отделении Центрархива в Ленинграде в 1924 году при содействии внештатного сотрудника музея В. А. Пыпиной. А. П. Скафтымовым было подготовлено к печати первое научное издание романа «Пролог» по авторской рукописи и списку М. Д. Муравского, хранящимся в Доме-музее. Занятия по сравнению текстов проходили в музейном мезонине, где еще не была восстановлена мемориальная комната Н. Г. Чернышевского (1933 г.). Обширные комментарии к «Прологу» Н. Г. Чернышевского, созданные А. П. Скафтымовым с предельной тщательностью и глубокой продуманностью, ввели в научный оборот такую тематику, как «История текста и принципы настоящего издания», «Исторические пояснения к персонажам романа»<sup>8</sup> и «Историческая действительность в романе»<sup>9</sup>.

Четыре раза (1928—1949) возвращался А. П. Скафтымов к анализу сложной, незаконченной и сохранившейся в отрывках повести Н. Г. Чернышевского (она же иногда называется романом) — «Отблески сияния».

Для А. П. Скафтымова характерно чрезвычайно вдумчивое, бережное отношение к художественному слову Чернышевского. Это бросается в глаза при изучении литературоведческого наследия саратовского профессора. Если проследить его первые научные публикации о романе «Что делать?» и «Отблески сияния», нельзя не увидеть, как отличаются от них последующие изыскания в сторону творческого развития темы и раскрытия социально-философской сущности произведения в свете марксистско-ленинских оценок<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Гос. Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Годовой отчет за 1948 год. Оп. № 1, ед. хр. 167, лл. 35—40.

<sup>8</sup> Н. Г. Чернышевский. Пролог. «Academia» 1936.

<sup>9</sup> Н. Г. Чернышевский. Пролог, Саратов, 1937.

<sup>10</sup> О романе «Что делать?» — см. сб.: Н. Г. Чернышевский, Саратов, 1926, стр. 92—140; сб.: Н. Г. Чернышевский, Саратов, 1939, стр. 212—233; Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского, Саратов, 1939, стр. 69—75;

Большим успехом у студентов пользовался спецкурс, прочитанный А. П. Скафтымовым в стенах Педагогического института и университета. Этот обзор жизни и деятельности революционного демократа нашел место в двух изданиях его биографии (1939 и 1947 гг.). Книжка составлялась в тесном контакте автора с сотрудниками Дома-музея Н. Г. Чернышевского, где хранился неизданный архив и создавались новые экспозиции. Сотрудники музея входили в число вольных слушателей спецкурса и отдельных лекций А. П. Скафтымова как в Педагогическом институте, так и в университете.

В заключение нельзя не упомянуть об участии еще молодого тогда саратовского профессора в подготовке к печати второго тома «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского для Госиздата в самом начале его работы в Доме-музее. Вместе с Н. А. Алексеевым, который организовал это трехтомное издание, А. П. Скафтымов подготовил комментарии к переписке Н. Г. Чернышевского 1838—1862 гг. В музее для этой книги изучались заметки М. Н. Чернышевского и собирались различные сведения биографического характера у проживавшей в музейной усадьбе двоюродной сестры Чернышевского Екатерины Николаевны Пыпиной. Этими сведениями пользовался А. П. Скафтымов и в своей первой статье о романе «Что делать?».

Повесть «Отблески сияния» сначала изучалась по хранившейся в музее рукописной копии М. Н. Чернышевского, так же как и «Мелкие рассказы», подготовленные А. П. Скафтымовым в 1926 и 1928 гг. для саратовских сборников. После поступления в музей богатого архива Н. Г. Чернышевского из Рукописного отделения Академии Наук советским ученым представилась возможность работать над подлинниками.

А. П. Скафтымов изучал подлинные рукописи Чернышевского и тексты его полного собрания сочинений, выпущенного Гослитиздатом за 1935—1953 гг. Им были подготовлены комментарии к трем беллетристическим томам (XI, XII, XIII).

Подводя итоги научной деятельности Александра Павловича Скафтымова в стенах Дома-музея Н. Г. Чернышевского более чем за 30 лет, нельзя не присоединиться к оценке ее в некрологах советских ученых, в которых отмечается широта охвата различных сторон художественного творчества Чер-

---

2-ое изд., Саратов, 1947, стр. 60—66; Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти тт., т. XI, Гослитиздат, М., 1939, стр. 702—720; Статьи о русской литературе, Саратов, 1958, стр. 162—183.

О романе «Отблески сияния» см. сб.: Николай Гаврилович Чернышевский, Саратов, 1928, стр. 245—270; Ученые записки Саратовского Гос. Педагогического института, вып. V, 1940, стр. 30—31; Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского, Саратов, 1939, стр. 90; то же, 2-ое изд., Саратов, 1947, стр. 79; Статьи о русской литературе, Саратов, 1958, стр. 235—237, 256—257; Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 906—908, 915.

нышевского, тщательность и глубина анализа литературных и критических произведений великого революционного демократа. Нельзя не вспомнить с глубоким уважением светлой личности гуманного и доброжелательного ученого, педагогическому таланту которого обязаны многие и многие выпуски энтузиастов-учителей и молодых ученых.

В истории Дома-музея Н. Г. Чернышевского деятельность А. П. Скафтымова останется дорогим памятным этапом на пути преобразования его в общепризнанный очаг высокой социалистической культуры.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

### А

- Авдеев М. В.* 105, 157, 224  
*Авенариус В. П.* 156  
*Азадовский М. К.* 9, 10, 11  
*Азбукин В. Н.* 143, 147  
*Азнауров А. А.* 124  
*Аксаков И. С.* 133  
*Аксаков С. Т.* 83  
*Александр П.* 68, 196, 198  
*Алексеев В. А.* 179, 180, 189  
*Алексеев Н. А.* 3, 173, 174, 175, 177, 178, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 280  
*Альтовская И.* 271  
*Альтовская М. Н.* 268  
*Альтовский А.* 267  
*Анненков П. В.* 56, 92, 94, 96, 98, 106, 107  
*Антонович М. А.* 88, 117  
*Аргиропуло П. Э.* 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 196, 197  
*Асмус В. Ф.* 23, 40, 48  
*Астахов В. Г.* 36, 79, 124  
*Ахшарумов Н. Д.* 104, 105

### Б

- Базанов Б. Г.* 9, 10  
*Базилевский В.* 143  
*Бакунин М. А.* 154, 158, 159, 160, 165, 166, 273  
*Банк В.* 58  
*Балашов И.* 165  
*Баллод П. Д.* 243  
*Баратынский Е. А.* 83  
*Бардина С.* 154  
*Барон Брамбеус* (см. Сенковский О. И.) 54  
*Барышев-Мясницкий И. И.* 277

- Басистов П.* 94  
*Баскаков В. Г.* 210  
*Бауэр К. В.* 235  
*Белик А. П.* 40  
*Белинский В. Г.* 9, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 34, 37, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 78, 80, 81, 85, 87, 89, 100, 107, 114, 124, 231  
*Берви-Флеровский В. В.* 144, 147  
*Берг Ф.* 13  
*Берков П. Н.* 91  
*Благосветлов Г. Е.* 168, 228  
*Боборыкин П. Д.* 155, 161  
*Боград В. Э.* 225  
*Бонч-Бруевич В. Д.* 277  
*Борев Ю. Б.* 44, 45, 46  
*Борзова Л.* 232  
*Бордюгов И. И.* 258  
*Боровой С.* 5  
*Боткин В. П.* 88, 89  
*Бочкарев В. А.* 5, 35, 84  
*Брокгауз Ф. А.* 227  
*Буеракин Г.* 74  
*Бурсов Б. И.* 32, 41, 52, 53, 75  
*Буш В. В.* 49  
*Бушканец Е. Г.* 250  
*Бушмин А. С.* 115  
*Бялый Г. А.* 5

### В

- Валуев П. А.* 177, 219  
*Варенцов В. Г.* 240  
*Васильев Н. В.* 243, 246, 247, 248  
*Введенский И. И.* 228  
*Вебер Георг* 264, 270  
*Венгеров С. А.* 227  
*Виленская Э. С.* 178, 179, 205  
*Виноградов В. В.* 101  
*Виноградов Г. В.* 9  
*Водолазов Г. Г.* 21, 24  
*Волк С. С.* 149  
*Воробьев В. 5*

Воронов Н. 240  
Воронцов В. П. 139, 149, 151, 152  
Воронцов-Дашков А. Р. 272  
Востоков А. Х. 236

## Г

Габрилович М. 267  
Гавр Н. 177, 218  
Гакстгаузен Август 144, 145  
Галахов А. Д. 251  
Гантке О. 271  
Гаркави А. М. 173, 174, 177  
Гайдебуров М. А. 158  
Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих  
12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86,  
90

Генрих IV Наварский 263  
Герцен А. И. 4, 55, 59, 60, 61, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  
71, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,  
88, 89, 90, 91, 124, 127, 135,  
138, 139, 142, 144, 147, 159,  
191, 196, 231, 252, 255, 257,  
268, 273, 274

Гёте Иоганн-Вольфганг 82, 83  
Гизо Франсуа Гильом 25  
Гин М. 94, 101, 143  
Гинзбург Л. Я. 5, 82  
Гоголь Н. В. 51, 78, 80, 81, 87,  
93, 97, 99, 113, 117, 240, 273  
Головачев А. 148  
Гончаров И. А. 72, 99, 101, 107,  
113, 114, 116, 117, 155, 156,  
162  
Гораций К.-Ф. 54  
Горизонтов И. П. 261, 263  
Грановский Т. Н. 83, 252  
Григорович Д. В. 93, 107, 113  
Григорьев С. И. 276  
Григорьев А. А. 3, 56, 77, 78, 79,  
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 99  
Грузинская Н. Н. 91, 92, 104  
Гуновский Г. А. 278  
Гуревич Х. С. 173, 216  
Гусев В. Е. 9  
Гусев С. С. 262

## Д

Даль В. И. 53  
Демерт Н. А. 143  
Демченко А. А. 96, 173, 176, 177,  
178, 254  
Державин Г. Р. 52  
Дмитрич А. 251

Дружинин А. В. 87, 88, 95, 96, 97,  
98, 99, 100, 102, 229  
Добролюбов Н. А. 3, 4, 21, 23, 41,  
49, 59, 60, 61, 72, 73, 75, 76,  
91, 92, 93, 96, 103, 104, 105,  
106, 107, 108, 109, 110, 111,  
112, 113, 114, 115, 117, 154,  
250, 251, 253, 254, 255, 256,  
257, 258, 259, 270, 271, 274  
Долгоруков В. А. 220  
Долинин А. С. 226  
Достоевский Ф. М. 61, 86, 93, 107,  
226, 249, 251, 270  
Дудышкин С. С. 99, 224, 225

## Е

Евгеньев-Максимов В. Е. 277  
Егоров Б. Ф. 72, 77, 85, 86, 224  
Екатерина II 195  
Елисеев Г. З. 139, 147, 150, 151,  
274  
Емельянов Н. П. 149  
Еремин П. П. 91, 101, 104, 108,  
109  
Ергольская Т. А. 123  
Ермилов А. В. 132  
Ермолаев П. Д. 247, 248  
Ермолов П. Е. 243  
Ефрон И. А. 227

## Ж

Жадовский 258  
Жанен Жюль 224  
Житков 175, 191, 192  
Жуков И. Г. 243, 247, 248  
Жорж Санд (Аврора Дюдеван)  
4, 274  
Жуковский В. А. 55  
Жуковский Ю. Г. 148  
Журбина Е. И. 5

## З

Загибалов М. Н. 243, 246, 247,  
248  
Замятин В. Н. 138, 140  
Засулич В. И. 142  
Зайчневский Н. Г. 179, 187, 188,  
189  
Зайчневский П. Г. 3, 178, 179, 180,  
181, 182, 183, 184, 185, 186,  
187, 188, 189, 190, 191, 192,  
193, 196, 197, 198  
Зевин В. Я. 209  
Зельдович М. Г. 48, 49, 57, 77,  
87, 228  
Зибер Н. И. 148, 150, 151, 152  
Златовратский А. П. 111, 139,  
254, 255

## И

- Извольский Н. 53  
 Иллерицкий В. Е. 140  
 Иловайский 240  
 Ильинский (художник) 181, 219, 220  
 Истомин Н. 267, 268  
 Итенберг Б. И. 139, 140

## К

- Кавелин К. Д. 63, 64, 68, 70, 113  
 Казаков А. П. 146  
 Каминская Б. 154  
 Караганов А. 21, 35  
 Каракозов Д. И. 155  
 Карамзин Н. М. 51, 273  
 Карамзина Л. 123  
 Карл I 207, 213  
 Карнович Е. П. 53  
 Капустин С. Я. 150  
 Каронин С. (Н. Е. Петропавловский) 139  
 Катков М. Н. 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258  
 Кагеновский М. Т. 51  
 Кестер 240  
 Кирпотин В. Я. 79, 86  
 Киро-Денжан 181  
 Кистер А. П. 181  
 Клеман М. К. 91  
 Ковалевский М. 150  
 Ковалевский П. 88  
 Коган М. С. 21, 42  
 Козьмин Б. П. 91, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 193  
 Кокорев И. Т. 107, 257, 258, 259  
 Кольцов А. В. 89, 234, 235, 277  
 Конради Е. И. 158  
 Константинов Ф. 272  
 Коробьин П. 184  
 Короленко В. Г. 259, 268  
 Коротков Ю. Н. 221  
 Корф М. А. 219  
 Косица Н. (Н. Н. Страхов) 230  
 Костровский В. 271  
 Костомаров Н. И. 11, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 184, 234, 239, 241  
 Костомаров В. Д. 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 218, 219, 220, 221  
 Костычев П. 148  
 Котелянский Л. 148  
 Котляровский Н. А. 55  
 Котошихин Г. П. 234, 235  
 Кравченко Р. С. 273  
 Крейнц Г. К. 221

- Кривенко С. Н. 139, 147, 149  
 Кузьмина А. 267  
 Куликов Ю. В. 185, 193  
 Кутейников Н. С. 148  
 Куцевский И. А. 155, 162

## Л

- Лаврецкий А. 23, 41, 49  
 Лавров П. Л. 154, 160, 246, 268, 274  
 Лазаревский 221  
 Лазерсон Б. И. 278  
 Лапина Л. 232  
 Лассаль Фердинанд 273  
 Лебедев А. А. 5, 265, 273  
 Лебедев С. И. 113  
 Левита Р. 144  
 Лежнев И. Г. 39, 40, 49, 56  
 Ленин В. И. 18, 21, 23, 27, 37, 38, 42, 43, 58, 103, 121, 141, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 167, 254  
 Ленский Б. П. (Б. П. Онгирский) 148  
 Лемке М. К. 180, 181, 182, 189, 190, 191, 192, 196, 203, 204, 210, 218, 219  
 Лермонтов М. Ю. 78, 273  
 Лесков Н. С. 206  
 Лессинг Готхольд-Эфраим 81  
 Лифищ М. А. 35, 36  
 Ломтев Е. И. 240  
 Лотман Ю. М. 124  
 Лукин В. Н. 143  
 Лундчарский А. В. 37, 39, 40, 41, 44, 49  
 Любатович О. 154  
 Любимов Н. А. 251, 252, 253, 254, 256, 257, 259  
 Людовик XVI 207, 213

## М

- Макаровская Г. В. 5, 20  
 Малкин В. А. 91  
 Майков А. Н. 84, 94, 105, 110, 111, 125  
 Майков В. Н. 89, 90  
 Майков И. И. 266  
 Маркс Карл 32, 35, 37, 38, 39, 142, 144, 146, 148, 149, 268, 273  
 Масанов И. Ф. 262  
 Мартынов И. А. 91  
 Марчик А. П. 77  
 Матченко И. П. 223  
 Мачтет Г. А. 266  
 Мельгунов С. 99  
 Мей Л. А. 105

Мейер Д. И. 74  
Миллер О. 251  
Милль Джон Стюарт 268  
Митин М. Б. 35  
Михайлов М. Л. 112, 156, 174, 175,  
176, 178, 179, 183, 184, 200, 201,  
202, 203, 204, 208  
Михайлов И. 267  
Михайловский Н. К. 139, 144, 145,  
146, 148, 149, 150, 274  
Могилянский А. 91  
Можарова А. (Псевдоним: А. М.)  
186, 187, 188.  
Муравский М. Д. 243, 246, 248, 279  
Муравьев М. Н. 186  
Мушин Б. З. 143

## Н

Надеждин Н. И. 52, 54  
Назаревский А. 226, 228  
Некрасов Н. А. 51, 61, 92, 93, 143,  
206, 225, 226, 228, 230, 231, 266,  
271, 273  
Негаев С. Г. 165  
Нечкина М. В. 173, 174, 179, 184,  
191, 196, 199, 200, 204, 205,  
208, 210  
Никитенко А. В. 53, 236  
Николаев М. П. 5, 177, 218, 244  
Николаев П. Ф. 243, 244, 245, 247,  
248, 273  
Николаев П. А. 39, 41  
Никольская Е. И. 250  
Никольский Б. Н. 225, 226

## О

Обручев Н. Н. 201  
Оганян Н. С. 91  
Оксман Ю. Г. 5  
Огарев Н. П. 60, 63, 159, 180, 181,  
183, 191, 196, 197, 198  
Олигер Н. 267  
Онгирский Б. П. (См. Б. П. Лен-  
ский) 148  
Островский А. Н. 78, 84, 85, 93, 94,  
95, 97, 107, 108, 224, 251  
Ошанина Е. 267

## П

Панаев В. А. 63  
Панаев И. И. 99, 224, 225  
Пантелеев Л. Ф. 184, 198, 258  
Пасхалова А. Н. 11  
Пекарский П. П. 52  
Перовский П. 219  
Петр I 46  
Петров А. 192

Петров С. М. 47  
Петровский-Ильенко Н. 181, 182  
Пинаев М. Т. 139  
Писарев Д. И. 53, 92, 101, 104, 112,  
113, 114, 115, 116, 117, 118,  
164  
Писемский А. Ф. 3, 91, 92, 93, 94,  
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 118  
Плеханов Г. В. 21, 27, 32, 33, 36,  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
79, 81  
Плещев А. Н. 277  
Погодин М. П. 136  
Погорельский А. 228  
(А. А. Перовский)  
Покровский М. П. 189, 210  
Покусаев Е. И. 5, 47, 140, 143, 160  
Полевой Н. А. 51  
Полевой П. Н. 251  
Полонский Я. П. 93  
Порох И. В. 60, 61, 65, 66, 70, 175,  
176  
Постников А. 148  
Потапов А. Л. 175, 176, 198  
Потехин А. А. 105, 106, 107  
Позрио Карло 64, 65, 66, 67  
Протопопова Е. С. 83, 84  
Прудон Пьер Жозеф 273  
Пруцков Н. И. 91  
Пустовойт П. Г. 91  
Путилин 203  
Пушкин А. С. 46, 51, 78, 80, 87, 89,  
92, 122, 234, 235, 246  
Пыпин А. Н. 4, 49, 93, 232, 233,  
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,  
242, 250, 251, 253, 255, 263  
Пыпин М. Н. 260, 263, 265  
Пыпин Н. Д. 232, 233, 234, 235, 241  
Пыпин С. Н. 232, 235, 240  
Пыпина А. Е. 232, 233, 234, 235,  
236, 237, 238, 239, 241  
Пыпина В. А. 279  
Пыпина В. Н. 232, 234  
Пыпина Е. Н. 232, 239, 240, 241,  
242, 280  
Пыпина П. Н. 232

## Р

Радищев А. Н. 4  
Разин С. Т. 18, 19  
Ракитников Н. И. 268, 271  
Рассадин Ст. 48  
Редкин П. Г. 83  
Рейсер С. А. 173, 174, 175, 178, 199,  
200, 201, 210, 213  
Реуэль А. Л. 144, 148

Рейхель М. К. 62  
Решетников Ф. М. 99, 155, 158  
Розанов А. И. 269, 270  
Розенталь М. 39  
Роткович Я. А. 5  
Рошаль А. А. 91  
Ройтберг Л. 178, 179, 205  
Рулье К. Ф. 83  
Рылеев К. Ф. 89

### С

Саар Г. 267  
Сваричевский 179, 189  
Сакулч П. Н. 77  
Салтыков-Щедрин М. Е. 58, 73, 74,  
91, 99, 139, 143, 144, 149, 154,  
155, 156, 159, 166, 168, 268,  
271, 273, 274  
Самсонова А. Л. 75  
Свердлин С. В. 257  
Северин-Смоленский Селаври 179  
Сенковский О. И. 54  
Сераковский С. И. 200, 212  
Серно-Соловьевич Н. А. 156  
Сигрист А. 22  
Скабичевский А. М. 154, 251, 255  
Скалдин (Ф. П. Еленев) 143, 144  
Скафтымов А. П. 4, 5, 6, 72, 85,  
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281  
Скворцов А. 150  
Славутинский С. Т. 105, 107, 108  
Слепцов А. А. 173, 176, 200, 201,  
271  
Смирнов В. Б. 154  
Смирнова С. 155, 166  
Собещанский И. Ф. 177, 178, 179,  
219  
Соколов П. П. 175  
Соколовский П. А. 148  
Сократ 30, 31, 33  
Солдатенков К. Т. 59, 250  
Соловьев Г. 21  
Сороко И. К. 175, 179, 181, 182,  
183, 204  
Стасюлевич М. М. 157  
Стахович С. Д. 243  
Стеклов Ю. М. 43, 210  
Степанов Д. Т. 243, 247, 248  
Страхов Н. Н. 88, 89, 223, 224, 225,  
226, 227, 228, 229, 230, 251  
Спиридонов В. С. 85  
Субботины (сестры) 154  
Сукиасова-Артемьева С. Б. 250  
Сулин Я. 175, 177, 178, 179, 181,  
182, 183, 203, 204, 219, 220

### Т

Тимофеев Л. И. 269

Ткачев П. Н. 154, 161, 163, 164,  
166, 168  
Токарский А. А. 250  
Толстая А. А. 122, 123, 133  
Толстой Л. Н. 3, 93, 95, 97, 107,  
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,  
133, 134, 135, 137, 227, 240,  
268, 271, 272  
Толстой (Член Совета Главного  
управления по делам печати)  
164  
Трепов Д. Ф. 155  
Тригоров В. 150  
Тур. Евг. 224  
Тургенев И. С. 55, 61, 63, 78, 83,  
87, 93, 99, 107, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 156  
Турчанинов Н. П. 59  
Тютчева А. 133  
Тютчев Н. С. 176, 217, 218  
Тюрин В. В. 147  
Тюрин Н. 176, 202, 217

### У

Усакина Т. И. 84, 89  
Успенский Г. И. 99, 189, 143, 147,  
150  
Успенский Н. В. 112

### Ф

Фадеев А. А. 46  
Федоров К. М. 270  
Федоровский В. А. 258  
Федосеев И. 179  
Фейербах Людвиг Андреас 35, 37,  
38, 39, 86, 231  
Фет А. А. 54, 93  
Фиалковский 69  
Филлипов Т. И. 84  
Фишер М. 271  
Фишер Фридрих-Теодор 28, 29, 30,  
31, 35  
Фонвизин Д. И. 277  
Фомин И. В. 271, 272  
Фортунагов Н. 48  
Фурье Шарль 123

### Х

Хессин Н. В. 141, 142  
Храпченко М. Б. 48

### Ц

Цебрикова М. К. 3, 154, 155, 156,  
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168  
Цыганов Н. Г. 19

Ч

- Чаславский В. 148  
 Чернышевская О. С. 93, 265  
 Чернышевская Н. М. 223, 234  
 Чернышевский Г. И. 240, 241  
 Чернышевский И. Ф. 240, 241  
 Чернышевский М. Н. 247, 262, 275,  
 276, 277, 280  
 Чернышев П. Ф. 266  
 Чичерин Б. Н. 64, 65, 66, 67, 68,  
 69, 70, 71  
 Чичерин Г. Н. 62, 63

Ш

- Шаганов В. Н. 177, 218, 243, 244,  
 245, 247, 248  
 Шевченко Т. Г. 252  
 Шевырев С. П. 87  
 Шекспир Вильям 34, 47  
 Шелгунов Н. В. 101, 154, 156, 168,  
 173, 174, 176, 178, 179, 199, 200,  
 201, 202, 205, 208, 211  
 Шеллинг Ф.—В. 79, 80

Шпильгаген Ф. 155, 157, 159, 160,  
 161, 168

Штейнберг В. 273  
 Штюрмер 93

Щ

Щербина Ф. 93, 150

Э

- Эдельсон Е. 84  
 Эллидин М. К. 139  
 Энгельгардт А. Н. 147, 149  
 Энгельс Фридрих 31, 32, 35, 37, 38,  
 40, 142, 146

Ю

- Ювенал 54  
 Южаков С. Н. 149, 151, 152

Я

- Ямпольский И. Г. 5  
 Ярмонкин В. В. 148  
 Яценко Л. 179

## СОДЕРЖАНИЕ

От редактора . . . . .	3
<b>Исследования и статьи</b>	
Т. М. Акимова. Н. Г. Чернышевский о народной лирической песне . . . . .	9
Г. В. Макаровская. Чернышевский о трагическом . . . . .	20
В. В. Прозоров. Н. Г. Чернышевский о «власти публики в литературных делах» . . . . .	48
А. А. Демченко. Чернышевский и Герцен в 1859 году (к истории полемики) . . . . .	59
Б. Ф. Егоров. О некоторых композиционных и стилистических различиях в статьях Чернышевского и Добролюбова . . . . .	72
Г. Н. Антонова. Чернышевский и А. Григорьев в 1850-е годы . . . . .	77
В. А. Мысляков. Писемский и революционно-демократическая критика . . . . .	91
И. В. Чуприна. Чернышевский и нравственно-философские искания Л. Толстого в 60-е годы . . . . .	119
В. Б. Смирнов. Общinnая теория Чернышевского и публицистика «Отечественных записок» . . . . .	138
Ж. В. Кулиш. Традиции Чернышевского в литературно-критических выступлениях М. К. Цебриковой . . . . .	154
<b>Публикации и материалы</b>	
В. И. Азанов. К вопросу об авторе прокламации «Барским крестьянам» . . . . .	173
А. М. Гаркави. О достоверности свидетельств и убедительности выводов . . . . .	199
Х. С. Гуревич. Ответ Н. А. Алексееву . . . . .	210
А. А. Демченко. Необходимые уточнения . . . . .	217
С. А. Рейсер. Поправка . . . . .	221
М. Г. Зельдович. Неизвестный отклик на статью Чернышевского «Об искренности в критике» . . . . .	223
Б. И. Лазерсон. Письма Пыпиных из Саратова в Петербург . . . . .	232
М. П. Николаев. Тюремный театр . . . . .	243
С. В. Свердловна. Об одном печатном источнике книги Н. Г. Чернышевского «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» . . . . .	250
А. И. Марьнов, В. И. Бельмесова. Отклики саратовских газет на смерть Н. Г. Чернышевского . . . . .	260
В. К. Архангельская. Из архивных разысканий . . . . .	266
Н. М. Чернышевская. Страницы научной жизни Дома-музея Н. Г. Чернышевского. Памяти А. П. Скафтымова . . . . .	275
Указатель имен . . . . .	282